Лидия Сейфуллина

Классики и современники

# ПОВЕСТИ И РАССКАЗЫ

Лидия Сейфуллина

# ПОВЕаИ
# И РАССКАЗЫ

Москва
«Художественная литература»
1982

Р2
С 29

Классики и современники

*Советская литература*

Текст печатается по изданию:
Л. Н. Сейфуллина. Сочинение в двух томах.
М., «Художественная литература», 1980 г.

Составление и вступительная статья
В. ПИСКУНОВА

Художник
Б. ГУРЕВИЧ



С $\frac{4702010200-058}{028(01)-82}$ 20-82

## «ПРОБУЖДЕННЫЕ РЕВОЛЮЦИЕЙ СИЛЫ»

Слова, вынесенные в заголовок, принадлежат Д. Фурманову и взяты из его рецензии на повесть Л. Сейфуллиной «Виринея». Но эти же слова, сказанные о литературном персонаже — сибирской крестьянке, кержачке Виринее, которая «вышла на ггчть борьбы», стала большевичкой, — в полной мере характеризуют автора повести, жизнь, творчество и судьбу писательницы Лидии Николаевны Сейфуллиной (1889—1954).

Л. Сейфуллина — «родом из революции», как и все те, кто вместе с нею начинал советскую литературу, закладывал первые камни в фундамент социалистической культуры. Об этом поколении литераторов емко сказано у А. Фадеева: «Нам первым выпало на долю счастье рассказать людям о социалистической жизни и о том, как она была завоевана. Нам выпало на делю счастье — детскими еще губами произнести такие слова в художественном развитии человечества, какие до нас не мог сказать ни один даже самый крупный из художников прошлого».

«Нам первым». Но даже среди них Л. Сейфуллина была одной из самых первых. «Тогда... советская литература только начиналась. Я не знаю, было ли десятка два человек, которые тогда выпустили свои книги именно в этот период в Советской России, в Новой России», — свидетельствовала сама писательница, имея в виду 1922 год, когда в первом номере

только что созданного литературного журнала «Сибирские огни» была опубликована ее повесть «Четыре главы». А вот свидетельство «со стороны», принадлежащее наблюдательному современнику эпохи: «Еще не было поэм Маяковского «Ленин» и «Хорошо!», не появился фурмановский «Чапаев» и читатели еще не слыхали имени Александра Фадеева, а на книгу Лидии Сейфуллиной «Перегной» записывались в очередь. Сейфуллину читали, Сейфуллину проходили в школе. Очень скоро имя ее стало народным именем и воспринималось как символ — как следствие Октябрьской революции в литературе, как художественное олицетворение революционных преобразований в стране...

Трудно представить себе сейчас, как она была знаменита! Какие вызывала ожесточенные споры! Начиналось с Сейфуллиной, кончалось политикой. Но, кажется, все сходились в одном — талант!»

Писательница росла трудно, копила силы долго, но, раз взявшись за перо, сразу пошла уверенно: 1-й номер «Сибирских огней» — «Четыре главы», 2-й — «Правонарушители», 4-й — «Ноев ковчег», 5-й — «Перегной»... А уже через три года после литературного дебюта увидело свет ее первое Собрание сочинений.

Л. Сейфуллина вошла в литературу и как прозаик, и как драматург. Пьеса «Виринея», созданная ею совместно с В. Правдухиным на основе одноименной повести, явилась крупнейшим событием в истории Театра Вахтангова (где была осуществлена ее первая постановка) да и театральной жизни всей страны. Раньше других советских пьес она была показана западноевропейскому зрителю и воспринята как полномочный представитель нового, революционного искусства.

Тогда же, в двадцатые годы, ее творчеству по-

святили специальные работы А. Луначарский, Д. Фурманов, Л. Рейснер, редактор первого советского литературного журнала «Красная новь» А. Воронский; свое слово о ней сказала молодежь, только примеряющаяся к литературному труду,— Н. Асеев, Л. Леонов...

Чем же объяснить такой шумный успех? Почему читатель тех лет так близко принял к сердцу прозу и драматургию Сейфуллиной? Главное состоит, вероятно, в том, что сейфуллинская строка помогала ему открывать самого себя и постигать творимый революционный мир, утверждала революцию как праздник освобождения человека.

Нового читателя подкупал пафос творчества Сейфуллиной, гуманистическая направленность ее произведений. Близка и понятна ему была также манера письма, передающая народный говор, слог и интонацию, — именно этим языком заговорила тогда революционная Россия. В этом смысле сейфуллинская проза продолжала работу, начатую «Двенадцатью» А. Блока, поэзией Д. Бедного.

Из-под пера писательницы выходили не пылкие космические абстракции, но картины народной жизни, не вымученные символы, но человеческие характеры. Родословная многих ее героев памятна по отечественной классике: Виринея — из тех русских женщин, что, по словам поэта, коня на скаку остановят; Александр Македонский (герой одноименного рассказа), несмотря на свое громоподобное имя, данное ему как бы в насмешку — ближайший свойственник «маленького человека», открытого Пушкиным, Гоголем, Достоевским; сейфуллинский малолеток — не тот ли самый «мужичок с ноготок», судьбой которого в русских книгах издавна мерились социальное устройство и даже мировая гармония? Все эти традиционные характеры обретали на страницах произведений Сейфуллиной новую судьбу.

Четкость идейно-эстетической позиции писательницы, ставшей профессиональным литератором в тридцать два года, во многом обусловлена предыдущим жизненным опытом, особенностями личной судьбы.

«Отец мой был православный священник, татарин по крови. Детство его... рассказано в моей повести «Каин-Кабак» как детство Алибаева»,— говорится в «Автобиографии» Сейфуллиной. Мать — крестьянка Самарской губернии — рано умерла, оставив двух малолетних дочерей, и те вместе с отцом обретались по глухим приходам Оренбургского края.

По рождению, образу жизни, роду занятий Сейфуллина принадлежала к самой низовой служилой интеллигенции, которой не было нужды специально изучать народ, потому что она жила в гуще беднячества, была так же бесправна и неустроенна. «Работать по найму я стала с семнадцати лет. Простая профессиональная анкета, с указанием места и рода занятий, займет немало места на бумаге»,— энергичным росчерком пера очертит Сейфуллина в «Автобиографии» больше десятилетия своей жизни.

В «Автобиографии», написанной сухо, лаконично, деловым слогом, не так уж много места остается для эмоций. Между тем даже простое перечисление мест пребывания и родов занятий будущей писательницы позволяет сделать определенные умозаключения: куда бы ни заносила судьба Сейфуллину, она сохраняла верность родной Сибири, с которой связано ее творчество; каким бы делом ни приходилось ей заниматься — учительница в заштатном городке, провинциальная актриса, исколесившая Россию с севера на юг и с запада на восток, вновь учительница в мордовской деревне, конторская служащая, библиотекарь — она всегда ощущала ответственность перед народом, осознавала себя просветителем, обязанным делиться знаниями, опытом, образованностью с тружениками, задавленными нуждой и невежеством.

«Душа образованьем покупается», — говорит один из героев повести «Встреча», и сказанное близко мирочувствованию писательницы: «Кто есть жив человек — отзовися!» Надо идти в гущу народа, в деревню, чтобы он видел, что мы с ним, что мы нужны ему».

Октябрь был воспринят Сейфуллиной как народная революция, как долгожданный выход для миллионов из нищеты и дикости. Писательница говорила, что для нее лично революция "явилась «вторым рождением». Особую роль в определении жизненной позиции сыграла речь В. И. Ленина, услышанная Сейфуллиной в 1920 г. на Всероссийском съезде по внешкольному образованию. Сейфуллина позднее — в очерке «О В. И. Ленине».— скажет, что «этот день стал жизненным откровением», определил ее «трудовое место в стране... дальнейший жизненный путь».

Сейфуллина отдается просветительской работе, которая приобретает теперь отчетливый политический характер и революционную целеустремленность: она занимается воспитанием беспризорных, ликвидацией неграмотности среди красноармейцев и работниц, выступает с лекциями, пишет статьи... «И в литературу — по точному наблюдению критика Е. Стариковой, — Сейфуллина пришла не столько из созревшей потребности художнического самовыражения, сколько, и в первую очередь, откликнувшись на насущную общественную потребность, убежденно следуя чувству долга практического работника культурного фронта, как тогда говорили».

А дело было так: в 1921 году после долгих странствий по городам Сибири и Урала Сейфуллина вместе с мужем — критиком и очеркистом В. П. Правдухиным — переезжает в Новосибирск (тогда Новониколаевск). Здесь создается первый в Сибири журнал «Сибирские огни», и ее приглашают стать секрета-

рем редакции. Не хватало бумаги, шрифтов, краски, было трудно с полиграфическим оборудованием, типографскими рабочими. Но особая потребность ощущалась в новых литературных силах, молодых талантах, способных рассказать о только что отшумевшей гражданской войне в Сибири. Если редакционная почта еще приносила стихи, то совсем плохо дело обстояло с прозой, и тогда, вспомнив, что Сейфуллина печаталась в газетах, даже пробовала — и не без успеха — силы в беллетристике (рассказы «Юный коммунист», «Павлушкина карьера»), ей поручают — такое тогда было время! — написать прозу для открытия «Сибирских огней».

За три недели готова повесть «Четыре главы», с которой писательница связывала начало своей литературной биографии. Повесть, построенная на основе впечатлений от годов провинциального актерства и учительства в деревне, жизни рудничных рабочих, борьбы с Колчаком, на сегодняшний взгляд фрагментарна, эскизна, хотя в ней есть сильные сцены и зарисовки. Впрочем, на недостатки повести обратила внимание уже и критика тех лет, хотя назвала «Четыре главы» лучшим произведением в журнале. Привлекало стремление показать, как происходит процесс перестройки личности в революции, как духовно и нравственно распрямляется человек, ставший на сторону народа.

Повесть «Четыре главы» — первая страница сейфуллинской художественной летописи революции в Сибири. Критика поддержала писательницу, заставила ее поверить в собственные силы. «Я убеждена, — писала Сейфуллина в статье «Памятное пятилетие», — что если бы провинциальная пресса не признала бы стоящей мою первую неслаженную, многоязычную повесть, я не на1пла бы в себе достаточно мужества попытаться сладить со второй».

«Второй» была известная повесть «Правонарушители», появившаяся в следующем номере «Сибирцах огней» и принесшая автору самый настоящий .:пех: ее включали в школьные программы, бесплат-~: рассылали вместе с инструкциями Наркомпроса г»: вопросам борьбы с беспризорными, издавали огром-*E=хчн* по тем временам тиражами.

«Правонарушители» не похожи на другие книги : беспризорных, в том числе и на рассказ самой Гсёфуллиной «Павлушкина карьера», где преобладала интонации трагические, краски мрачные. Здесь же задорная, радостно-оптимистическая тональность, ко--зрая могла бы показаться совершенно неуместной = рассказе о таком трагическом явлении, как беспризорность. Но бодрость, оптимизм произведения вполне :рганичны, рождены открытием человека, радостным . дивлением его талантами и возможностями, что очень точно почувствовал и проницательно сформулировал А. Макаренко: «В этом рассказе впервые и довольно неожиданно и смело были высказаны истины о правонарушителях, составляющие аксиому...

Читая этот рассказ, вы во всем тексте, от первой до последней строки, чувствуете, как звучит глубокая, искренняя вера в человека, вера в то, что не может быть прирожденной преступности, вера в лучшие человеческие качества — уверенность, которая теперь уже для нас составляет несомненную истину».

Восторженное отношение А. Макаренко к сейфуллинской повести вполне объяснимо: «Правонарушители» предвосхищают «Педагогическую поэму», а также такие знаменитые произведения о беспризорных, как «Республика Шкид», «Путевка в жизнь», отличающиеся «оптимистической гипотезой в подходе к человеку».

Это скучные барышни из детприемника, «ученый»

доктор, брезгливо осматривающий детей улицы, заискивающая перед ними «тетя Зина» поторопились отнести четырнадцатилетнего вора Гришку Пескова к «пропащим». По-другому рассудил начальник колонии Мартынов, отобравший самых ершистых, Гришку в первую очередь. Его не оттолкнули грубость, дерзость маленького воришки, Мартынов сумел разглядеть за этим характер, личность, сибирского Гавроша двадцатых годов, который сам с гордостью говорит о себе, что принадлежит к «красной партии».

А. Макаренко определил мартыновский метод воспитания как «своеобразный пантеизм». Действительно, первостепенное место в колонии отводится целительной «матери-природе», свободному, естественному труду, доверительной простоте человеческих отношений, что служит свидетельством природности резолюции.

Намыкавшиеся по улицам больших городов, набедовавшиеся ребята, может быть, впервые ощутили себя полноценными людьми. И потому такой недетской болью звучат Гришкины слова, обращенные к Мартынову, когда над колонией нависла угроза расформирования: «Не отдавай нас опять в правонарушители».

«Революция прежде всего освобождает детей» — в устах Сейфуллиной это означало самое высокое благословение происшедшему историческому повороту. Но словосочетание «революция освобождает» вообще необычайно характерно для писательницы, приложимо буквально ко всем ее произведениям: «Четыре главы» — история внутреннего распрямления актрисы Анны; «Правонарушители» — духовная биография беспризорника Гришки Пескова, обретшего свою человеческую судьбу; повесть «Александр Македонский» (1922) — о человеке, сумевшем подавить

з себе раба, преодолеть внутренний страх, забитость, ^окончить с жалким прозябанием и начать жить «на все средства души».

Жизнь «маленького человека», как она показана з классической литературе, чаще всего трагична либо бессмысленна. Александра Евдокимовича Македонского — младшего конторщика, робкого в обращении, зечно смущающегося, покорно сносящего насмешки, — ожидала бы такая же судьба. Но времена переменились: под влиянием дочери-большевички он приобщается к подпольной работе, участвует в боях с белыми и даже совершает воинский подвиг, хотя внешне остается таким же тихим, скромным, неприметным. Даже когда Македонскому пришлось возглавить большое учреждение, он норовит остаться в тени, что вызывает порою ироническое отношение коллег и вразумляюще ласковые выговоры начальства. Но Македонский только внешне мало переменился, на самом деле он обрел сознание своей нужности, значительности, причастности общему делу: «Единица, в тысячах сосчитанная. Малый ли, щуплый ли, кличка ли смехотворная,— в шеренгу! Молодо кровь в жилах от этого...»

В освободительном движении в Сибири против белогвардейцев и интервентов крестьянству принадлежала исключительная роль. Об этом рассказывали книги двадцатых годов, продолжают свидетельствовать произведения наших современников: Г. Маркова, С. Залыгина, А. Иванова... Вот уже без малого шестьдесят лет пишется художественная летопись сибирского революционного крестьянства, и открывается ока сейфуллинской повестью «Перегной» (1922).

Все значительно в этом произведении уже не просто об отдельном человеке, но о целом сословии в революции. Все, начиная с названия. Раскрывая смысл заглавия, критика обоснованно вспомнила об

эпизоде из «Правонарушителей». Там милиционер, сопровождающий беспризорников в детприемник, приговаривал: «Ну, какие из вас человеки вырастут, как вы сызмальства под конвоем? Навоз вы, одно слово!» Обидные эти слова запали в душу Гришки Пескова, он их как-то пересказал Мартынову, но тот возразил: «Навоз — хорошо. От навоза хлеб хороший будет». В этой мартыновской огласовке и взято слово «перегной» для названия повести, что подтверждается репликой Ивана Лутохина: «Земля нынче хорошо родит. Большевиками унавозили».

«Перегной», «навоз», «унавозили» — лексический ряд, очень характерный для стилистики и поэтики повести, ориентированной на изображение природных начал жизни, первозданных чувств, извечных инстинктов: «Здесь у людей крепок хребет, густ в жилах настой крови, плодовито, как у земли, чрево».

Крестьянин сопричастен земле, включен в естественный круговорот природы, что делает его существование истинным, натуральным, тогда как многие интеллигенты, выведенные в порести (и на первом месте среди них — библиотекарша Антонина Николаевна), ведут жизнь искусственную, ненатуральную, насквозь фальшивую. Если иметь к тому же в виду, что за эту лживую жизнь образованных сословий расплачиваться приходится крестьянину, то разве не оправданны стихийные взрывы насилия, не закономерно возмездие? Так — в соответствии с «покаянными» традициями отечественной классики — написана повесть.

Но Сейфуллина не ограничивается противопоставлением интеллигенции мужику. Не единосущно у нее и самое крестьянство. Хотя от имени земли говорят и сектант Кочеров, и бывший фронтовик, ныне предревисполкома Софрон, между ними нет и не

может быть согласия, потому что их точки зрения классово враждебны. «Был Софрон от плоти и кости деревни, но не старой, кряжистой, а новой, встряхнутой, ищущей».

Деревня, взметенная революцией, раздираемая классовой борьбой,— главный герой повести. Причем жизнь крестьянской массы написана кистью правдивой г суровой, что вообще характерно для Сейфуллиной — художника щепетильно честного, органически неспособного к лукавству и малейшей фальши. Даже самый любимый персонаж писательницы, Софрон, далеко не безгрешен, весь состоит из углов и противоречий, да и откуда бы взяться слаженности характера, когда новая деревня только возрождалась нз веков угнетения и нищеты, когда Софрон — такой же «перегной», как и остальные? Но эта могучая натура постепенно обретает цель в жизни, все полнее осуществляется в революционной борьбе, одержима смелыми надеждами и радостными мечтами. Само собой напрашивается сравнение Софрона с сельскими коммунистами из шолоховской «Поднятой целины» — характерами такими же значительными, достоверными, такими же путаными, но и «ужасно своими».

«Софрон знаменателен и сам по себе, и как прямой предшественник Виринеи, Виринеиных поисков, срывов, ее обретений и ее гибели» — так критик В. Кардин устанавливает преемственную связь между героями двух самых известных повестей Сейфуллиной— «Перегной» и «Виринея» (1924). Правда, если в первой из них главное внимание было уделено жизни деревни целиком, что определяло тяготение писательницы к массовым сценам, хоровому многоголосию, то в «Виринее» — это подчеркнуто и заголовком — «крупным планом» показана индивидуальная судьба, незаурядный характер, обрисованный с

ббльшей полнотой и многогранностью, чем остальные сейфуллинские герои.

Виринея принадлежит к излюбленным Сейфуллиной натурам стихийных протестантов, бунтарей. Богато наделенная от природы, страстная, не желающая жить «как все живут», Вирка — вызов мещанскому здравому смыслу и устоявшемуся порядку жизни. В этом отношении вольнолюбивая и бесшабашная героиня сродни буйному богатырю Савелию Магаре и, напротив, враждебна расчетливой солдатке Анисье, мелкотравчатым жрецам морали из «образованных».

Бунтарство Виринеи, как это очевидно из всего хода действия, порождено стремлением сохранить чувство собственного достоинства, уберечь, как говорится, «душу живу»; оно обусловлено неприятием грубой, скотской жизни, что окружает Вирку, тоской по другой жизни — чистой, справедливой, по совести. Поэтому так потянулась Виринея к Павлу Суслову, увидевшему в ней не просто красивую бабу, а человека, с уважением отнесшемуся к ее душевному миру.

Бунтарь Виринея по самому строю души родственна стихии революции. Но большевик Павел — характер более организованный, сознательный, дисциплинированный, чем Софрон, — ускорил и облегчил «второе рождение» Вирки. Поняв, что жена ему «не только по хозяйству, а в других делах хорошей помощницей будет», Павел стал привлекать Виринею к работе в большевистском подполье, которой та отдалась с присущею ей страстностью и темпераментом.

Путь Виринеи в революцию, как до нее горьковской Ниловны, сопровождается бурным ростом душевных сил, стремительным подъемом человеческого в человеке. Правда, короткий срок был отпущен Бирке: люто Надругались над ней враги. Но даже не-

долгая жизнь Виринеи-большевички не оставляла сомнений в окончательности выбора, сделанного крестьянской Россией.

Если произведения Сейфуллиной, датированные началом двадцатых годов, были объединены темой стремительного роста и подъема человека в революции, то в повестях второй половины десятилетия — «Встреча» (1925) и «Каин-Кабак» (1926),— напротив, рассказывается о пропащей силе, исследуются «трудные случаи», призванные дать представление : сложности духовных процессов, мучительной неоднозначности нравственных усилий личности. Страна переживала нэп, и не одна Сейфуллина, но многие г.нсатели задумывались тогда о противоречиях действительности.

Герой повести «Каин-Кабак», отважный партизанский командир Григорий Алибаев, по буйной неуемности, стихийности характера сродни Софрону из «Перегноя», Виринее. Но если те погибли в самом начале -ражданской войны в Сибири, когда только взметнулась буря всенародного возмущения и протеста, то .Алибаев избежал вражеской пули, дожил до конца войны. Казалось бы, повезло. Однако логика истории не всегда совпадает с логикой здравого смысла: Алибаев был впору «сибирской вольнице», партизантине, но не сумел приноровиться к новой жизни и ее законам, оказался лишним при другом порядке вещей. Он — единственный среди сейфуллинских героев, переживший самого себя.

Сцены метели в степи, снежной круговерти, буранной ночи (по всеобщему признанию, они принадлежат к лучшим страницам русской прозы и часто сравниваются с бураном в «Капитанской дочке»), прямо «вводят» в характер Алибаева, — порывистый, буйный, стихийный. Но если раньше для Сейфуллиной, испытавшей чувство интеллигентской вины перед

народом, разбушевавшаяся стихия, «миллионная первобытность» всегда правы, то теперь писательница видит также их слабости, опасности, которыми они угрожают.

Собственно, не Сейфуллина — сам народ делает свой выбор. Каин-кабакские мужики готовы воздать Алибаеву за его вчерашние подвиги, но отказываются следовать за ним дальше, потому что он действует вопреки естественному ходу жизни, препятствует ее дальнейшему природному течению. Стихия, воплощенная в герое, сыграла свою роль в народной жизни, но теперь разошлись дороги Алибаева и его односельчан: он рвется все к новым подвигам, к новой крови, а крестьяне хотят работать, растить хлеб, рожать детей. Как ни артачился Алибаев: «Мне Москва не указ. Власть на местах, за что бились?», пошли крестьяне за Москвой, за мирным порядком жизни. Алибаев остается в одиночестве. Привыкший к анархическому своеволию, не умевший ограничивать свои порывы, взнуздывать эмоции, герой оказывается все более беззащитным перед давлением обстоятельств, превращается в конце концов в самого обыкновенного обывателя.

Сейфуллина полна сочувствия к легендарному Алибаеву, не без ностальгии вспоминает она романтику былых походов и сражений, противостоящую прозе будней, но понимает также ее историческую исчерпанность. В связи с изменением творческой задачи меняется также стиль писательницы. Вместо речи по-народному живописной, угловатой, неправильной — регулярные периоды, точная простота; вместо шумного многоголосия толпы — размышляющие интонации авторского голоса. Но надо признать: те первые страницы сейфуллинской прозы останутся самыми сильными в ее творчестве, там талант писательницы проявился с максимальной полнотой.

Произведения второй половины двадцатых годов были встречены критикой куда более сдержанно, чем сейфуллинская проза начала десятилетия. Особенно трудно работалось писательнице в тридцатые годы. О причинах своего творческого кризиса она рассказала в статьях «Критика в моей практике» и «О своей литературной работе». Стремясь поддержать писательницу и помочь ей выйти из кризиса, Горький писал Сейфуллиной по поводу рассказа «Таня» (1934): «...Мною давно уже было замечено, что Вы не только весьма даровитый писатель, но и человечица, влюбленная в литературу, и, главное, смело честная, искренняя... Вы человек, талантливо чувствующий, и Вы имеете все данные для того, чтобы талантливо знать, талантливо различать нужное от ненужного. Именно об этом говорят «Виринея», «Правонарушители» и другие рассказы, включительно с последним, прочитанным мною, о девочке». Образ двенадцатилетней девочки Тани действительно один из самых поэтичных в творчестве писательницы; искренность авторского сочувствия юной героине сглаживает несколько искусственную ситуацию рассказа.

Если «Таня» — о социальной педагогике нового общества, то рассказ «Собственность» (1933) — о цепкости старого мира. История женщины, состарившейся в ожидании богатого наследства, не нова. Но здесь проявились лучшие стороны дарования Сейфуллиной — гуманность, доброта, сочувствие даже гибнущему человеку.

Годы войны были отмечены активизацией творчества писательницы, часто выступавшей с рассказами, очерками, небольшими пьесами, создавшей повесть «На своей земле» (1942). Кроме того, и в эти, и в последующие годы большое значение имело само присутствие Сейфуллиной в литературе, о чем так хорошо сказано М. Шагинян: «Правдивость ее реакции

на книгу, на поступок человека, на какое-нибудь большое или малое событие попросту выпирало из нее... С ней невозможно было фальшивить, и ее всегда хотелось поддержать в этом ее стремлении создавать вокруг себя атмосферу правдивости. Отсюда большое нравственное влияние личности Лидии Николаевны, которое испытывали на себе все мы».

Время открывает новые страницы истории советской литературы, делает наше представление о ней более глубоким и содержательным. Оно расставляет все по своим местам, выносит окончательные приговоры. Но «Виринея», «Перегной», «Правонарушители» и другие произведения Л. Сейфуллиной двадцатых годов продолжают занимать свое достойное место в ряду произведений, получивших название «советской классики».

*В. Пискунов*

# ПРАВОНАРУШИТЕЛИ

I

Его поймали на станции. Он у торговок съестные продукты скупал. Привычный арест встретил весело. Подмигнул серому человеку с винтовкой и спросил:

— Куда поведешь, товарищ, в ртучеку или губчеку?

Тот даже сплюнул.

— Ну, дошлый! Все, видать, прошел.

Водили и в ортчека. Потом отвели в губчека. В комендантской губчека спокойно посидел на полу в ожидании очереди. При допросе отвечал охотно и весело.

— Как зовут?

— Григорий Иванович Песков.

— Какой губернии?—брезгливо и невнятно спрашивал комендант.

— Дальний. Поди-ка и дорогу туды теперь не найду. Иваново-Вознесенский.

— Как же ты в Сибирь попал?

— Эта какая Сибирь! Я и подале побывал.

Сказал — и гордо оглядел присутствующих.

— Да каким чертом тебя сюда из Иваново-Вознесенска принесло?

Степенно поправил:

— Не чертом, а поездом.

На дружный хохот солдат и человека, скрипевшего что-то пером на бумаге, ответил только солидным плевком на пол.

— Поездом, товарищ, привезли. Мериканцы. Детей питерских с учителем сюда на поправку вывезли. Красный Крест, что ли, ихний. Это дело не мое. Ну, словом, мериканцы. Ленин им, што ль, за нас заплатил: подкормите, дескать. Ну, а тут Колчак. Которые дальше уехали, которые померли, я в приют попал да в деревню убег.

— Что ты там делал?

— У попа в работниках служил. Ты не гляди, что я худячий. Я, брат, на работу спорый!

— Ну, а добровольцем ты у Колчака служил?

— Служил. Только убег.

— Как же ты в добровольцы попал?

— Как красны пришли, все побегли, и я с ими побег. Ну, никому меня не надо, я добровольцем вступил.

— Что ж ты от красных бежал? Боялся, что ли?

— Ну, боялся... Какой страх? Я сам красной партий. А все бегут, и я побег.

Солдаты снова дружно загрохотали. Комендант прикрикнул на них и приказал:

— Обыскать.

Также охотно дал себя обыскать. Привычно поднял руки вверх. Весело поблескивали на желтом детском лице большие серые глаза. Точно блики солнечные — все скрашивали. И заморенное помятое личико, и взъерошенную, цвета грязной соломы, вши-

вую голову. У мальчишки отобрали большую сумму денег, поминанье с посеребренными крышками, фунт чаю и несколько аршин мануфактуры в котомке.

— Деньги-то ты где набрал?

— Которые украл, которые на торговле нажил.

— Чем же ты торговал?

— Сигаретками, папиросами, а то слимоню што, так этим.

— Ну, хахаль! — подивился комендант.— Родители-то у тебя где?

— Папашку в ерманску войну убили, мамашка других детей народила. Да с новым-то и с детями за хлебом куды-то уехали, а меня в мериканский поезд пристроили.

И снова ясным сиянием глаз встретил тусклый взор коменданта. Тот головой покачал. Хотел сказать: «Пропащий». Но свет глаз Гришкиных остановил. Усмехнулся и подбородок почесал.

— Что ж ты у Колчака делал?

— Ничего. Записался да убег.

— Так ты красной партии?—вспомнил комендант.

— Краснай. Дозвольте прикурить.

— Бить бы тебя за куренье-то. На, прикуривай. Сколько лет тебе?

— Четырнадцатый с Григория-святителя пошел.

— Святителей-то знаешь? А поминанье зачем у тебя?

— Папашку записывал. Узнает — на небе-то легче будет. Мать забыла, а Гришка помнит.

— А ты думаешь, на небе?

— Ну а где? Душе-то где-нибудь болтаться надо. Из тела-то человечьего вышла.

Комендант снова потускнел.

— Ну, будет! Задержать тебя придется.

— В тюрьму? Ладно. Кормлют у вас плоховато... Ну, ладно. Посидим. До свиданьица.

Гришку долго вспоминали в чека.

Из тюрьмы его скоро вызвала комиссия по делам несовершеннолетних. В комиссии ему показалось хуже, чем в губчека. Там народ веселый. Смеялись. А тут все жалели, да и доктор мучил долго.

— И чего человек старается?—дивился Гришка.— И башку всю размерил, и пальцы. Либо подгонял под кого? Ищут, видно, с такой-то башкой...

Нехорошо тоже голого долго разглядывал. В бане чисто отмыли, а доктор так глядел, что показалось Гришке: тело грязное. Потом про стыдное стал расспрашивать. Нехорошо. Видал Гришка много и сам баловался. А говорить про это не надо. Тошнотно вспоминать. И баловаться больше неохота. Когда от доктора выходил, лицо было красное и глаза будто потускнели. Разбередил очкастый.

Но вечером в приюте с малолетними преступниками был опять весел. Пищу одобрил.

— Это, брат, тебе не советский брандахлыст в столовой. Молока дали. Каша сладкая. Мясинки в супу. Ладно.

Ночью плохо было. Мальчишки возились, и «учитель» покрикивал. Чем-то доктора напомнил. Гришка долго уснуть не мог. Дивился.

— Ишь ты! От подушки, видать, отвык. Мешает.

И всю ночь в полуяви, в полусне протосковал. То мать виделась. Голову гребнем чешет и говорит:

— Растешь, Гришенька, растешь, сыночек! Большой вырастешь, отдохнем. Денег заработаешь, отца с мамкой успокоишь... Родненький ты мой!

И целует.

Чудно! Глаза открыты, и лампочка в потолке светит. Знает: детский дом. Никакой тут хматери нет. А на щеке чуется: поцеловала. И заплакать охота. Но крякнул, как большой, плач задержал и на другой бок повернулся. А потом доктор чудился. Про баб вспоминал. Опять тошнотно стало. Опять защемило. Молиться хотел, да «отчу» не вспомнил. А больше молитвы не знал. Так всю ночь и промаялся.

Пошли день за днем. Жить бы ничего, да скучно больно. Утром накормят и в большую залу поведут. Когда читают. Да все про скучное. Один был мальчик хороший, другой плохой... Дать бы ему подзатыльник, хорошему-то! А то еще учительши ходили:

— Давайте, дети, попоем и поиграем. Ну, становитесь в круг.

Ну и встанут. В зале с девчатами вместе. Девчата вихляются и все одно поют: про елочку да про зайчика, про каравай. А то

еще руками вот этак разводят и головой то на один бок, то на другой.

Где гнутся над омутом лозы...

Спервоначалу смешно было, а потом надоело. Башка-то ведь тоже не казенная. Качаешь ей, качаешь, да и надоест. Лучше всего был «Интернационал»! Хорошее слово, непонятное. И на больших похоже. Это, брат, тебе не про елочку!

Вставай, проклятьем заклейменный...

Хорошо! А тоже надоело. Каждый день велят петь. Сам-то, когда захотел, попел. А когда и не надо. Все-таки за «Интернационал» Жорже корявому морду набил. Из буржуев Жоржа. Тетя какая-то ему пирожки носит. Так вот говорит раз Жоржа Гришке:

— Надо петь: весь мир жидов и жиденят.

А Гришка красной партии. Знает: и жиды люди. Это Советскую власть ими дразнят. Ну, и набил морду Жорже. С тех пор скучно стало. За Советскую власть заступился, а старшая тетя Зина и Константин Степаныч хулиганом обозвали. А как белье казенное пропало, их троих допрашивали. Троих, воры которые были. Гришка дивился:

— Дурьи башки! Чего я тут воровать стану? Кормлют пока хорошо. Что, что воры? Сам украдешь, коли есть нечего будет. Вот сбегу, тогда украду.

Крепла мысль: сбежать. Скучно, главное дело. Мастерству обещали учить — не учат. Говорят, инструменту нет. А эту «пликацию» из бумаги-то вырезывать на-

1эело. Которую нарезал и сплел, всю в Горной на стенке налепил и карандашом подписал: «Тут тебе и место сия оттека для облегченья человека Григорий Бесков».

Писать-то плохо писал, коряво, а тут •оно вывел. С того дня невзлюбили его воспитатели. И не надо. Этому рыжему, Константину Степанычу, только бы на гитаре играть да карточки снимать. Всех на карточки переснимал, угрястый! Злой. Драться не смеет, а глазами, как змея, жалит. Глял>:т на всех — чисто нюхает: что ты есть за человек. Сам в комнате в форточку курит, а ребятам говорит:

— Курить человеку правильному не полагается.

Куренье — дело плевое. Вот сколько не курил. Отвык, и не тянет. А как заведет Константин Степаныч музыку про куренье да начнет вынюхивать и допрашивать, кто курил,— охота задымить папироску. А тетя Зина всех голубчиками зйвет. 'По головке гладит. Липкая. Самой неохота, а гладит. И разговорами душу мотает.

— Это нехорошо, голубчик! Тебя пригрели, одели, это ценить надо, миленький. Пуговки все застегивать надо и головку чесать. Ты уже большой. Хочешь, я тебе книжечку почитаю? А ты порисуй.

Ведьма медовая! Опять же анкетами замаяла. Каждый день пишут ребята, что любят, чего не любят, чего хотят и какая книжка понравилась. И тут Гришка ее обозлил. В последний раз ни на какие вопросы отвечать не стал, а написал:

«Анкетов никаких нилюблю и нижалаю».

Побелела даже вся. А засмеялась тихонечко, губы в комочек собрала и протяжно так да тоненько вывела:

— У-у, а я тебя не люблю! Такой мальчик строптивый.

Ну и не люби. Жоржу своего люби. Тот все пуговки застегивает и листочек разлинует, и на все вопросы, как требуется, отвечает. А как спиной повернется, непристойное ей показывает. Девчонки все пакость. У тети Зины научились тоненькими голосами говорить и лебезят, лебезят. А потихоньку с мальчишками охальничают. Манька с копей — ничего. Песни жалостные поет и книжку читать любит. А сама из воску чисто и все перхает. Недужная. Но и с ней Гришка не разговаривает. Боится. Нагляделся на девчонок-то и не любит их. Никого Гришка не любит. И опротивело все: и спальни с одинаковыми одеялами, и столовая с новыми деревянными столами. Бежать! В монастыре детский их дом был. За высокими стенами. И у ворот часовой стоял. Гришка рассуждал:

— Правильно. Правонарушители мы. Так и пишемся — малолетние правонарушители. Важно! По-простому сказать, воры, острожники, а по-грамотному пра-ва-на-ру-шители.

Это название нравилось так же, как «Интернационал». Гришка гордился им и часовым у ворот. Но теперь часовой мешал. Удрать охота.

Весна пришла. На двор как выйдешь, тоска возьмет. Ноздри, как у собаки, задви-

~=этся, и лететь охота. Солнышко подобре-
ет: и хорошо греет. Снег мягким стал. Ка-
£±зки уж нарыли, и вода в них под то-
^ньким, тоненьким ледочком. Сани по до-
>:ге уж не скрипят, а шебаршат. Лошадь
опытами не стук-стук, а чвак-чвак... Веточ-
ек у деревьев голые, тоненькие, а радост-
Еые. Осенью на них желтые мертвые листы
-репыхались, а зимой снег. Теперь все сбро-
сили. Легонькие стали, чисто расправились
п:сле хвори. Дышат не надышатся. У неба
и>~ть просят. Мальчишки за оградой целый
пень по улице криком и визгом весну славят.
Эй. удрать охота!.. На дворе хорошо, когда
п:-своему играть дают. А как с учителями
проводы да караваи — неохота. В лапту
*:>жно.

Монашки во дворе жили. Стеснили их,
*1* зыселить еще не выселили. И утром и ве-
чером скорбно гудел колокол. Черные тени
г_з закутков своих выходили и плавно, точно
п.тыли, двигались к церкви. Она в углу дво-
:= была и входом главным на улицу выхо-
дила. Шли монашки молодые и старые, но
в:е точно неживые двигались. Не так, как
пнем по двору или в пекарне суетились,
"эгда на баб живых походили, с ребятами
пугались и визжали. А ребята их драз-
нили. В колодец плевали, а один раз
з церковь дверь открыли и прокри-
чали:

— Ленин... Сафнарком!

Монашки в губнаробраз жаловались.
С тех пор война пошла. Веселее жить
стало.

II

Все жаднее пила весна снег. В церкви дверь открывали. Солнца хлебнувший воздух сумрачные своды освежал. Врывался он пьяный и вольный. А из церкви на двор выносился с великопостным скорбным воплем людей. С плачем о чертоге, в который войти не дано. Монашки чаще проплывали тенями к церкви. Дольше кричали богу в угаре покаянном. И эти бесшумные черные тени на светлом лике весны, и песнопенья великопостные, и будоражливый гомон весенней улицы совсем смутили Гришку. Воспитатели были довольны. Покорялся он всякой науке. Смирно сидел часами. Глаза только пустые стали. А Гришка жил в себе. Ночами просыпался и думал о воле. Убежать было трудно. Шестеро старших игуменью обокрали и бежали. Но их поймали. А они бунтовать. Парни уж. Усы пробиваются. На работы их в лагерь сдали. А за остальными следить строже стали. Часового, агента чеки и воспитателей прибавили. Но случай помог.

Война детей с монашками все разгоралась. В тоскливой чреде дней стычки с ними были самое яркое. Ими жили в праздном своем заточении. А тут еще пятьдесят человек тюрьма доставила. Необходимо было выселить монахинь. Освободили для них большой двухэтажный дом за рекой. Близко к окраине города. Предложили переехать. Монахини покорно приняли решение власти. Только выпросили церковью монастырской пользоваться. Но

потихоньку каждая жалобу свою излила.

По утрам поодаль от высокой монастырской стены останавливалась крестьянская подвода. Иные дни — две-три. С видом виноватым, съежившись, пробирались к воротам монастыря мужики и бабы. Просительно, ласково говорили с часовыми, юркали в калитку. Двор встречал их отзвуками чуждой новой суеты. В воздухе звенели слова: «товарищ», «детдом», «правонарушители». Исконная монастырская жизнь пугливо таилась в глубине. Минуя звонкоголосых и молчаливых с готовым вопросом в детских глазах, шли в задние малые домики. Там встречали их лики святых и тонкие умильные голоса. Вот этим дающим тайную лепту излили душу монахини. Игуменья под бумагами подписывалась: настоятельница трудовой коммуны монашеской, смиренная Евстолия. На собраниях в церкви монастырской, совместно с верующими, уговаривала: «всякая власть от бога». Но и она не стерпела. Знакомому мирянину Астафьеву, который раньше два кинематографа имел, на монастырь хорошо жертвовал, а теперь в губсоюзе служил и бога опять же не забывал, поскорбела:

— От храма божьего отрывают.

И побежали вестовщицы по домам, где бога не забыли.

— Монахинь выселяют!

— Театры в монастыре будут...

— С икон ризы снимают:..

— С престола из церкви все председателю губчека на квартиру свезли.

— Мать-игуменью в чеке пытали.

Из домов весть крылатая на базар, что на площади рядом с монастырем, перекинулась. В день, для переезда назначенный, бабы на подводах крестились. Одна, в тревоге,— за капусту три тысячи не дополучила. Охая, мешала возгласы к богу с бабьей бранью, визгливой и бестолковой.

— Матушка, царица небесная, троеручица. Что же это, холеры на их нет... сует деньги, а сам дирака! Коммунист лешачий!.. Жидово племя! Микола-милостивый... Молитвы, вишь, помешали... Чисто черти, ладана боятся. Невесты Христовы, матушки наши... да куда же пойдут? Задави их горой, ироды, антихристово семя!.. А, на-ко-ся. Только глянула: был человек, нету человека... Ну, да я помню рожу твою пучеглазую! Приди-ко еще... Лихоманка собачая!..

Мужики языка не распускали, но с базара, торг закончив, не уехали. Ближе к монастырю лошаденок подвинули.

Подали подводы для монашек. Большие ворота открыли. Часовые около них встали. И, точно проводом тайным, весть передалась. Сразу разноцветной волной прилила толпа. Зорко глянула из-под черного клобука мать Евстолия. И в воротах остановилась, высокая и важная. Не спеша повернулась к иконе, над воротами прибитой. Наземь в поклоне склонилась. Бабы в толпе захлюпали. А игуменья у подводы своей еще на все четыре стороны поясные поклоны отвесила. Лицо у ней, как на старой иконе. Строгое. Черными тенями двинулись за

ней монахини. Как игуменья сделала, все повторили. Четкие в синем воздухе весеннем, черные фигуры рождали печаль. Метнулась одна баба к монашкам с воплем звенящим:

— Матушки наши! Молитвенницы! Простите, Христа ради!

За ней другая. Еще звонче крикнула:

— Куды гонют вас от храма божьего?

Третья прямо в ноги лошади игумниной. И петуха из рук выпустила.

— На нас не посетуйте! Богу не пожальтесь!

Заголосили истошным воем. Отозвались десятки режущих женских воплей. С улиц иа плач прохожие метнулись. Конный солдат с пакетом на всем скаку лошадь остановил. Застыл в любопытстве. Торговка Филатова тележку с пирожками бросила. V нему ринулась.

— За что над верой Христовой ругаетесь? Покарат!.. Дай срок, покарат!

Задвигалась толпа. Визги женские всколыхнули. Загудели мужчины.

— Не дадим монастырь на разгром!

— Кому монашки помешали? Кого трогали?

Юркий и седенький учитель бывшего духовного училища, староста церковный, к подводам вынырнул. Задребезжал старческий выкрик:

— Где же свобода вероисповедания? Свобода вероисповедания, правительством разрешенная, где?

Толпу подхлестнул:

— Правое нет!

— Ленину жалобу послать!

— Произвол местных властей!

— Богоотступники! В жидовскую синагогу никого не поселили. Жиды, христопродавцы!

— Ага! Да! В мечеть да в костел не пошли! В православный монастырь подзаборников поселили. В православный... Ни в чей...

А «подзаборники» шумной ватагой уж со двора высыпали. Круглыми глазами всех оглядывали. Весельем скандала упивались. Под ноги, как щенки бестолковые, всем совались. Гришка про тоску и побег забыл. Сияли серые глаза, и головенка с восторгом из стороны в сторону покачивалась.

Чудно!.. Бабы орут, у мужиков морды красные. А монашки чисто куклы черные на пружинах. Туды-суды кланяются. Губы поджали.

— Ишь, изобиделись!

И, набрав воздуху в легкие, полный задором бунтующим, Гришка около игуменьи прокричал:

— Сволочь чернохвостая!

Диким концертом бабы отозвались:

— Над матушками пащенок ругается!

— Молитвенницу нашу материт!

Смяли бы Гришку. Но часовой его за шиворот схватил. К стене монастырской отбросил. А сам только очухался. На скандал загляделся было. Другой тоже оправился и во двор крикнул:

— По телефону скажите! Наряд нужно!

Но шум уж разнесся по городу. С разных концов мчались конные.

— Расходись... Расходись...

— Граждане, которы не монастырски, назад подайтесь... Назад!..

Монашка одна визгнула и наземь кинулась. Конный к ней метнулся.

— Подсадьте матушку на подводу... Под бочок, под бочок берись. Клади... Гражданка игуменьша, на подводу пожалыте. Лодмогните! Проводите!

Смешливый стекольщик, в толпе застрявший, загоготал:

— Ишь ты! Ухажер военный подсыпался.

Живо подхватили:

— Гы-гы... Га-га... И монашкам хотится с кавалерами-та.

— Хотится с ухажерами пройтиться... Ха-ха-ха...

— Лешаки окаянные. Хайло-то распустили. Матушки наши! Печальницы!..

— Ы-ы-ы... Еще на копеечку, тетенька, поголоси, советску десятку отвалю...

— Охальники! Кобели проклятые!

— Ах, не выражайтесь, пожалуйста. Пойдем, Маня.

— Гы-гы-гы... «Пойдем, Маня». Фу-ты ну-ты, ножки гнуты... Юбка клош, карман на боку... Барышни-сударышни!

— Глянь-ка, глянь-ка, монашки добро укладают.

— Ишь, стервы, вышли с узелками. Убогие! А позади сундуки тащат.

— У игуменьи в подполье чугун с золотом нашли.

— Сто аршин мануфактуры!

— Какие мученицы, подумаешь! Не на улицу выгоняют. Молиться и поститься и там можно. Правда, Вася?

— Я, как коммунист, губисполком одобряю.

— А я не коммунист, но тут я их понимаю. Детей девать некуда. П-а-нимаю.

— Знамо, околевать ребятам-то, што ли? Им тут покои да послушницы, а дети под заборами.

— Которы сироты... В пролубь их, што ли?

— Ну-ну, расходись... Граждане, граждане! Осадите!

Монашки юбки подобрали. Суетливо вещи укладывали. Иконописность свою потеряли. Толпа гудела. Сочувствие монашкам в разговорах сгасло. Гришка от стены тихонько отделился и в толпу шмыгнул.

III

Вот один мужик на станции про себя рассказывал, сколько ему по разным городам шманяться пришлось. И говорит: «Планида у меня такая беспокойная». Гришка тогда засмеялся. Со всеми вместе, а не понял. А теперь вспомнил, к себе применил:

— Планида у меня беспокойная.

Сейчас, к слову сказать, ребятам там «бутенброты» с чаем дают, а Гришка по улице ходит да слушает, как в животе урчит. Назад туда неохота все-таки. Да брюхо-то несговорное. День протерпит, два, а там и замает человека. И припасы — ау! Все изничтожили. Шестеро их на кладбище прячется. Пятерых Гришка сыскал, которые склад губнаробразовский с кучером обво-

ровали да из приемника сбежали. Ну, на кладбище на ночевки пристроились. Деньги у тех-то были, да и Гришка с себя рубаху да штаны верхние продал. Пальто казенное на худенькое сменял. Придачу дали. Все проели. Днем по городу канючили без опаски. Кому надо искать? Новых ребят каждый день приводят. Разве на плохого человека попадешь, привяжется.

— Кто ты есть? Откуда?

А хороший пройдет себе по своим делам, куда ему полагается. И не посмотрит!

Нынче день плохой выдался. Гришка у советской столовой стоял, никто билетика не дал. В детской, когда без карточек, с тарелок доедать дают, а нынче погнали. <Рабкрину» какую-то ждут. В один дом сунулся.

— Подайте, Христа ради... Отца на войне убили, мамка от тифу в больнице померла.

Взашей вытолкали.

—- Иди, говорят, у комиссаров своих проси. Развели вас, пусть кормят.

Дивится Гришка.

— Дак нешто нас комиссары развели? Отцы да матерья. А к им подбросили. Ну, лак, говори с дураками! А есть охота. Столовые уж закрывают. Эх ты, незадача какая вышла!

С горя дал башкиренку — тоже у столовой стоял — по уху, а тот ловкий. Кулаком в живот. Охнул, отдохнул да дальше пошел.

— Товарищ... дайте на хлеб...

— Пшел с дороги. Сколько развелось, и мор не берет.

— Ишь, пошел, порфельчиком помахивает! Скупяга толстозадая!

Мальчишка папиросами торгует, к нему подошел.

— Почем десяток?

— Проваливай, шпана! Эдаки папиросы не тебе курить.

Гришка глаза прищурил.

— Ох, какой зазнаистый! А може, у меня десять тыщ есть.

— Есть у тебя десять тыщ, других омманывай. Ну-ка, покажи!

— Стану я всякому показывать. Може, и побольше было.

— Были да сплыли. Проходи, проходи, а то в морду дам!

— А ну, дай!

— И дам!

— А ну, попробуй!

— А попробую!

Встали посреди панели и друг на друга наскакивают. А тут барыню какую-то нанесло:

— Это что такое? Ты торгуешь, мальчик?

А у того папироски-то в ящике в руке. Сдуру-то и сунься:

— Высшего сорту. Сколько? Десяток?

А она его за рукав:

— Пойдем-ка в милицию. Приказ о детской спекуляции читал? Неграмотный? К родителям сходим.

Тот упирается, а она тащит. А Гришка, понятно, драть. Чуть не влопался. Ладно, баба сырая, а то обоих бы захватила. Ну, денек!

А денек уж сгасал. Печальным, серым стало небо. Одна полоска веселая, розовая осталась. Да не греет. Люди в дома заспешили. Ветер злее задул.

Путаются ноги одна за другую, а делать нечего. Поплелся на кладбище. Между вокзалом и городом, на пустыре оно. Стенами каменными огорожено, а калитка не запирается. Деревья на нем сейчас от ветру скрипят. И снег не весь растаял. Студеные ночи бывают. Но в яме у них, в углу меж двух стен, потеплее. Два раза осмелели: костер жгли. Но часто нельзя. Дознаются.

Пришел Гришка со вздохом, а там радость ждала. Ребята пищу «настреляли» и Гришке оставили. Две девчонки от сытости песню тихонько заиграли. А они, мальчишек четверо, друг другу про день свой рассказывали. В яме сидели плотно. Тесно, а лучше. Теплее, да и по ночам не страшно. А то ночью на кладбище жуть сходила. Когда ветер шумит и темно — лучше. А когда месяц на небе выпялится и тихо кругом — страшнее. Далеко собаки пролают. Там, где живые. А здесь тихо. Одно слово — могила. Чудится, затаился кто-то и рот зажал, чтобы не дышать, а сам смотрит. Из ямы выглянешь, кресты месяц освещает. Все кресты да памятники стоят прямо, застыли. Тоже будто затаились, а грозят. Сегодня ночь темная, ветреная. Ветром живую жизнь от города доносит. Васька конопатый, как сытый, всегда рассказывает. И нынче начал. Девчонки тоже замолчали, слушать стали.

Разговор зашел, что, бывает, живых хоронят. Васька и рассказ повел:

— А вот я вам, товарищи, расскажу, какой случай был. В одном городе... Ну, дак вот, барышня одна так-то... Не то реалистка, не то емназистка... Пришла ето домой да «ах, ах»... да «ах, папаша, ах, мамаша, помираю». Дрык-брык, да на пол упанула. Мамашка ето к ей, папаша к ей, а она «помираю да помираю». Ну, канешно, сичас за дохтуром. Дохтура привезли. Вот так и так, господин дохтур, памирать хочет. Дохтур ее вызволять. Ну, канешно, и квасом и шиколатом, а она, «нет, нет, помираю». Дрыг-брык, и не дышит. Ну, дохтур уехал, канешно. Маменька это повыла, повыла, да в гроб ее обрядили. Ну и схоронили. Вот эдак же на кладбище. Она, канешно, там лежала, лежала, да давай шебаршиться. Слушает сторож, шебаршится! Слушал, слушал да к отцу с матерью барышниным. Они людей понабрали, могилку разрыли, а она уж вдругорядь померла, канешно. А, видать, шебаршилась. Ножку одну, вот эдак под себя подвернула. И говорит тогда дохтур: с ей был листаргический сон. И в газете так пропечатали. Я тогда маманьке с папанькай своим приказал: меня не хороните, пока я не прокисну и не протухну. Да-а.

Ребята слушали, затаив дыхание. А как кончил, Полька-дура завыла: «Боюсь».

Гришка ее урезонивал:

— Дура, чего воешь? Набрехал все Васька.

А Васька божится:

— Ей-бо, лопни мои глаза, в газете былэ пропечатано. Не то реалистка, не то емназистка.

Петька, старшой, сам парнишка,— ровесник Гришкин, а строгий. Командир здесь. Он прикрикнул:

— Реви, реви, кобыла. Сторож услышит, :н те пострашнее Васькиного покажет. А ты, густобрех, заткнись!

Васька обозлился:

— Ишь ты! «Заткнись»! Я, што ль, в газетах печатал? А вот как дам тебе бляблю хорошую, так поверишь.

В это время в лесу: бах-бах! За стеной •-тадбищенский лес сразу начинался.

Дети затихли.

— Стреляют,— прошептала Анютка.

Тихо сказала, но страха в голосе уж не было. Не в первый раз они выстрелы слышали

Гришка в темноте деловито брови нахмурил.

— Это которых на расстрел. Контрреволюционеров.

— А пошто?— Полька пискнула.

Петька отозвался:

— Вот дура. Который раз тебе говорю: супротив Советской власти которые.

Завозился молчаливый Антропка:

— А я боюсь, когда человеков стреляют. Больно.

А в лесу опять: бах-бах! Затаились. Слушали с любопытством. Мертвых боялись, а смерти еще не знали. И не пугала мука тех, в кого бахали. Антропка только задрожал. Он войну в своем селе видал.

У него сердце в комочек захватило. И тоскливо, слезы проглотив, тихонько сказал:

— В тюрьму бы их лучче.

Петька презрительно сплюнул:

— А который подлец бесконечный, сам сколько поубивал. Его как?..

— А в тюрьму его...

— А он убегет, да опять убьет.

— А солдатов к ему приставить, он не убегет...

— А он солдатов убьет.

— А у него ривольверту нету, не убьет...

Крыл Петьку. Подумал — и сказал только:

— Ты дурак, Антропка!

А Гришка ничего не говорил, а думал. «Как в их стреляют, жмурят они .глаза ал и нет?»

И увидал вдруг словно: жмурят. Сердце, как у Антропки, защемило.

Затихли выстрелы. Дети выжидали: не будет ли еще? Не дождались. Пришел сон, веки смежил и всякие мысли отвел. Антропка только во сне взвизгивал тихонько.

Утром, как солнышко обогрело, все стало живым и радостным. Тьма скрылась и тоску с собой унесла. За стеной кладбищенской в губчека и в расстрел играли. Петька председателем губчека был. В одной руке будто бы револьвер держал, а в другой из пулемета стрелял. Польку с Анюткой расстрелять водили. Антропка с Гришкой расстреливали. Гришка весело командовал:

— Глаза жмурьте! Жмурьте глаза!..

В звонких детских криках не было ни кощунства, ни жути, ни гнева. Они в просто-

- жизнь больших воспроизводили. А сол-
и_ко грело жарко. Будто лаской своей
:-гшало: новую игру еще придумают, эту
і :удут.

Лень веселый удался. Парижскую ком-
-. праздновали. В детской столовой без
точек кормили. Кладбищенские жильцы
тдизкую очередь попали и покормились.
т:том по улицам с народом за красными
-агами ходили. «Интернационал» пели. На
-: шадях ящики высокие красным обтяну-
• На них коммунисты руками размахивали
-то Парижскую коммуну что-то кричали,
дин Гришке больше всего поглянулся. Боль-
:н да кудлатый, орластый. Далеко слыш-
Ло ящику бегает, патлами трясет, а по-
ч как по стенке ящика ударит кулаком:

— Шапки долой, буду говорить о муче-
ках коммуны!

Здорово и ятно рявкнул. Гришка слова
темнил, а потом сам в толпе кричал:

— Шапки долой, буду говорить о муче-
нках коммуны!

Около бабы какой-то закричал, она ему
трещину влепила.

— Свиненок, вопит без ума! Кака така
умуна-то — не знает, а орет!

Гришка голову, где влетело, погладил и
дыне радостный помчался. Как не знает?
-:ает. Коммуна — это у коммунистов, а Па-
^жеска... Город такой есть. За Москвой
е-то. Слыхал еще в детском доме: «боль-
ой город Париж, в его приедешь — уго-
!шь». Нет, Гришка, брат, знает. И снова
буйном восторге заорал:

Сваею собственной рукой!

Народ опять остановился. Не то баба, не то барыня на ящике тоненьким голоском визжала. Что — не разберешь, а смотреть на нее смешно. Расходуется. Гришка ее тоже тоненьким голоском передразнил: и-ти-ти-ти! И дальше пошел. А из толпы пьяненький выскочил.

Пальто чистое, и шапка с ушами длинными набок, а на груди бант красный прилеплен. Худенький, щербатенький и глазом косит. А сам руками машет и орет:

— Товарищи, прашу вас апракинуть капитал!

Его за пальтишко хозяйка его, видно, ухватила, а он рвется к «ящику»:

— Убедительно прашу вас апракинуть капитал!

Подлетели к нему два конных и под ручки подхватили. В толпе захохотали:

— Вот те опрокинул капитал!

— И чем натрескался? — завистливо удивился хриплый бас.

Гришке новая радость. К кладбищу с криком звонким летел.

— Товарищи, прошу вас опрокинуть капитал!

Однажды ночью кладбище оцепили. Крупного кого-то искали, а нашли — Тришкину коммуну. И в призрачный час предрассветный, спотыкаясь спросонок, плелись малолетние правонарушители знакомым путем. Усталые красноармейцы ругались, но не били.

IV

После ночной отсидки опять в наробраз тгзели. Партию в пятнадцать человек. Три ^лиционера провожали. Старший всю *1* грогу кашлял, плевался и ребят от-^тывал:

— Ну, какие из вас человеки вырастут, t=x вы сызмальства под конвоем? Навоз вы, :дно слово!

— И на что вас рожали? Тьфу. Ну ты, -:,:омызай, не веньгай! Биз тибе тошно.

А башкиренок косоглазый не понимал по-:усеки. Визжал и бежать хотел. Рябоватый милиционер ему винтовкой погрозил, потом *}1* длинную рубаху взял и за нее за собой -зтил. Тюбетейка в грязь упала. Старший -:днял и набекрень ему ее нахлобучил. А г^шкиренок рвался в сторону и кричал. Не-т:дзижным оставалось скуластое желтое гнчико, крик был скрипучий, но монотонный.

— Ига кайттырга ты-лэ-эм (домой хо-

Ворчал старший в ответ:

— Катырга, катырга... Знамо, каторга. И вам, и нам с вами. А ты не скрыпи! Коли -ебе жизня определила каторгу, скрыпи не :крыпи — толк один. Навоз, как есть навоз! Не скули!

А башкиренок скулил. Как щенок, на которого люди впопыхах наступили. Проходящие на ребят оглядывались. Седой господин, : воротником и в нынешний теплый день поднятым, остановился. Головой покачал и громко сказал:

— Безобразие! Детей с винтовками провс жают. Били, верно, малайку-то?

Старший к нему дернулся:

— А ж_£Июстливый, дык возьми к себе! Кажный день таскаем. Жалеете, а кормить не жалаете?

Господин возмущался. Дети дальше брели.

В наробразе, известно, в комнату по делам несовершеннолетних. А там уж на полу сидят. Старенький делопроизводитель в бумагах заплутался. Мается и листочки со стола на пол роняет. Барышня с челкой завитой в шкафу роется. Другая, постарше, со стеклышками на носу, шнурочек со стеклышек теребит и сердится.

— В губисполком всех отправлю. Куда хотят, пусть девают! Что это...

А в дверь еще с ребятами. Всякими. И в казенной одежде, и в одном белье, и в ремушках разных.

В приемник Гришкину партию отправили. Там сказали:

— Некуда. Не примем.

Назад привели. Старший сопровождающий плюнул и ушел. Двое других цигарки завернули и на пол на корточки присели отдохнуть. Гришку замутило. И от голода, и от воздуха в комнате тяжелого. А больше от тоски. На пол сел, мутными глазами в потолок уставился, крепко губы сжал. Лицо стало скорбным и старым. А в комнату бритый, долгоносый, с губами тонкими вошел. На голове, острой кверху, кепка приплюснута была на самые глаза. Ступал твердо. Точно каждым шагом землю вдавливал.

: ашмаки, чисто лапы звериные, вытопта-
. Как вошел, на стул плюхнулся. И стул
. • .е. в пол вдавил.

— Што? Навертываете? Все с бумажеч-
ки, с бумажечками? В печку все эти бу-
надо. А ты, башкурдистан, чего
.-.-ешь? Автономию просишь?

Глаза узкие щурил и тонкие губы кривил,
ад всем смеялся. Как говорил, руки все
-: ладонями одна о другую, ежился, ноги
>::лен руками разглаживал. Весь трепы-
Смирно ни минуты не сидел. Каждый
:~аз у него точно ходу просил. Дела.

— Подождите, товарищ Мартынов,—
а-^ыгула жалостно старшая барышня.—
•:егда вы с шумом. Вот голова кругом идет.
да их девать?

— Сортиры чистить, землю рыть... Куда?
'.ггто найдется. Эй ты, арба башкирская.
;:лго еще проскрипишь?

И похоже передразнил:

— И гы-гы-гы...

У башкиренка глаза высохли. Губы в
;мешку растянулись. И скрип свой пре-
гатил.

— Ну, так, барышня, как? Все бумаже-
УЛ. бумажечки? По инструкции, с анкеточ-
д«н?'

И опять ладони одна о другую.

— Десять этих барахольщиков я у вас
:зьму. Десять могу.

— А вот хорошо, товарищ Мартынов,—
брадовалась старшая.— Мы вам сейчас
гберем. Тут есть такие, у которых дела уж
ассмотрены.

— Я сам отберу. У меня своя анкета.

И к ребятам со стулом повернулся. На белобрысого высокого мальчишку взглядом уперся.

— Эй ты, белесый! Воровать хорошо умеешь?

Тот скраснел и затормошился.

— Меня занапрасну забрали. Это Федька Пятков украл,— а я...

— Врать хорошо умеешь. А драться любишь? Врукопашную или с ножиком?

— Нет, я не дерусь.

— Не дерешься? Дурак. А ты што позеленел?

Это Гришке он.

Гришка глянул, как он на стуле вертелся и руки одна об другую скоро, скоро шваркал, и засмеялся. Вспомнил:

«Обезьяну эдакую беспокойную в зверинце видал. Похоже. И руки длинные, и мордой чисто дразнится».

— Что смешно? Рожа-то что у тебя зеленая?

Гришка носом шмыгнул и в ответ:

— Прозеленеешь. Не пимши, не емши, с утра тут!

— Не привык разве без еды?

— Привыкашь, привыкать, а все брюхо ноет.

— Из тюрьмы, што ль, бежал?

— Какая тюрьма? Я малолетний. Из монастыря бежал.

— Пострижку уж делали? Это, друг, у них не монастырь, а меди-ко-пе-да-го-гический городок зовется. Сукины дети — придумают? Што же ты бежал?

— А так. Неохота там.

Старшая барышня ученые глаза сделала сказала:

— Дефективный. Очевидно, категория— одяжников.

— Вот и под пункт тебя подвели. Умные! ззать тебя как?

— Песков Григорий.

— Ага. Ну, так, Григорий Песков, тюрьме, говоришь, не сидел?

— Как не сидеть! Сидел. Сколь раз. только как теперь не полагается. Малолет-т правонарушителев устроили.

Захохотал негромко, нутром, и лицо :ззеческое стало — не обезьянье.

— Слышите, товарищ Шидловская, пра-чарушителев устроили? Ха-ха-ха. Сортиры :тить будешь?

— Дух от их нехороший. А надо, так буду.

— Ну, ладно. Со мной поедешь.

— Куда?

— Там увидишь.

— Скушно будет — убегу. И через часо-л убегу,— со злым задором Гришка кинул.

— У нас часовых нет. Беги. А плохой -ешь, так и сами вышибем. Под задницу ленкой! Нам барахла не надо. Этого беру.

И других ребят с усмешкой выспраши-ть стал. Смирных да ласковых не брал, •ех девчонок отобрал, шесть мальчишек башкиренка скрипучего.

— Через три дня на вокзал приходите, завтра здесь ждите. Для тела покрышку идем.

— Так ведь их надо куда-нибудь роить, товарищ Мартынов, на эти дни. льзя же их без надзора.

— Как же! Гувернантку им с француз ским языком приставить надо. Парле фрак се, Григорий Песков!

Почти все ребята засмеялись: Даже баш киренок. Морду больно хорошо скроил Мар тынов.

— Вы всегда с шуточками, товарис Мартынов. Даже раздражает! Вы не пони маете, что они сплошь дефективные...

— Как не понять! Наркомпрос разъясни.- в инструкциях все как следует. Накормить их, барышня, надо да на работу, камни ворочать! Ну, вот что, которых отобрал, пойдемте продукты получать!

— Ну, слушайте, это же безобразие! Надо же список хоть на них составить, потом выяснить, куда их на эти дни определить, охрану вызвать, чтоб до места проводить.

— Насчет списка навертывайте, как хотите, если писать больно любите. А охрану не надо. Я их к себе на квартиру возьму. Айда, продукты получать!

— Да ведь они у вас все разбегутся!

— Убегут, в дураках останутся. Опять в ваш медикопедагогический монастырь попадут. Пишите список. Ребята, сейчас за вами приду, пойду снабжение пощупаю.

На ходу мазнул рукой Гришку по голове и ушел. Гришке отчего-то радостно стало. Длинная рука ласково по голове прошлась. И подумал Гришка:

«Этот ничего. Мужик стоющий».

Никто из десяти не убежал. Не три дня, а неделю прожили с Мартыновым в его маленькой комнате под вздохи квартирной хозяйки. Но вздохи эти слышали только в

дервый день, когда к вечеру пришли. В остальные дни возвращались поздно. Ко сну :разу. Целые дни гонял их Мартынов за получениями во все концы города. В одном месте посуду достал, в другом мануфактуру, Е третьем крупу. Потом в теплушку грузили ящики со стеклом. С кучером Николаем на заимку за коровами ездили. Отовсюду собирал в колонию, как хозяин домовитый, Маронов. Лазейку нашел во все склады, для других замкнутые наглухо. У председателя губчека, к улучшению жизни детей свыше приспособленного, в кабинете часы стенные для колонии снял. И все на ходу потирал ладони одна о другую. Над всеми посмеивался. На ребят покрикивал:

— Эй вы, барахольщики, что брюхо распустили? Навертывайте, навертывайте. Башкурдистан, с Николаем воду носи! Скот напоить надо.

И понимал башкиренок русскую речь по жестам живым. Летел во двор с гортанным криком.

Гришка ожил. Главное дело — весело. Сколько народу за день переглядишь.

Высыхает уж земля. От деревьев дух сладкий, весенний пошел. Солнце тороватое стало. Почти весь день греет. Дождик, если пойдет, так радостный. Только умоет, и опять допустит солнышко все обсушить.

Бегать легко! В первый же день, как из наробраза вышли, в парикмахерскую их Мартынов повел. Головы всем обрили наголо. Даже девчонкам. Потом в бане отмылись и в штаны короткие обрядились. И девчонки. Чудно! А ничего, привыкли. Одежда

легкая. И не хочешь, да скачешь в ней. Штаны до колен, рубашки без воротников и рукавов.

Дорога вся в колонию была для Гришки— как первый сон чудесный.

В двух теплушках ехали. Худых коров и лошадей вместе с собой везли. На остановках убирали за ними. Воду носили. Широко расставив ноги, Мартынов воду качал. На ребят покрикивал. Во время хода поезда с ребятами про них разговаривал. Не расспрашивал, а все сами про себя наперебой ему рассказали. Гришке он сказал:

— Родителей нет — это, друг, хорошо. Родители — барахло! Мать юбкой над сыном трясет, сын бездельник выходит. Родили — и ладно. Сам живи.

— Да, а милиционер говорил: вы — как навоз.

— Навоз — хорошо. От навоза — хлеб хороший будет. Ну, ну, друзья, коров на этой остановке подоим. Молоко пить будем. Молоко— это хорошо.

Мяса не ел, над ребятами смеялся:

— Барбосом закусываете? Зажваривайте, зажваривайте.

Гришка визжал от восторга:

— Это говядина, не собачатина!

— Все равно. Один черт. Барбос! Вот молоко хорошо. Это, друзья, хорошо!

В одной теплушке Мартынов верховодил, в другой кучер Николай. Вот и вея охрана. Ребята менялись. То одни с Мартыновым ехали, то другие. Сами очередь установили, какой пролет кому с кем ехать. На душистом сене валялись. Песни пели, кто

какую знал и хотел. Лучше всего у башкиренка вышло. Слова непонятные, не запомнишь. А похоже, что выходило:

Ай дын бинды дынды бинды.
Ай дын бинды дынды бинды.

Чудно! Пять раз пропел. Ребята просили. Глаза закроет, ножки .под себя крестнакрест, качается и поет. Хорошо! Еще пять газ Гришка слушать готов.

В широко открытые двери теплушки вольный ветер степной, духовитый врывался. И буйную радость с собой приносил. Гришка криком, визгом, прыжками восторг свой в гтепь посылал. Для него мчится этот поезд. Для него паровик ревет. Первый раз так дзчуял: все Гришкино, все для него! И криг чал в открытую дверь во всю силу легких:

— У-гу-гу-гу-гу!..

Вечером, когда кругом прохлада легла и тихонькім быть захотелось, молоко пили. Теплое парное молоко. Сами надоили. Ух, и молоко! Да разве расскажешь? Первый сон чудесный разве расскажешь? Ну, как расскажешь, как сами лошадей из вагонов выводили, сами телеги запрягали? Как темной ночью по лесу незнакомому ехали. И сладкой жутью лес обнимал. Как в сказке!

V

Гришка через озеро громким голосом горы спрашивал:

— Кто была первая дева?

Горы отвечали:

— Ева-а!

Смеялся Гришка.

— Ишь ты, каменюги, разговаривают.

И снова, грудь воздухом подбодрив, орал:

— Хозяин дома-а?

Горы сообщали гулко и раскатисто:

—... Ома-а!

— Эха это называется. Ха-ар-ашо!

Во всем здесь жилки живые трепещут. Все на Гришкин зов ответ шлет. Не в городе. Там собачонка лаять может, а молчком норовит укусить. Дома не подхватят голос человеческий.

Радостно на камне стоять. Солнце еще раскалиться не успело, а камень теплый. Вчерашнее тепло за ночь не растерял.

Волны на камень несутся. Ровным голосом тянут:

— У-у-у-х... у-у-у... у-х.

Одна большая нарастет. Разбахвалится. Голоса всех прежних покроет и раскатится.

— У-ух-ху-ху-у-у!..

И Гришкины босые ноги обольет. Они все в царапинах от камней и кустарников. Как солнышко обсушивать начнет — саднит. А хорошо!

— Дери, матушка-вода, отмывай.

Штанишки короткие долой. Рубах не носят мальчишки в жаркие дни. И в воду. Охватила, прильнула, и опять кричать охота. С волнами, с небом, с лесом, с горами, с птицами, зверями и человеками говорить.

— Го-го-го-го!

А с горы ребячий отклик несется.

— Песк-о-ов! Гришка-ка горласт-а-а-й!

И трое, по пояс голые, в штанишках ко-

роткиx, с горы несутся. Ногами камни с крутого спуска сбивают. Впереди всех Тайчинов. Башкиренок, с которым вместе Гришка сюда приехал.

Голову набок и, как лошадь степная, ржет. Потом прыжком, по-звериному легким, с последнего уступа к Гришке на берег.

— Рожка трубить скора нада! Зачим пирвый драл? Работать ни будишь, исть рази будишь?

— А я-то не работал? Магомет прилипучий! Ране всех воду из бочки носил, молоко мерил. Ты глаза-то не разлепил?

—. Ну латна, латна. Айда, башкой мыряй, глядеть хочу.

А сам уже в воде. Радостно визжал. Гришка послушно на песок выбежал. На руки вниз головой стал, в воздухе ловко перевернулся. И в воду головой.

Тайчинов восторгом захлебнулся:

— Баш... кой мырят! Башкой! Уй-уй-уй!..

Синеглазый полячонок Войцеховский тоже «башкой мырнул». Белым, будто хрупким, а сильным тельцем в воздухе сверкнул.

Степенно в воде пофыркивал крепкий плечистый хохол Надточий и вдруг басисто рявкнул:

— Ого-го-го! Оце ж так озеро! Всем озерам озеро-о!

Озеро хорошее. Нынче синее, радостное. А когда с утра дыбом встает. Сердится и белой пеной отплевывается. А само серым станет. И всегда шумит. Морю шумом не уступит. Когда тихое, чуть не до дна всю жизнь озерскую разглядеть дает. Какие-то тут приезжали со снарядами всякими. Озеро

вдоль и поперек мерили. Ребят с собой в лодку по очереди брали. Так вот эти говорили по-ученому: вода в нем радиоактивная. Ребята с гордостью друг другу передавали:

— В нашем озере вода радиоактивная.

Большое озеро. Как из лесу выйдешь к нему, широко и вольно сразу станет. Берега горами вздыбились,—горами высокими, лесистыми. Облакам грозят. Но озеро не теснят. В чаще горной вольно колышется чистое. И лес озеру радуется. Березки кланяются. Сосны и ели смолистый запах шлют. В лесу дома-дачи прячутся. А которые близко на берег выпялились. На крутизне надбережной семь дач красуются. Колония детская. Отошла подальше от деревни и других дач.

Веселый берег у колонистов. У пристани четыре лодки качаются. И лучше всех белая парусная «Диана». На палках двух высоких холстина надписью яркой манит:

«Трудом и знанием побеждена стихия».

Любил Гришка эту надпись. Как на лодке в пристань возвращался, всегда громко читал:

— «Побеждена стихия». Во-о!

Слово-то какое! Стихия. И не объяснишь, а как услышишь — богатырем охота стать. И озеро — стихия. Оттого и шумит.

Весь берег каемкой разноцветной у воды украсился. Круглыми, серыми и белыми камешками и песком золотым на солнце. В одном месте из лесу большой старый пень выступил. Дети на нем голову старика в красной шапке разрисовали. Красками разными. И глядит пень, как живое

лицо стариковское. Только бородой белой не трясет. А то прямо живой! Вон, с берега глядит.

А на круче, как зверюга лесной, только без шерсти, голоногий Мартынов. Тоже в коротких штанах, как ребята, ив сетке редкой до пояса. Шел и камни на круче вдавливал. Издали гудел:

— Эй, вы! Интернационал чумазый! Лроплескались? Будить других пора. Скорее! У меня чтоб — хны!

Четверо мальчишек на разные голоса позвались:

— Хны!.. Хны!.. Хны!.. Сергей Михалыч, тны!..

Никто в колонии не знал, что это слово значит. А у Мартынова оно все. Хны — хорошо, хны — плохо. Хны — быстро и ловко. Что хочешь. И только в колонии Гришка от него это слово услыхал. В городе не говорил. Это мартыновское здешнее слово. Для своих.

Гришка первым в кухню примчался. Сегодня Гришкина компания дежурит. Восемь человек. Четыре девочки на террасе сейчас хлеб раскладывают. Ух, и обед сегодня будет! Вчера сговорились кашу манную по-новому сварить. С тыквой. Сами ребята готовили, сами и обед придумывали. Состязались дежурные компании каждый день. Кто лучше накормит. Хлеб не навыкли еще печь. Пекарка была. А остальное все сами. Дров-то вон гора на день наготовлена! С вечера рубили. Гришка лихо и скоро колол. Мартынов увидал, рожу скроил и руки потер.

— Ага, Песков — хны!

Весь вечер Гришка похвале радовался.

Ну, сейчас все готово. Молоко, кипяток. Хлеб девчата разложили.

И певуче, но властно запел рожок:

— Ту-ру-ру-туру-ру-туру.

Берег скоро усыпало. Разноголосые, разноголовые, синеглазые, черноглазые,— всякие. Мылись, плескались, барахтались. Крякали, ухали мальчишки на своем купальном месте. У пристани девочки купались. Визжали тонко, пронзительно. Но были стриженые, легкие в прыжках. На мальчишек походили.

Второй раз запел рожок.

С озера гомон в дачи хлынул. Девчонки белыми безрукавками замелькали. Голые торсы мальчишек солнцем золотились. Мчались все на террасу-столовую, как на приступ.

Махонькая черноголовка-девочка прозвенела из толпы:

— Дежурные, чай пить идем.

Гришка, в сером халате кухонном, с террасы закричал:

— Эй, эй!.. Я стих составил. Слушай ти-и:

Рожок поет,<br>Чай пить зовет!..

Надточий в ответ рявкнул:

— Не чай, а кофю...

Мартынов тут как тут. Морду скроил и, как дьякон в церкви, пробасил:

— Я без чаю не скучаю, кофю в брюдо наливаю. Графья, не хотите ли кофею?

Смех волной все кругом покрыл. А Мартынов уж на дворе у склада.

— Кто луки разбросал? Хны! Эй, раззявы, прислужников нет. Петруха Федяхин,

а зчера в ночное ездил? Еще кто? Опять
• ачки устраивали?

Расставив ноги, в землю у склада врос.
2 5лоз около него тонкие губы поджимал.
> зловался.

— Кучеров не велите нанимать. Нико-
i': все в отъезде больше. А это какие хозяе-
\- Перепортят весь скот. Одна слава, что
Г. отники!

— Работники — барахло! Научатся. Пес-
:з. чего иноходцем с кипятком скачешь?
z зидишь, из чайника льется. Хны!

А Песков Анну Сергеевну увидал. Идет
^:зкая, беленькая, тихонькая. На ребят
-;дком рта дергает. Это улыбка такая у ней.

Ничего и никого Гришка раньше не лю-
-:л Все все равно. А в колонии всех полю-
~г.. Анну Сергеевну больше всех. Как сол-
:^шко она. Горы, озеро* лес — хорошо!
- солнышко лучше всего. Почему она сол-
^ZIKO? Так. Не знал Гришка. Только, как
осмотрит, все кругом еще краше станет.
1к вместе дежурили, таз с помоями с ней,
.±к икону, нес. Мартынов два раза запри-
гтнл. Крякнул.

сРастет, мерзавец!» — подумал и «хны»
ердито сказал.

Но потом пригляделся. Весна у Гришки,
доровая, чистая. Нет хватанья и мути во
зглядах. Вся короста шелудивая, от преж-
>х скитаний, отсохла. Нет следов. Здоров.
: прояснился.

— Григорий Песков, хны!

Смотрел и за другими зорко. Были с дев-
онками взгляды нежные. Лысяева Нюрой-
э,1ьшой ребята поддразнивали, но не было

мутного вожделения, рано созревшего. К девчонкам привыкли. Прикосновения не обжигали. Не было тог£, что в городах в детских домах часто случалось. Сам дивился.

— Вот она мать-природа и труд! Вылечили. Сколько город на этих детей налепил нечистот. Отмылись. Как надо, как здоровое растут,— Морду скроил, по ногам себя ударил и мыслью закончил: «В свое время хороший приплод дадут».

Терраса широкая гудела. Вся колония здесь. И дети, и воспитатели, и кучер с лекаркой, и прачка со швеей. Взрослых не сразу найдешь. Девять их только в колонии— и сотня детей.

После чаю все в разные стороны партиями рассыпались. Одна партия в лес грибы собирать на зиму отправилась. Лошадь с телегой тихо по дороге шла. Ребята в траве кувыркались. Тоненький, легкий, стройной сосенке родня, татарчонок впереди дорогу на грибное место указывал. Первый ходок в колонии. Все места знал. На ночевку в лес один раз за семь верст ходили, одеяла забыли. Сбегал — одеяла принес. Потом целый день с охотником за птицей вприпрыжку без устали ходил. И сейчас шел, точно крылья за спиной помогали. Вдруг остановился и закричал:

— Место! Айда!

За работу принялись.

Другая партия на лодке с песнями отплыла. На тот берег за рябиной ярко-красной. Еще мороз не хватил ее. На сушку набрать надо. Озеро у берегов шумит, а посредине ни складочки. Ну, день сегодня!

Гришка в третьей партии. С большими самыми, версты за три на ферму, с песнями пошли. Мартынов с ними. Новую дачу отвоевал. Поместье целое. Там постройка шла. Колонисты сараи строили, ямы копали, доски возили, камни таскали, кирками камень долбили. Упорно.

Ноги на работе в кровь избивали, а радость не сгасала от боли. Там Мартынов придумал оранжерею на зиму устроить.

В наробразе смеялись:

— Электрификацию в своей колонии не затеваете ли?

Посмеивался, руки потирал, а заявлял твердо:

— Затеваю. Электрическую машину на зиму поставлю.

Дружно над ним издевались. А машину из губернского города, действительно, привез.

В наробразе дивились:

— Ну, хват!

А ребята говорили:

— Мартынов, это — хны!

И когда Мартынов рассказывал, как колония на всю окрестность засветит, как разбросает три, десять, двадцать таких колоний кругом, дети верили. И по-другому смеялись. От радости. Как смеются, когда дух захватывает.

Гришка думал:

«Всяких людей видал, а этакого нет. Рвач!»

Дети в колонии всякие были. И от родителей бедных взятые. С копей. И сироты из детских домов. И правонарушители, как

Гришка. Только хилых и больных Мартынов не брал...

...Ходу здоровым! Вор, мошенник — давайте. Коли тело здоровое, выправится.

Не все выправлялись. Где-то прочно внутри заседала гниль. Томились в обстановке постоянного труда. Отставали в работе, хмуро смотрели после. Кроил гримасу Мартынов и в город назад их отправлял.

Воспитателей много назад угнал.

— Инструкции пишите,— это у вас хорошо выходит.

Барышня одна беленькая, красивенькая приезжала. Рисованью обучать хотела. Все цветочки рисовала и платочки на голове по-разному повязывала. Один раз после бани повязала, на икону похоже.

Гришка, как увидел, громко запел:

— Богородице деворадуйся!

И прозвали ее «богородицей». А если оденется, как все воспитательницы, в штаны широкие и рубашку, то на шее золотая цепочка с побрякушкой болтается, на руке браслет. Ребятам смешно. Ехать куда подальше соберутся, все спрашивает:

— А дождя не будет?

Тайчинов визжал:

— У-уй... Страшна! Размокнит.

Ходить долго не могла. Раскисала. Один раз устала и ребят попросила нести себя. А ребятам что? Руки сплели, посадили. А она улыбки, как подарочки, во все стороны.

Мартынов увидел и рявкнул: ^

— Николай! Утром на станцию Клавдию Петровну увезешь. Ее в город надо срочно доставить.

И увезли.

До обеда все в разных местах работали. После обеда в колонии. Кто белье себе стирал, кто двор убирал, кто с плотниками работал. Работу свою кончив, в библиотеку шли. Книжки читали. Но читающих мало было. Не тянула книга. Еще мертвыми слова книжные казались. Картинки любили смотреть. В шахматы и в шашки резались. Перед вечером до темноты играли около Дома культуры. Так дача называлась, в которой библиотека и зал собраний были. Играли в баскетбол, в городки, в лапту. После ужина пели. Иногда рассказы слушали. Иногда плясали. Пели Гришкин любимый «Интернационал» и русские песни проголосные.

У одного воспитателя голос хороший был. И у Нюры-большой. Ух, и пели! У Гришки з горле щипало и мурашки по телу ходили. Рассказы были хорошие и похуже. Слушать не заставляли. Гришка один рассказ больше всех любил. Как целое государство от голода на новые земли пошло. В горах крупных поселилось; и был у них стрелок один. Яблоко с головы у сына сшиб. Вильгельмом Теллем звали. Ух, хорошо! Кабы, говорит, не сшиб,— другая стрела для тебя припасена. Это правителю он. Вроде царя который.

И казалось Гришке, что все это в их горах было, где колония. И озеро тут... Все похоже. Из книжек тоже читали. Про Тараса Бульбу больно хорошо.

Но сам Гришка, как и большинство ребят, читать не любил. Живая жизнь книжку заслоняла. После ужина время минутой одной пролетало. И хоть уставали за день, но,

когда кричал Мартынов: «Спать, спать»,— уходить не хотелось. Но он, посмеиваясь и руки потирая, выталкивал всех из Дома культуры. По дачам рассыпались. На постель сразу плюхались. И сразу сон слетал. Легкий, без видений печальных. И тут мальчишки охальничали спервоначалу. А теперь не видал Гришка. Главное дело — целый день не присядешь. Постель сразу успокоит.

А лето день за днем на нитку нанизывает. И конец скоро его нитке. Солнышко сдавать стало. Занедужило. Погреет, погреет, да и отдыхать спрячется. Паутинки меж деревьев затрепетали. Листья перед смертью позолотой стали покрываться.

О мартыновской колонии разговоры пошли. Из города смотреть приезжали, не хвалили.

Одна комиссия сказала:

— Образовательной работы нет. Слишком много тяжелого физического труда. Вредно в этом "возрасте.

Мартынов дергался, руки потирал и похохатывал:

— А вам бы для картиночки только работать? Дальше танцуйте, дальше от нас. Здесь свое образование. Зима придет, за книгу засядут. Сейчас некогда. Работать надо, чтоб зимой не сдохнуть. Зимой детские дома закроете, а мы выживем. Больных у меня видали? Хны!

Московская одна баба, худая, рыжая, приезжала. Подкормиться послали, а между прочим по делу. Все везде нюхала и губы поджимала:

— Здесь морально-дефективные есть. С ними работы отдельной не ведется.

Мартынов по ляжкам себя хлопал и опять смеялся.

— Вы книжечку об этом напишите. Нам на подтирку пригодится.

И вдруг свирепел:

— Воров из города привез. Где замки у нас? Только на складах. А ключи у кого? У воров этих самых. Что пропало? На ночь в швейной открытой всю мануфактуру оставляем. Что пропало? Ни двери, ни ворота не запираются. Сторож — собачонка Михрютка одна. Вон правонарушитель Григорий Песков. Всю Сибирь исколесил. Весь матерный лексикон изучил. А теперь приглядитесь. Хоть в помойку вашу его отпустить — не страшно. Правонарушителей у меня много. Укажите, которые! Ну, ну. То-то! Хны!

Пожимала плечами москвичка.

— С родителями вы очень грубы. Бедные матери повидаться приедут, а вы через день их гоните.

По ляжкам себя хлопал и весело соглашался:

— Это — да. Матерей не люблю! Барахолят тут. А ребятам барахолить некогда. Да и сами они с ними не сидят. «Ах, мамашенька...», «Ах, сыночек». Это, товарищ-мадам, можно, когда гнидой живешь. А сейчас работай, сам себя спасай! Хны!

Губы надула и уехала московская. Ее тоже на работу потянули было.

В полуверсте от колонии дачи здравотделом заняты были. Курорт. Отдыхать советских служащих присылали. Барыни жир на-

гуливали. Приходили и по колонии прогуливаться с кавалерами. Мартынов раз стерпел, два стерпел. Потом один раз из кухни в халате белом с поварешкой выскочил. Дежурил в этот день. И давай чесать:

— Что, бульвары тут для вас? Мадамы, не желаете ли посуду помыть? Нет? Так в калитку пожалуйте. Проваливайте! Барахольничать тут нечего. Жалуйтесь, жалуйтесь. В Совнарком телеграмму пошлите. Хны!

Еле калитку нашли.

А ребята картинку потом нарисовали. Забор свой решетчатый. На заборе у калитки Мартынов в образе медведя ревет. Внизу Михрютка лает. И подпись:

«Нельзя ли для прогулок подальше выбрать закоулок».

Сам Мартынов всегда в поисках. Книжек не читал, не рассказывал. Некогда было. Накрутит в колонии и в город за мукой едет. Потом лесу для колонии достает. Все в свой муравейник тащит. Затворки герметические для печек печники потребовали. К зиме колония готовилась. Нет затворок. Пошел сам с Николаем в пустых дачах у здравотдела вывернул. Начальство курортное в губернию жаловалось: дачи пустые, но ремонтировать будем, а он стащил. К ремонту здравотдел уже год готовился.

Мартынов бумажку из города получил.

— Хны!

И бумажку изорвал. Что с ним поделаешь?

Осень свою нитку до средины допряла. Березы облетели. Бор глухим, сумрачным стал. Насупилось небо. Злобно плакало про-

ливным дождем. Озеро больше не синело. Прочернело и с ревом* берега било. Птицы улетели. Волка на пашне видели. В дачах печки протапливать стали. Мальчишки штаны длинные надели, девчонки — юбки. Курорт опустел. С гор ветер злой подул. В дачах пустых гулял. В колонии в крыши злобно бил. Сорвать хотел.

И не только дождь и хмарь с осенью пришли. Голод поближе к колонии придвинулся. Мартынов из города злой приехал. Своим «хны» не ласкал, а ругался.

На собранье детям сказал:

— Сколько есть муки, на месяц должно хватить.

Хозяйственная комиссия подсчитала и паек определила: без четверти фунт хлеба. Мяса не стало. Рыба из озера поддерживала. Но трудно пришлось ребятам. Работа тяжелая. Пашню пахали. Места мало было для пашни. Пни в лесу корчевали. На ферме работу заканчивали. Техник приехал электричество налаживать. Обрадовались, усталь забыли.

Гришка про Америку недавно услыхал, а теперь глазами засиял:

— Товарищи, на ферме у нас новая земля. Это — Америка. А в старой колонии Европа. Вот дак ух!

И ребята подхватили:

— Айда в Европу! Кто в Америке сегодня ночует? Чей черед?

Партиями с техником на ночь по очереди оставались. Вечерами одеяла стегали. И мальчики, и девочки. Надо было спешить. Вату поздно достали. Вторую швею привезли. Но швеи одежду верхнюю шили.

А ветер с гор все свирепел. С воем злобным в окна швырялся, выл в трубах. Скоро выстывали печи. Дров много надо нарубить и привезти. Сугробы лягут, не проберешься.

Деревня близко от колонии была. Совсем сникла. В деревне и летом хлеба не хватало. Ягодами, грибами, картошкой кормились. Картошка не уродилась. В хлеб кору прибавлять стали. Ребятишки голодные в колонию прибегали стайками. Как воробьи за крошками. Детский дом в деревне был. Заморились там ребята. И летом было — не как в колонии, а теперь смерть дохнула. Мальчишек из детского дома у завхоза курортного во дворе поймали. Мясо украли.

Мартынов колонистам рассказал.

Гришка затрепетал. Глаза помутнели и стал просить:

— К нам их, в колонию!

Собранием постановили своим отделением считать этот детский дом. Хлеб и на них распределить. По полфунту пришлось на каждого. Хозяева были еще плохие. Летом что запасли, подъели. Грибов совсем мало осталось. Картошку поздно выкопали. Половину деревня украла. Огород мало дал. Из города ничего! Крупа кончилась. Щеки у ребят поблекли и втянулись. Уставали, раньше спать расходились. Но смех еще час* то звучал.

Мартынов посмеивался еще и командовал:

— Пояса потуже! Чемоданы подтяните. Хны!

Но реже морды кроил и часто на станцию ездил. Ночью одной озеро разбушева-

лось. С гулом тоскливым о камни билось. Потом злобой вскипело и раскатывалось:

— У-ух... У-ух. У-уф!

Ветер стены рвал. Разбить хотел. В трубе гудел: вышибу-у, вышибу-у. Когда стихал, вой доносился. Волки или собаки голодные? Электричество еще не провели. К стеклам темная ночь прилипла и дачи мраком жутким затопила. Дети уснуть не могли. Разгозор тоже все обрывался. Слушали, как стены трещали и озеро выло. Будто горы разорвать хотело. И всем, кто близко, проклятье посылало.

Гришка покрутил головой:

— Стихия.

Но богатырем стать уж не думал. Вся полония маленькой, хрупкой представилась. И всеми забытой. Одни, в горах. А кто-то за стенами плачет, грозит, воем похоронным отпевает. Отчего сегодня у всех такая жуть? Тайчинов с тоской сказал:

— Смирть близка гулят.

Входная дверь хлопнула. Все вздрогнули, эойцеховский крикнул испуганно. Но по-:тупь тяжелая успокоила.

Гришка радостно встретил:

— Сергей Михалыч?

— Я!

И в спальню вошел. Гришка у двери :пал. На его кровать тяжело вдавился.

— Не спите еще. Разговорчиками занимаетесь? Хны!

У Гришки жуть прошла. И другие мальчишки радостно завозились.

— Сейчас уснем! Я, Песков, за всех ручаюсь. Мигом уснем!

А Мартынов устало сказал:

— Дело табак, Григорий Песков. Дело — хны!

— А Што?

Тайчинов с кровати к Мартынову скакнул. Все завозились.

— Телеграмма из губоно. Велят вас в город в детские дома свозить. Продуктов нам не дадут. А сами ведь — хны. Не прокормимся.

Взвился Гришка:

— Сергей Михалыч, тут подохну, не пойду. Недарма тоска сегодня!

Затрясся весь и головой в коленки Мартынову. Никогда Мартынов не обнимал и ке целовал детей. Когда видел, девочки обнимаются, ворчал:

— Сантименты!

А тут рукой Гришку к себе прижал, и его дрожь самому будто передалась. Дернулся на кровати тревожно. Загалдели ребята:

— Зачем в город? Помирать — дак тут!

— Корой прокормимся!

— А там чем кормить будут?

— Не налезай, Васька! Тут колония лопатся, а он в ухо.

— Сергей Михалыч, не дозволяйте!

И все загудели на разные голоса:

— Тут останемся! Никуда не поедем!

— Да-да, други... И девчонки сейчас. Плакали, а тоже говорили. Тут надо все обмозговать. Хны! Сами знаете, работа, а еды мало. Помереть — не помрем, а изведемся.

Надточий успокоительно забасил:

— Хабаж до новины не дотягнэм? Дотягнэм. Пашня у нас своя.

Гришка в руку Мартынову вцепился:

— Я, Сергей Михалыч, через день есть буду. Пропади я пропадом, коли каждый день!

И вдруг все детские нотки в голосе поблекли. Точно сразу взрослым стал и с глубокой тоской протянул:

— Не отдавай нас опять в правонарушители.

Глянул Мартынов ему прямо в глаза, не увидел, а почуял в них страшную человеческую скорбь. Дернулся, морду скроил, руки потер и сказал:

— Не отдам.

# ПЕРЕГНОИ

*Повествование*

## I

Про Ленина слухи разные ходили. Из немцев. Из русских, только немцами нанятый и в запечатанном вагоне в Россию доставленный. Для смуты. Бывший старшина волостной Жиганов очень этим человеком интересовался. Всегда из города новый слух привозил. Вчерашний день за полночь вернулся. А не утерпел: в земскую библиотеку в окно постучал. Испуганно к окошку от стола щуплый, низкорослый библиотекарь Сергей Петрович метнулся. С газетами все засиживался.

— Кто там? Что такое?

Жиганов вплотную к стеклу черную бороду свою придавил и сквозь двойную раму зычно крикнул:

— Сбежал! Не пужайтесь. Благополучно вам вечеровать! Из городу сейчас. Сбежал!

— Здравствуйте, Алексей Иваныч! Кто сбежал?

— Ленин. Из банков все забрал. Вчистую. И скрылся. Погоня послана. Завтра все расскажу!

— Зайдите, Алексей Иванович. Сейчас открою.

— Неколи. Дома ждут. Завтра все расскажу!

— Газеты привезли?

— Привез. Только старые, в них еще не пропечатано. По телеграмме... Ну, ты, большевицка холера, т-пр-у!

И в сенях уж сам с собой проговорил:

— Не стоится! До дому охота, жрать охота! Сказано—скотина!

А назавтра радость сникла. Обманули в городе: утром какой-то с бельмом на глазу, с «мандатой» приехал и непонятные слова на сходке читал: «Совнарком — исполкомам зсех совдепов». Не сбежал Ленин. Он на этаком языке разговаривает.

Про Ленина разговор больше в Небесновке. Народ книжный в ней живет. Сектанты. Как из России сюда пришли, хвалили. На небеса, говорят, попали. Так и прозвали: Небесновка. Все сектанты для чтения Писания священного грамоте обучены. От Тамбовки, хоть одно село Тамбовско-Небесновское, столбом с доской отгородились. И доска для грамотных. Белым по черному прописано: Небесновка — мужеского пола 495 человек, женского 581. Под самой доской почти крайний дом тамбовский, а народ разный. В Небесновке почище. В Тамбовке тоже кто пообразованней и помоложе о Ленине осведомлен, а бабы да старики про большевиков слыхали одно: войну кончают. Откуда большевики — в точку не смотрели. Короткий народ. Не дохватывают. Старшина Жиганов из Небесновки был. Солдатье Тамбов ское отменило его от должности. А сейчас не разбери-бери какое правленье. Солдат Софрон верховодит. На сходке к Жиганову прицепился:

— Эй ты, ботало молоканско! Каки слухи про нову власть распускать?

Немалого роста Софрон и плечистый, а жигановские глаза на него сверху черным блеском дразнятся. На голову выше Жиганов. И неробкий, но сметливый. Зря в драку с дураком не полезет.

— Чего, как петух на куру, наскакиваешь? Что в городе слыхал, то и рассказал. Мне брехали, и я брехал. По чем купил, по том и продаю.

Мужики уж дышат на них, сгрудились. Приезжий с мандатом чай пить ушел. Сход не расходился. Собрать из домов трудно, а как соберутся деревенские — не разгонишь.

Туго мозги поворачиваются. Пока все выспросят, много часов пройдет. За Жиганова наставник сектантский Кочеров вступился:

— Гражданин Софрон Артамонович, нехорошо этак на морду налезать! Алексей Иваныч — человек с интересом. Узнал в городу— сообщение предоставил. А ежели заблуждение вышло...

Софрон человек без резона. От тихой вразумительной речи Кочерова взбеленился, заорал зычно на весь большой класс. В школе все сходы собирались.

— Товарищи! Граждане! Небесновка вся — кулаки! Сладко поют, им не верьте. Сейчас я вам слово скажу! Как я сам председатель этого митингу, слово скажу!

И сразу за стол, откуда речи говорились. Солдаты отпускные к нему подались. Солдатки и рванье из-за оврага, где бедность

хела, тоже за ними. Небесновские за купцом из Тамбовки Сычуговым было к дверям, да шепот жигановский им быстро передан был:

— Не расходитесь! Кочеров Софрону этчитку делать будет!

Кудрявый рыжий волос Софронов всегда торчком над головой, как сиянье. Борода тоже рыжая, и нет в ней степенности. Клочкозатая, во все стороны. И в глазах строгости нет. Одна синь, в гневе темнеющая, но без свинца. От того нестрашная.

— Товарищи! Богатеи небесновски нас сомущают. Мы на фронту кровь проливали, они, которы за богом прятались! Вера, дескать, не дозволят на войну идти! А сейчас им опять нашу кровь подавай! Котора власть за войну, энту им надо! Нашу не надо.

Гулом сход отозвался:

— Правильно! За богом-то сидючи брюхо нагуляли!

— И наши на войне были! Одни добротолюбовцы отказывались!

— Мы каторги не боялись, на войну не шли!

— Теплоухов только-только с каторги вернулся...

— Дело говори! Это все слыхали!

— Теплоухов у них в каторге! А у наших руки-ноги оторваты! Это тебе как?

— Ни за што почиташь?

— Не шли бы и вы!

— Ах, ты, пузо наливное! Земли-то в вечну награбастали! На семьи хватит, и на каторгу можно...

— Чего разговаривать! Бей их, толсто-мордых!

— Тише! Слова дайте сказать!

— Слабода слова...

— Говори, Софрон!

— Нечего говорить! Все слыхали!

— Пролетарии, которы пролетают! Старались бы, так и у вас в вечну...

Шум разрастался. Голоса свирепели.

Во всю грудь Софрон, чтоб перекричать:

— Товарищи! Апосля посчитамся! Этак не слыхать! По череду все скажем.

Жиганов своих успокаивал:

— Помолчить! Помолчить! Кочеров ему завертку сделат!

Стихли. В глухом, рассерженном, но затихающем ворчании ясный густой голос Софрона заиграл:

— Товарищи! Вон энти ободранные, заовражные... Энти нам теперь товарищи! Мы то есть вам товарищи! А небесновски мужики богатые. Им все равно, чья земля. Им все равно, коли нас опять в окопы. Дарданеллов им надо! Вот каки они! Они вас сомущают — все от бога. От Писания. Им ладно на бога-то уповать! Богатому легче войти в царство небесное. На земле жиром наливаются, а помрут...

Жиганов не выдержал. Зычным окриком из толпы:

— Клеплешь на Священное писание! Там сказано: бедному легче в рай...

Софрон затряс кудлатой головой. Распалился. Яростно, громче прежнего, будто лбы разбить хотел, в толпу кричал:

— Недосмотр в Писанье вышел! Богатый человек богу угоден! Богатый мужик чистый, обходительный. С чего я псом кидаться стану, когда кажный передо мной шапку ломает? А бедному всяк по загривку. От этого з ем завсегда злость. Обязательно! Богатый : господами за ручку, всему обу :ен. А бедный-то и молитвы по-матерному вывернет, потому ничего не понимат! В Писанье сказано: не укради. Обязательно украдешь, как трескать нечего! В Писанье опять же: не убий. Обязательно убьешь!..

Взревели небесновцы:

— Эт-та хорошо! Значит, крадь, убивай!

— Вот оно ново-то ученье!

— По словам человека узнают!

— Слыхали, каки болыпевики-те!

— Истинно, острожники у них коноводы!

Заовражные свое:

— Заткни хайло, толстопузый!

— Кого убили? Кого нашински убили?

— А следоват! Бей их, чертей вальяжных!

Старуха Митрофанова поняла: спор на зеру перешел. Дребезжащим выкриком из толпы заовражинских:

— В православной церкви святы дары, а з ихнем молоканском чо?

В шуме потонули слова. Задвигались руки, загудели, засипели, зазвенели разные голоса, все слилось в дикую музыку стихийно ззметнувшегося рева.

Софрон сначала кулаком по столу стучал, потом табурет поднял. Сиденьем его по столу стал колотить. Затихли было, но прорвался надрывный выкрик Редькина.

— Наша власть! Будя! Они себя пообихаживали!

И опять стон, рычанье толпы, не привыкшей говорить, знавшей только вой и дикий гомон. Не стояли на месте. Надвигались друг на друга, грозили кулаками, толкали, теснили, давили. Близилось побоище.

Кочеров протискался к столу, отвел чей-то увесистый кулак сильной рукой и, выхватив у Софрона табурет, застучал им сильно и часто по столу. Небесновцы стихли. Софрон своих унимал. Опять глухое стихающее рычанье. Выделился мягкий, ласковый, приятный басок Кочерова:

— Братья! Злобствие для зверя оставлено, человеку надо миром и любовью.

Была в мягком голосе привычная властность, уверенность начетчика. Укротила. Один Редькин плюнул и нехорошо выругался в ответ. Остальные замолчали.

— В гневе у человека глаза не видят, уши не слышат. Зачем так-то? Зачем брат Софрон злобе дал себя оседлать? За веру свою от старого правительства большое наказание мы принимали. Из России сюда спасать свою веру унесли. В чужую холодную сторону пешком с семействами шли. В вечно владенье землю купили. А как? Этого вы, братья, не видали? Миром купили, всем миром! Не только что потом, кровью наша землица полита. Да, да! Как старо правительство наших на каторгу гнало, вы тогда нас жалели. На войну у нас добротолюбовцы только не шли. А много ли их у нас? Мы, евангелические христиане, шли.

У меня сын на военной службе. Мы с вами -яготу несем.

Правду говорил Кочеров. Голос, будто священным елеем смазанный, был ласков, проникновенен, умиротворял. Толпа сникла и сжалась. Только Софрон крякнул, да Редькин больным звенящим выкриком запротес- "эвал:

— Книжники! На Писаньи насобачились...

На него прицыкнули, и он смолк.

Ровно и убедительно говорил Кочеров. Будто капли успокоительные больному подносил.

— Насчет большевицкого ученья мы не против. Войны мы не хотим, как в Писании :казано — не убий. Бедного человека, по Писанию, мы также подымать должны. Но ученье человеческое — не божье. Оно всегда : собой муть грехов наших несет. Отобрать, да отдать — обида и зло. Нашу, к слову, землю как отбирать? Мы не подарком ее взяли. Все это надо обсудить в мире, в тишине, в спокойствии. Я поинтересовался насчет большевицкого ученья, в город съездил. Разузнал, что главный их учитель был Карла Марксов. Ха-а-ра-шо. Был он человек нерусский, записал по-иностранному свое ученье. Вот узнать бы досконально подлинность Карлом Марксовым прописанного. Русский народ, он у нас скоро уверяющий. Как нам подали, так мы и глотаем. Разбору нету у нас в привычке. Насчет образованья, касательно иностранных языков, слаб. Если к иностранному несумнительно допустить — Ленин чего приписал, как узнать? Надо ино-

странные языки уразуметь и Карло Марксово писание с русскими сверить. Вот тогда можно: пролетарии всех стран! В таком деле, как политика, без доскональности невозможно. На уразумленье время надо, верных людей надо, тишину и мир надо. А так, очертя голову, в новый хомут лезть...

Болью подлинной вытолкнуло из тишины свистящий выкрик Редькина:

— Заливат! Товарищи, глаза вам молоканский начетчик отводит.

Сразу Кочерова оборвал. Запнулся на слове от неожиданности.

Софрон крепко, зло и властно крикнул:

— Будя! Напустил туману! Мы едак не умеем! Товарищи, за землю доржится! В ее вцепился, нас обхаживат! Будя!

Опять многоголосый крик:

— Верно! Правильно! Обхаживат! Заткни глотку!

— Охальники! От слову доброго отвыкли!

— Пущай говорит Ефим Кочеров!

— Правильно изъяснял!

— Дербалызни его по затылку-то, забудет, как изъяснять!

— Софрон, твое слово! Ты по-нашински!

Но на стол Редькин забрался.

Худой, нескладный, с воспаленным взглядом злых черных глаз, с яркими пятнами на скулах,, он бил себя кулаком по впалой груди и хрипел со свистом:

— У меня девять ртов! Мои ребята, хучь малые, своими бы зубами землю выборонили. А игде она? Игде у мене земля? Ну,

где? Мово брата на войне убили. А игде у его семейства земля? А этот брат Андрей, вам известно, в сектанты передался. Кочетов его накормил? Землю дал? Как не так! 3 работниках гнулся. Сын у Кочерова взят! Знам! В портных сидит, в спокое! Ему, Кочегозу-то Ефиму, сколь добра привез, как на побывке был. А он нам заливат! Кабы у ме: не достаток!

Выкрикнул, закашлялся, большой плевок крови в руку выхаркнул, махнул рукой и слез : трудом со стола.

Софрон мигом на его месте вырос. Лицо у него побелело, глаза будто черныю подернулись, и в первый раз строгим взгляд стал.

— Товарищи! Нечо долго разговаривать! Мы не начетчики, не умем. Айда, вот что сделам: записывайся всем миром в большезицку партию. Больше нам делать нечо! Эй, Митроха, писарь, айда, записывай.

Заколыхались, встрепенулись, закричали зразброд.

— Вот дак командер!

— Припечатай еще! Антихрист завсегда с печатью!

— Каин тоже меченый!

— Записываться! Правильно!

— Записываться! Записываться!

Софрон старался перекричать всех:

— Скопом, миром за себя постоим! Они нас Ъдурить хочут! Эй, беднота, заовражнински, двигайся! Которы не запишутся, нет им земли!

— Правильно! Не хотят с народом, как дурну траву из поля вон!

— Айда, вываливай, которы не наши!

— Митроха, записывай!

Семнадцатилетний смешливый белобрысый Митроха, закрывая рот рукой, пробрался к столу. Мигом перед ним — лист серой бумаги.

Но крикнул библиотекарь:

— Товарищи граждане! Слова прошу!

Все время бурного схода он простоял в кучке у окна. Там были учительницы, священник и он. Все они давно шептались, но в передрягу не ввязывались. Шум в глубине класса не стих, но у стола замолчали.

— Так, граждане, нельзя! В политическую партию так не вступают!

Софрон вцепился ему в узкое плечо.

— Ты с нами не запишешься? Говори, ты не согласен?

Библиотекарь голову в плечи втянул, еще меньше стал, но ответил твердо:

— Нет! Вы сами не понимаете, куда лезете!

— А, так. Ладно. Не понимам? А эндаких, понимающих, нам не надо! Пшел вон к своим богачам!

Неожиданным взмахом руки Софрон схватил его сзади за воротник и пинком ноги толкнул в толпу. Библиотекарь не упал только потому, что ткнулся головой в грудь рослого старика. Повернув к Софрону бледное, перекошенное обидой лицо, он взвизгнул по-детски:

— Насильники! Тупая сволочь!

Заовражинские на него кинулись, но стеной плотной закрыли его небесновцы. И Софрон новым криком остановил:

— Опосля сосчитамся! Подходи записываться! Хто не запишется, сосчитамся. Узнам, которы наши!

Небесновцы завопили. Но Митроха уже записывал:

— Крученых Павел с семейством...

У стола теснились желавшие записаться.

Кочеров рукой махнул и пошел к выходу. Небесновцы почти все за ним вышли. Осталось только пятеро.

У стола гулом стояло:

— Софрон, а Софрон, бабу отдельно записывать ай с собой?

— Бабов, для счету, отдельно. Теперь для их права вышли! Ребятишек не записывай.

— Ой! А как на их земли не дадут?

Солдатка Ульяна к Софрону кинулась:

— Каки права для баб вышли?

В толпе засмеялись. Митроха из-за стола звонко крикнул:

— На мужиках сверху лежать. Айда, записывайся!

Взъерошенный, как нахохлившийся воробей, низенький Артамон Пегих солдатку оттолкнул.

— Записали, и не таранти! Сказано, для счету!

Оживший Софрон будто вырос. Глазами опять радостно сиял и, поворачиваясь во все стороны, объяснения давал.

— Баба, она, дивствительно, корова! А промежду прочим — человек. Теперь так полагается, ее голос примать.

Через два часа Софрон передавал на

въезжей квартире оратору из города лист.

— Вот тут, сто пятьдесят восемь человек записались. В большевики. Передайте список, а нам документ пущай вышлют, что есть мы теперь большевицка партия.

У того от радости даже бельмо на глазу будто засияло.

— Да как это так? Вот так успех! Поразительно! Что значит вовремя приехать. Спасибо, товарищ! С радостью передам! Скоро еще приеду. Вы, товарищ, фронтовик?

Софрон охотно и радостно рассказал о своей солдатчине, о ранении, об отпуске домой, о том, как в армии о большевиках узнал. Ему хотелось говорить о себе подробно и долго, но приезжий оратор засуетился, собираться стал, и Софрон вышел.

Хрустящий снег под ногой, далекое, молчаливое, будто застывшее осужденьем беспокойной земле небо, отголоски разговоров еще не заснувшей улицы, обрывки частушки — все будоражило Софрона, поднимало новое чувство торжества и тревоги. Будто на войне отряд вывел.

По сделанному им распоряжению, в этот час подъехал Артамон Пегих к библиотеке, разбудил библиотекаря и объяснил:

— Укладайся! В город тебе сейчас повезу.

— Как в город? Зачем?

— Сход приказал. Нам эндакого не надо! Айда, укладайся.

— Да я не хочу ехать! Это насилье!

— Не поедешь, Софрона разбужу. Приказано.

Отплевываясь и ругаясь, библиотекарь начал связывать свои вещи. Обида жгла лицо румянцем. Софрон, пьянчужка, всеми презираемый в былые дни! Он один с ним возился. Отмечал, ценил его тягу к книге, а теперь вернулся с фронта командиром! Вынырнул новый, темный, злой. Другим хмелем хмельной. Д-да! Пожалуй, правда, пропала Россия.

Когда в последний раз вошел в библиотеку, чтобы посмотреть, не забыл ли чего, вспомнил:

— А ключи кому?

— Софрон сказал, ему завезти.

— Ну, ладно. Ему, так ему! Поедем.

А Софрон стоял уже у подводы, около библиотеки. Когда подошел библиотекарь, он протянул ему зажатую в кулак руку.

— На-кось.

— Что это такое? А?

— Трешница! Тебе от меня. Так что много довольны. Никогда не обижал. Возьми-кось, там в городу пригодится!

Из-под нахохленных рыжих бровей застенчиво блеснувший свет и мягкую пугливую улыбку вместе с трешницей принял, с екнувшим сердцем, библиотекарь. Не сумел отказаться.

## II

«На трех китах стоит земля, говорили старики. Одного, видно, вытащили из-под нее. Зыбкая стала. С июля года тысяча девятьсот четырнадцатого. Не стало твердо-

сти и нерушимости ни в чем. У земли учились жить. Она закон поставила человеку: все живое должно принести плод. А у девок румянец желтизной отдавать стал. Твердели, теряли молодую хрупкость, дожидаясь мужа. Жены солдатские ходили без плода, нагульных ребят вытравляли у них равнодушно жестокие бабки-повитухи. Оттого чаще маялись скрытыми бабьими своими болями. Оттого в работе сдавали. Рыхлели. Оттого от тоскующего в бесплодии чрева рождались похоть и грех. Деревенские бабы и девки, как городские, от закона земли оторванные стали. Грех для греха, не для деторождения, приманивать начал. Больше покупали наряды. Приучились к мылу духовому, возили из городу пудру, дешевые духи и безобразные медяшки-брошки. Пошили, вместо шуб широких, короткие «маринетки», из-под платка пухового клок волос взбитых выставляли.

Денег у деревни много стало. Продала сыновей. Откуп получала. Пособия семьям солдатским на уплату за приманки на грех шли. Семейные мужики на блуд с чужими бабами, с девками льстились. Оттого свой род хилел. Слабей оплодотворялась и земля. Не хватало рук. По накатанной за годы войны дороге из города катились в деревню его пороки, дурная хворь и беспокойные, будоражливые мысли. А с году девятьсот семнадцатого город деревню вертуном завертел. Новое, новое, новое. Слова незнакомые гвоздили вялую, годами жившую своим обиходным мысль. Порядки, новизной пугавшие, налетали неустанно в приказах.

Все старое на слом обрекали. И обо всем этом надо было думать. Удар за ударом, и все в башку, в башку, в башку! Тряси мозгами деревня! Ошарашилась она, шалая ходуном заходила, за поводырей хваталась сослепу. Не стало в ней крепкой приверженности к своему исконному, деревенскому. Была жизнь подневольная, трудная, но истовая и мерная, многими поколениями позади утвержденная. Когда разрывалось тихое течение дней драками, боями на улицах, в пьяном угаре, пожарами, смертями, то и самые тревоги эти были старыми, понятными. Хмель и драка на праздниках во всем буйстве и дикости их были привычны и нестрашны. Играет ведь река в половодье, грозит и крушит, а потом уляжется, спокойная, мирная поилица. Теперь не то. Самую страшную стихию — кровь человеческую — разбудили, чем и когда ее утихомиришь?»

Все это передумал не раз и не два, много раз, умный широколобый Кочеров. И только в этих думах узнал, что бывает и разумному в жизни препона. Не осилишь! А познав бессилие, познал и сам непреоборимую злобу, бешеной хваткой терзающую человека. Глядеть не мог на Софрона: на другую сторону улицы переходил, когда встречался. Один раз Софрон приметил, что избегает его Кочеров. Оскалил белые здоровые зубы и заорал на всю улицу:

— Эй, молоканский поп! Чо в землю буркалы-то упирашь? С небом, видно, разлучку сделал? Правильно! Под ногами-то говно, а бывает и золото.

Нехорошо, мутно Кочеров на Софрона взглянул, ответил без крику, с достоинством. Только голос не был по-всегдашнему ровен. Осекался.

— Остановив ваши неприличия, гражданин Софрон Артамонович! Вы теперь на виду, не подобает по-прежнему озоровать. Как бывалыча в пьяном виде.

Весь яд затаенный в намеке на прошлое Софроново выцедил и, взбодрив голову, прошел, плотный, степенный и видом благожелательным всякому приятный. Только подоплека рубашки горячей стала. Сердце в гневе сразу всего разогрело. Заходили гневные мысли в голове:

«Неразумные слова, как лай бестолковый, собачий. Прошел спокойно и не слыхал! Кабы только слова! Нет, ведь власть таким вот теперь дана, горлопанам. Самая что ни на есть дурнота наверху, куражится. Пьянчуга Софрон. Земли у него не хватало! Какой есть клок, и тот ребятишки старшие да бабы на срам всему селу засевали. А он, пьяный, по дворам куражился или спал под забором. Никогда старанья крестьянского не имел. Чужаком был. Савоська-кузнец — конокрад меченый. Башка боком приросла. Шею повредили, когда всем селом за чужих коней били. И живому-то не быть бы, кабы вот не я да другие небесновцы. От греха отвели, добить и не дали. А теперь он небесновцам за это отплатил! В молитвенный дом евангелических христиан пришел, всех изматерил, самое стыдное показал и про бога, в мыслях нельзя повторить, как выразился! Редькин, у которого

внутри все сгнило, потому что всю силищу растаскал по новым местам: все искал, где лучше. Митроха-писаренок, с речью всегда похабной, — срамник. И другие-то: батрачье, измотанное по чужим дворам. Все корявые, хилые, дурашные, самая шваль. Затерялись среди них трое богатых солдат небесновских. Не слыхать. Софроновы оборзанцы над здоровым, хозяйственным, правильным за начальство поставлены. И там-то, в столицах, тоже, по газетам зидать, в управителях половины русских нет. Евреев насоприглашали, оттого что крику в них, цепкости больше. Э-эх, мать-Россия! Как испоганили тебя татары, так устою в русской крови и не стало. Все под чужаков прешь, на бунт нарываешься!»

Не видел, как и домой в думах дошел. А дома опять новость. Красивая, рослая жена, в сорок лет молодым румянцем приманчивая, в слезах его на дворе встретила.

— Приказ тебе из волости от Софрону... Ты, Жиганов, Глебов да еще каки-то, уж не дослушала, в десятски наряжены. Айдате по дворам народ на сходку сзывать.

Сразу понял: для насмешки. Всегда в десятских самая рвань ходила. Мальчишек из школы тоже наряжали. А теперь Софрон измывается: самых уважаемых, богатых из Небесновки выбрал.

— Кто приказ передал?

— Артамон Пегих. Да з избе он. Поди спроси сам.

Оттого, что на стуле и не в кухне, а в горнице сидел и дымил вонючей махоркой взъерошенный, будто год нечесаный Арта-

мон Пегих, горница хуже стала. Золотые буквы изречений евангельских и наставлений учителей, что на стенах в рамках под стеклами висели вместо икон, казалось, потускнели. На крашеном лоснящемся полу от огромных заплатанных валенок лепешки талого снега и грязь. Занавески городские и вязаные скатерти на столах в дыму потонули. Сурово сдвинул Кочеров брови, снимая шапку.

— Брат Артамон, табачное зелие почитаю для человека вредным и богу неугодным. Пристав, когда заезжал, тут не куривал. Упреждаю вас обстоятельно: прекратите табакокурение!

Артамон шмыгнул носом, плюнул на папироску и кинул на пол.

— Что же, кады вера ваша молоканска така! Брошу. А вот как вы полагаете, иконов не надо, а эти вот, в рамках, этта почему? Опять же табаку не надо, а с бабой спишь? В ей греху-то боле. Староверы, энти которы...

— Не время, брат Артамон, нам сейчас об вере разговоры рассуждать! Свою-то забыли вы. Како дело до чужой! За делом за каким ко мне, ай как?

— Ы-ы-х ты, какой спесивый! Не вашего, дескать, уму дело!

Вдруг взъерошился и громким звенящим голосом на всю комнату:

— Врешь, нашего! Под задницей-то у вас сидели, свету не видали. Теперь обвязан ты все рассказать. Обвязан! И я желаю знать, чо к чему. Рассказывай про свою веру!

— Не кричи, брат Артамон! Господу злоба неугодна, и я в грех с тобой входить не стану. Зачем прислан?

Сам прозеленел весь и пальцы в кулак, а держится, не кидается. Только в глазах уже сладости нет. Кровью налились.

Артамон сплюнул.

— Нужон ты мне с разговорами! Так я, поучить. За брюхом за твоим прислан, вот зачем. Иди-ка, потряси его! С бадожком под окнами походи: на митингу, мол, товарищи. Вот зачем!

— Софронова выдумка?

Дух с хрипом перевел. Артамон удивленно-восторженно головой затряс.

— Вот чо, аж вздохом подавился. Ну, ну... Во каки! Срамотно мир извещать, под окошками ходить. А мы ходим, ничо. Много спеси, много у богатого! Пойдешь ли, чо ли? Жиганов не пошел. В исполком уволокли. В холодной сидит за ослушание. Тебе как понимать? Тоже в холодну?

Все забыл Кочеров. Хватил стулом об пол так, что разлетелся на части.

— Пшел вон, пакость!

Артамон от неожиданности мигом в дверь, согнувшись, выкатился. Но оповещать о сходке Кочеров пошел. Степенной обычной своей походкой шел по улице, только на лице смиренье и страданье изобразил. Медлительно, кротко батожком в окна постукивал.

— Граждане! Братья! На сход пожалуйте.

За ним по всей улице шепот смущенный и возмущенный:

— Кочеров под окнами ходит!

— Ну, Софрон! Экого растряс!

— Ат, халиганы! Измываются!

— Христос терпел и нам велел.

Опостылели сходы, но шли. Опасались дома оставаться. Ждали решенья насчет земли, хозяйства. Но приходили уже к распре готовые. Каждый своим еще дома возбуждался. И до начала схода стоял гул спора, препирательств. Нередко были драки. Сегодня взволновало сообщенье об аресте Жиганова. Толпились в сенях около запертой на замок клетушки с оконцем. Под замком сидел Жиганов. Около двери молодой парень с винтовкой стоял. Небесновцы старались словом перекинуться. В дыру оконца кричали:

— Алексей Иваныч, потерпи!

— Одежу-то баба прислала ли?

Парень-караульный отгонял:

— Не подходь к арестованному! Нельзя! Подале! Подале!

Редькин мимо прошел, лицо улыбкой непривычной перекосил:

— Других долго саживал. Сам, старшина, посиди!

Сход начался по новому порядку, который Софрон с солдатами установил. Чисто молебен сходки начинали. Пеньем... Запели «Вставай, проклятьем заклейменный». Шапки все поснимали, но пели только Софрон, солдаты отпускные да ребятишки, везде поспевающие. Несмотря на увесистые подзатыльники и цыканья, всегда на сходах терлись. И самой большой угрозой старикам было их неверное, ломкое, но всегда радост-

ное пенье... Мужики постарше, даже из буйных заовражинских, пенья этого стыдились. Головы в тулупы прятали. Нехорошо. На селе зубоскалы дразнятся:

— Как есть чертова обедня! «Проклятому» молитву поют!

Небесновцы все светские песни бесовским игрищем считали. Пели только свои псалмы на голос песенный. Оттого их хмурое молчание было привычным.

Нынче Софрон праздничный, радостный. Изнутри в глаза бьют свет и ласка. Оттого зорок и чуток. Как спели, без ругани, по-доброму сказал:

— Пошто стеснились, старики? Голосу з песню не даете?

Отозвался смущенно Артамон Пегих.

— Ладно уж! Свое отпели. Молодых послухам!

Софрон весь в его сторону подался, трепетный и радостный.

— Товарищ Артамон Петрович, как мы партейные, понимать должны. Песня эта для пролетарию складена. Интернационал значит: всякий, который неимущий, жид ли, хрестьянин — все вместях. Понимашь? И как раньше нас проклятым обзывали, мы им для ответу! Покажем, дескать, каки мы прокляты! Понимашь?

Прямо в рот Артамону лез, старался. А тот подальше подался и совсем сникшим голосом сказал:

— Сумнительно. Слово черное, а промежду прочим дозволям! Все одно уж...

Фронтовик Семен Головин вступился.

— А что касательно слову интернацио-

нал... Это слово большевицкое. Большевицкий язык трудный, но ежели в корень дела взглянуть, обстоятельный. Хлесткий!

Артамон Пегих деловито, без улыбки, подтвердил:

— Куды хлеще.

Небесновцы засмеялись. Но Кочеров, мучась нетерпением, не выдержал, крикнул из толпы:

— Довольно бы, братья, обученья-то этого! Дела разобрать надо. Зачем скликали народ!

Толпа задвигалась, загудела:

— Дело... Дело изъясняй.

Всегда мучимый болью и злостью, Редькин надрывно прокричал:

— А это не дело? Слова городски надо знать! Штоб не омманули.

И крик его был близок и понятен многим из софроновской партии. Приняли гнет новизны. Отшиблись от своих учителей-стариков. Городу передались, а исконного недоверья к нему еще не изжили.

Вдруг толпа закачалась, раздвинулась в удивлении.

Пятнадцать человек фронтовиков и молодых безусых парней с винтовками за плечами пробирались к столу. Сразу тихо стало. И четко, торжественно прозвучали слова Софрона:

— Революционна охрана!

Минутное жуткое молчание толпы подчеркнуло для всех: наступает новый час. Борьба здесь вот, в своей деревне. Оттого твердый, спокойный голос Софронов отозвался, как бранный клич:

— Вся земля в волости общая. Мир — хозяин. Отдельных хозяев нету. Разобьем на участки. Всех людей в нашей Тамбовско-Небесновской, по-теперешнему Интернациональной, волости тоже разобьем на коммуны. Каждой коммуне по участку. Миром сеять убирать. Кто в коммуны не желат, пущай на печи лежит. Ни хлебу, ни сена не дадим!

Вздох или стон в толпе, и опять миг молчания, потом дрогнувший голос Артачона:

— А машины как?

В годы войны по всем деревням затосковали по машине. Увидали, как справлялись легко богатые с ее помощью. Наслушались :т военнопленных о царствах, где машины кормят и спине передышку дают. Но купить -х могли только многоземельные, сильные. Разом подхватили Артамонов вопрос:

— Машины... Машины как? Машины?

— Из городу дадут?

Софрон опять твердо и победно:

— Приказ есь. Все машины у хозяев г-еквизированы! Мало ль у нас богатеев! По коммунам разделим.

Радостное, тревожное, протестующее в гуле. Неподвижные, хмурые мужики с винтовками у стола. Волной толпа к столу, но через миг сникла, от стола подалась. Будто спрятаться хотели. Только Кочеров, забыв всякую осторожность, не своим, резким, крикливым, голосом прямо с места заговорил:

— Это грабежу подобно! Небесновцы миром землю покупали. Последнюю лапотину за ее отдавали! У господ отбирать ладно.

А мы как трудящие? Над трудящими изгиляетесь? Сsово брата-мужика зорите? Небесновцы допрежь вас коммуной жили! Сообча землю покупали. Всей Небесновской обчиной. Грабители вы, а не устроители! Свово брата-мужика!

Закричал многоголосый зверь.

— Верно говорит!

— Не дадим!

— Потом, кровью наживали!

Разобрать слов уже нельзя стало. Все слилось в одно грозное: а-а-а-а! Но торжествующий крик Софронов все услышали:

— Силой отберем!

Если б не «революционная охрана», разорвали бы Софрона. Двинулись небесновцы к столу, а парни ружья наизготовку, сзади заовражинские и тамбовские мужики с грозным ревом. Кочеров зубами заскрипел, но понял: да, сегодня сила Софронова. Гурьбой, будто сговорившись, многоземельные повалили к выходу. Оставшимся в школе Софрон горячо объяснял:

— Брешут небесновцы, что их неправильно. «И у нас тоже коммуна». Брешут. Что ни дом, то разиа секста. Бога-то свово на клочки разорвали. Добротолюбовцы, субботники, баптисты, евангельски хрестьяне. Грызутся, как собаки. Теперь заодно, как за свой кус испугались. «Землю всем обчеством покупали!» А разделили как? Кто сколь денег дал! Маломочны, так и есть маломочны! А у Жиганова четыреста десятин. У Кочерова триста пятьдесят. «Трудящие». Пузо-то не больно натрудили! Все работниками! Кочеров-то за попа гал-

днт да портняжит — и не нюхат землю-то! Жиганов на нас сидел! Пертрясем! Всех гертрясем! Нашего дню дождались!

Среди оставшихся была половина Не-:*гсновки. В первый раз властное требованье 5-гмли и хлеба слило вместе «православных» и ?молокан».

Расходились опять за полночь. Софрон дальше всех в школе топтался. Охрану отпустил. Большебородый фронтовик остерегал:

— Изобьют на улице!

Но Софрон успокоил:

— Седни не тронут! Напужались!

А сам в нетерпенье крутился по классу, ждал, когда уйдут. Как надеялся, так и вышло. Ушли все, и открылась дверь в коридоре. Выглянуло тонкое белое личико.

— Разошлись!

— Ушли, Антонида Николаевна! А вы чо не спите?

И в дрогнувшем голосе Софроновом большая благоговейная радость. Непрошено, нежданно вошла в душу чистенькая барышня из города. Учительница. Как в исполкоме главным заделался, захаживать по делам стала. Разговор о деле, а улыбка такая домашняя, греющая. И потянулся на нее. Сгасал только на миг, когда мысль приходила: как все бабы. На почет льстится. Бегали раньше учительницы к старшине и станового привечали. Эта к новому начальству под крыло. Знал, а совладать с собой не мог. Каждому человеку праздника хочется. Бабы деревенские, с жирными тягучими голосами, с красными загрубелыми руками и грубыми тяжелыми словами —

будни. Привычные, постоянные, надоевшие будни. И жена Дарья, рожающая, кормящая, на своей широкой спине выносящая всю работу по крестьянскому хозяйству, не нужна сейчас, в эти новые, торжественные дни. Раньше, когда читал книги, очень любил Софрон писателя Дюма. Так непохоже было все в его книгах на Софронову жизнь. Оттого прекрасно и недосягаемо. А рассказы о крестьянах и рабочих читал только для того, чтобы уважить библиотекаря, Сергея Петровича. Ни к чему, казалось, пальцами в своем гное ковырять. И признавал эти книги необходимыми только для богатых. «Им черного хлебушка охота, белый надоел. А нам беленького хоть кусочек. Заместо пряника к празднику!» Таким пряником праздничным, никогда не пробованным, была Антонина Николаевна. Раньше водку пил, чтобы в пьяных мечтах не видеть настоящего. Теперь буйным хмелем допьяна напоила революция. Водки не надо стало. Но мечта во хмелю одолевала: все праздничное, неизведанное теперь будет. Был Софрон от плоти и кости деревни, но не старой, кряжистой, а новой, встряхнутой, ищущей. Оттого над ним мечта большую силу возымела. Жиганову, Кочерову и на них похожим нужна была здоровая, широкозадая баба для продолжения рода, иногда для блуда. Софрон от книги заразу любви воспринял. Антонина Николаевна для него дурманным, расслабляющим соблазном пришла. Не мог с собой совладать. Тянулся к ней.

— Ну, что же, посидим здесь. Поговорим немного. Сторожа уж спят?

— Не видать что-то. Стало, спят.

Легкая, вспрыгнула на стол и ножками -оненькими, но крепкими, в тугих черных чулках, заболтала.

Думал, до. боли в сердце, нежно.

«Пташечка... Касатушка...»

Сказать не мог бы вслух. Мял в руках папаху. Стоял среди класса смешной, взъерошенный, с растерянной улыбкой, сразу глуповатым сделавшей лицо. И то, что к себе в комнату не пускала, остерегалась, и то, что близко не подходила, только глазами ласку посылала, не сердило, а умиляло.

«Беляночка... Голубушка...»

А она скрыла легкой гримаской позевоту и спросила:

— Ну, как приняли новость? Кричали очень. А я за вас боялась.

Ведь все понимает, хоть женского полу! Слова такие легкие, к месту всегда. Так охота говорить с ней. Все бы рассказал, а язык во рту как бревно. Слова неудачные вылезают, нескладные. И еще комкает их огромная нежность.

А она одобряла.

— Вы совершенно правильно рассуждали, земля не может быть чьей-нибудь собственностью.

Поднимала для внушительности круглые тонкие бровки. Говорила залетевшие в уши чужие слова, но так уверенно и свободно. Будто свое, передуманное.

А дома толстая, неповоротливая Дарья будет лениво почесывать поясницу, скрести пальцами в свалившихся косах и сонно тянуть:

— Светат, никак... К стенке лягешь ли чо ли?

Антонину Николаевну занимала и услаждала власть над новым волостным воеводой. Искушенная городскими, пакостными, без обладания, шалостями с гимназистами и офицерами, она видела, как мает и корежит мужика взбунтовавшаяся кровь. Понимала, что в узде держит только благоговейная вера в особую чистоту ее. Это было ново, смешно и радостно. Ножками играла, возбуждала, а кротким, чистым голосом и взглядом невинным предостерегала. Жутко было при мысли — чем кончится? Поцеловать бы не могла! В интимности, наверное, отталкивающе груб. Нескладный рассказ Софронов оборвался. Почуяла: опасно затягивать частые паузы в их разговорах наедине. Спрыгнула со стола.

— Поздно уж. Вы утомились сегодня.

Под окном на улице заскрипел под ногами снег. Кто-то осторожно карабкался на подоконник. Насторожилась и лицо сделала строгое, а сама пугливо поежилась.

— Подглядывают. Нехорошо говорить будут! Заходите завтра днем чай пить. Сама вам песочники состряпаю!

И ручку издали протянула! Э-эх! Какая сила в бабе бывает!

Зацеловал бы, а боится. Глядит, как на солнышко. Только взглядом всю выпил и руку до боли сжал. Каждый день видятся. И всегда вот так: в сторонке держит.

Когда вышел, видел: от крыльца метнулись к амбару две черные фигуры... Насторожился, вынул из кармана револьвер и выст-

релил вверх. Испугало только тревожное <ах» за дверью. Крикнул туда молодо, радостно:

— Не сумлевайтесь!

И пошел по мертвой белой улице, которую будили, но не оживляли шалые взвизги собачьего лая. Два ряда темных, живое дыхание затаивших домов были печальны 5 предостерегали, как угроза. А душа не боялась, ликовала.

Оттого, что рука была настороже у резольвера, оттого, что в своей деревне в перзый раз шел с опаской, росла и ширилась горделивая смелость. Оттого, что думал о желанной беленькой, по-весеннему шумело з голове.

А дома скверно стало. Вонь какая! Почиститься надо. Прибраться. Жирное тело Дарьино, рядом на кровати, будило тошнотную тоску, но притянул его резко к себе, охваченный нечистым, злым, отраженным желанием.

### III

Совсем мало спать стал Софрон. Такая радостная бурливая полоса пришла, что страшно спать. Неохота спать. Жизнь расцветилась, заиграла перед тридцатилетним. Стал как парень молодой. Все хватай, лови, тормошись! В городе забирал дерзкие приказы. Узнавал короткие, тревожные и смятенные, как набат, слова.

В селе кричал: наша власть! Смотрел, упоенный, торжествующий, как учатся сги-

баться перед низко в жизни поставленными непривычные к поклону спины. Любовался, как заходила бестолковая, рваная рать «маломочных» в грозном беспокойстве. Но в торжестве, для самого незаметно, впивал яд командирства. Не замечал, как в словах, в распоряжениях, в снисходительных шутках со своими маломощными похож становился на старшину Жиганова.

Для Антонины Николаевны мужицкую одежду на городскую сменил.

Словца городские обходительные усвоил. В городе Софрона уж выделяли. Одну его речь даже в газете, подправив и сгладив, напечатали. Газету Антонине Николаевне трепетно подсунул. Думал, обрадуется. Но она только ласково протянула:

— Ах, ваша речь здесь. Очень интересно! Вечером почитаю.

И больше о газете ни слова. Неужели забыла? Ведь для Софрона эта газета как грамота жалованная. По ночам просыпался, огонь зажигал, ее перечитывал. И казались напечатанные слова большими, крепкими. Читал их вслух внушительным шепотом. Вырастал будто, в них вслушиваясь. Неужели забыла?

Из именья господина Покровского уездный Совет передал Интернациональной волости большую библиотеку и часть обстановки барского дома, которую не успели разворовать, растащить.

Софрон сам сопровождал от завода до села воза с книгами и мебелью. Всю обстановку в библиотеку приказал доставить. Новый дом для библиотеки определил. Верх

з доме Жиганова. Дом большой, двухэтажный был. Жиганова в нижний этаж выселил. Жиганов не сопротивлялся, но в неделю одежда на нем обвисла и взгляд волчий стал. Обида прожгла. Сам Софрон установкой шкафов и мебели руководил. Надеялся Антонину Николаевну в библиотекарши -пределить. Смотреть сбежались со всего села. Даже хмурые небесновцы пожаловали. Потное лицо Софрона сияло, глаза искрились, когда помогал по лестнице пианино зтаскивать.

— Заиграм теперь на городской музыке! А тя-желенная, почеши ее черт! Товарищ Кочеров, подпоешь под музыку?

У Кочерова в лице давно уж румянцу не стало. А тут скраснел и сердито пробурчал:

— Не по нам плясы, гармони да матани городски. Это вы уж для всей волости, Софрон Артамоныч, первый гармонист. Забавляйтесь.

Софрон намек понял, но только сплюнул. Не огрызнулся. Когда пианино втащили, Митрюха-писаренок сразу пальцем попробовал.

Потом ладное что-то подобрал. Кочеров вздохнул.

— Все бесовски утехи! Гвоздей бы лучше на деревню дали.

Когда стали разбирать картины, Софрон сам смутился. Голых баб много.

Артамон Пегих пальцем в одну ткнул:

— Все как есть! Соблазн. Это для господского распалу, а нам ни к чему. У своей бабы видали.

Небесновцы плевались. Софрон распорядился:

— Сожечь!

Митрюха-писаренок спохабничал:

— Знамо дело — куды нарисовану-то...

Кочеров вздохнул.

— Сжигай не сжигай, все одно разблудился народ!

Книжки были в дорогих красивых переплетах. Долго гладили и щупали их тугими негнущимися пальцами. Такие в руках держали первый раз.

Артамон Пегих опять головой покачал:

— Не для мужицких рук. Засусолим! А чтение-то како в их?

Кочеров открыл том Пушкина на «Русалке». В глаза бросилась картина — опять голые. Сердито бросил на стол книжку.

— Непристойность одна!

Но Митроха-писаренок живо со стола подхватил.

— Э... Лександр Сергеич Пушкин! В школе слыхали. — И уткнулся в книжку. Потом вдруг закричал: — А занятно про самозванца тут!

Зачитал вслух. Скоро могучий хохот бородатых, пожилых мужиков покрыл чтение Митрохи. Очень понравилась сцена в корчме. Небесновцы ворчали, но подвигались поближе, будто ненароком. Хотелось слушать. Кочеров возмутился.

— Братья, светско чтенье для греха, для пустой забавы! Одна для нас книга — Библия. Можно когда и для пользительных сведений что почитать. А эту забаву прекратить бы. Не по нам!

Софрон торопливо стал перебирать КБИГИ.

— Всякие есть, всякие. Вот тут и по землепашеству есть. А энту тоже сожечь!

Артамон Пегих спросил:

— А про божественно есть што? Про божественно люблю.

Кочеров зло и презрительно хихикнул.

— В большевицку партию записался, а про божественно запросил. Они про бога-то как сказывают?

Неожиданно от стола лохматую седую голову поднял Иван Лутохин, небесновский сектант. Пророком звали. Всегда по Священному писанию предсказания делал. Глухо и торжественно его голос зазвучал:

— По Библии, по священной книге нашей, большевики поступают. В руках бога все поступки их и по бога велению. Написано у пророка Исайи: «Горе вам, прибавляющие дом к дому, присоединяющие поле к полю, так что другим не остается места, как будто вы одни поселены на земле. В уши мои сказал господь Саваоф: многочисленные дома эти будут пусты, большие и красивые — без жителей... И будут пастись овцы по своей воле, чужие будут питаться оставленными жирными пажитями богатых».

Как все сектанты, целые страницы Библии знал наизусть.

Кочеров, как громом оглушенный, выкатил глаза и руками в стороны развел, будто увидал свои руки пустыми, а свое оружие в руках врага. Потом опомнился и яростно рявкнул:

— Ложь! Суесловие! Осуждат Священно

писанье поступки, дела и слова ваши. Осуждат! Гибель им предрешат. Сказано про конец, про ваш, у того пророка Исайи: «Не увидишь более народа свирепого, народа с глухою, невнятною речью, с языком странным, непонятным». Это про вас сказано! Про слова болыпевицки. Разнесет вас господь...

Но была ярость Кочерова больше от гордыни, чем от боли. Потому горели одни слова Ивана Лутохина, а кочеровские сказались и сгасли. Артамон Пегих тоже с дрожью в голосе в спор вступил:

— Большевики по-божески хочут!

И многие из софроновской партии сбились у стола, торжествуя. Рушить старое хотели, но привычно обогрело небесное покровительство. Вековым пластом темная вера насела. И как от стены глухой, Софроновы слова, в городу заученные, отлетали.

— Попы на нашей темноте наживались! Правильно поем: «Никто не даст нам избавленья — ни бог, ни царь и не герой».

Артамон Пегих головой затряс.

— Про бога выхерить из песни! Не желам без богу!

Фронтовики загалдели. Семен Головин махал руками, буйно кричал:

— А нам твово богу не надо! Кому помогал? Богородица в девках родила.

Увесистым, сильным ударом отшиб его к стене плечистый, сумрачный сектант. Головин с наскоку на него и начал душить. Софрон разнимать кинулся. Ворочались на полу трое пыхтящим клубком. Ревом нестройным, бестолковым гудела над ними толпа. Визжала забежавшая на шум снизу баба:

— Задушили! Стриганова задушили!

Митроха-писаренок тоже разнимать кинулся. Его сзади Жиганов за шиворот схватил. Вцепились и в Жиганова. Скоро мужицкая рукопашная крушила вовсю. Стекла :т шума звенели. Ломали стулья. Топтали тяжелыми сапогами дорогие переплеты упавших книг. И в драке кричали дико и зычно про веру, про бога. Прибежали бабы за :зоими мужиками, царапались, ловили :1 ноги, пронзительно визжали. Только кола избитому, в разорванной одежде Софрону удалось выбраться к двери, он послал верхового за охраной.

Сцепившихся в драке разливали водой, :нли прикладами и выгоняли из библиотеки. Гемену Головину отшибли что-то внутри. Зстался лежать на полу большой, замокший. По серому усу из поблекших губ текла тонкой струйкой кровь. А на лице ни страха, ни боли. Удивленье застыло.

Тонко, с причитаньем бабьим, проголосным, у ног его плакала жена.

Жиганов, уходя, зловеще и хрипло бросил Софрону:

— Вот эдак и тебя разутюжат.

Кочеров печально покачал головой:

— Темнота!

И тоже ушел. Софрон с оторванной полой по-городскому сшитого френча, с налитыми кровью глазами дико, похабно ругался, размахивал руками. Зол был на себя, что револьвера не взял.

— Не приучился еще ходить с ним. Тоже, солдат!

Наутро приехал из другого села фельд-

шер, написал удостоверение о смерти Семена Головина. В тот же день хоронили. Богатые, почетные жители галдели.

— Хоронить без погребения! Богохульник!

Но старик Головин в ногах валялся:

— Мир честной, сымите грех с души! Пустите сына до бога!

Смилостивились. Послали за попом. Старенький, совсем в селе неслышный иеромонах, вместо сбежавшего попа, был дня за два только до побоища в село прислан.

Он отпел богохульника. Когда гроб несли на кладбище, Артамон Пегих и Степан Гладких с дровами навстречу ехали.

Лошадь остановил Артамон, шапку снял и, кивнув на покойника, спокойно и ласково сказал:

— Домой «поехал.

И в мудром взгляде его, проводившем гроб, не было ни жалости, ни страха.

Впитал за долгие годы единой с природой жизни: «Земля еси и в землю отыдеши».

Жена Семена Головина на кладбище дико, заунывно причитала. А вернувшись домой, вытерла слезы, надела старую одежду и сказала свекру:

— Айда ли, чо ли, в хлеву убирать.

И ни одной самой мелкой работы насущной в этот день не забыла, не перепутала. А вечером пришла к Софрону спрашивать:

— За мужика выдадут како способие, аль как?

Была за Семена из небесновских отбившихся взята. Грамоте сектантами обучена,

считать хорошо могла и хлопотать за себя сама умела. Долго и упорно с Софроном торговалась. Только ночью, все управив, з глухой и темной тоске залила едкими слезами грязную, засаленную подушку. Молодой мужик-то был и желанный. Опять же дети остались.

От Небесновки выборные к Софрону приходили:

— Нельзя ли дело об убийстве Семена Головина затаить. Для богу старались! Ненароком до смерти-то!

Но Софрон распалился из-за того, что его всего синяками украсили.

Дело требует на людях быть, а куды с такой мордой выйдешь? И френчу новехоньку раздерюжили.

Распорядился, и увезли сумрачного сектанта, начавшего драку, и еще трех мужиков небесновских в город в тюрьму.

Когда сошли с лица синяки, Софрон снова за устройство библиотеки принялся. Починили мебель, повесили на стенку портреты, печатную надпись «Курить воспрещается».

Внизу под этими словами Софрон рукописью подписал: «так же и плювать на пол». Прямо против выхода повесили большой плакат: великан-солдат разинул рот и кричит. А надпись на плакате: «Подписывайтесь все на военный заем». Нагнали баб. Те вымыли полы и окна и долго не хотели уходить. Пялили глаза на невиданные мягкие кресла, большие столы, шкафы с дверцами стеклянными. Ульяна-солдатка деловито щупала обивку на мебели:

— Рубли по три поди за аршин при царе плочено.

Дарья бофронова тоже убирать в библиотеке пришла.

Повяла баба, как муж начальником стал. Все молчит больше.

Бабы распаляли, про учительницу говорили. Губы подожмет и молчит. Строгая. А, видать, мается. Глаза в черных кругах, и старанья в одежде нет. Долго книги смотрела. От шкафа к шкафу ходила. Будто пересчитывала. Потом вдруг сказала:

— Попалить бы их.

— Кого?

— А книжки. Грех в них один. Народ из-за них беспокоится.

И ушла, хлопнув дверью. Когда шла по улице сторонкой с морщинкой скорбной у рта, по дороге новенькие городские сани проехали. В санях Софрон сбочку на сиденье, а рядом учительница Антонина Николаевна, лебедкой, свободно, по-господски расселась.

Белый платочек пуховой и нежный румянец на лице в глаза Дарьи ударили. Слезы выступили. Остановилась, кинуться хотела, закричать режущим бабьим визгом, исцарапать, заплевать. Но будто что-то вспомнила. Круто повернула и почти бегом до дому добежала.

Дома гнев на младшего сынишку излила. До синяков избила. Потом прижимала к себе вздрагивающее от всхлипываний пятилетнее тельце и жалобно тонко голосила:

— О... о... о... и... и... и... Смертынька-а-моя... О... и... м-а-а-м-ы-ы-нь-ка-а...

А в библиотеке Софрон перед барышней

ггарался: заглавия книг в шкафах читал, называл, что все по-городскому.

— Здеся читальня и завроде клуба. Здеся вот книжки получать, а там дале для библиотекарши комнатка. Полюбопытствуйте посмотреть!

И торжественно дверь распахнул. Туалетный стол под белой кисеей, дорогие глаконы с духами. Кровать с блестящими —ариками под атласным господски^ одеялом с двумя подушками, обшитыми кружевом. Дорогой, маленький, как игрушка, письменный стол на отлет от стены поставлен. В углу диванчик, мягкие пуфы и стол круглый, с белой скатертью. Все из дома господина Покровского.

Сияя радостной голубизной глаз, Софрон пояснял:

— Нарочно в городу у барышни одной досмотрел, как расставляют и что для барышнев полагается.

— Очень милая, очень милая комнатка. У вас вкус есть, Софрон Артамоныч.

Эх, теперь бы облапил! Сейчас бы посмел, глядит так задорливо. Да бабы мешают. В дверь гурьбой, как овцы бестолковы, суются. И Антонина Николаевна застеснялась, опять в библиотеку прошла. Там мужиков уже много набилось. Артамон Пегих допрашивал:

— Этта самый Ленин и есть?

Софрон гордо, как своего знакомого, представил:

— Владимир Ильич Ульянов-Ленин.

Артамон голову набок, губами пожевал:

— Ничо, башка уемиста, мозговита.

И глазом хитер. Волосьев только на голове мало.

Софрон заступился:

— Ты столь подумай, сколь он, и у тебя волос вылезет!

— Знами, их дело — не нашинско. Волосья ни к чему. Таскать за их некому. А форму-то для его не установили еще?

— Каку форму?

— Ну, обнаковенно, царску. С пуговицами там, с медалями, с аполетами. Эдак-то, в пинжаку не личит. Для Россеи срамота: не одела, мол, свово-то!

Софрон засмеялся и к Антонине Николаевне повернулся:

— Необразованность наша! Все на старо воротит.

Антонина Николаевна по-умному брови собрала и наставительно сказала:

— Новое правительство — от рабочих и крестьян, потому и в одежде не хочет роскоши.

Артамон Пегих, приподняв клочковатые седые брови, зорко осмотрел ее с ног до головы, губами пожевал, но ничего не сказал. К портрету Троцкого повернулся:

— Этот ничо из себе, бравый! И шапка господска. Случаем не из жидов?

Софрон грозно прицыркнул:

— Ну, ты! Теперича жидам отмена вышла. Есь евреи, такой же человек, как мы. Почитай вон у Максима Горького, как над ими при царе-то измывались.

Артамон Пегих губами пожевал:

— Горького-то всем хватило тады. Все испили, зато теперь и в большевики запи-

i-:НСЬ. Сладкого-то мало ели. А я не для х:ру, у нас в Небесновке свои суббот->>:?: есть. Парень бравый!

На столе, в рамке красного дерева, стоя-•= кабинетного размера карточка Луначар-:ч::о. Но подписи на ней не было. Антониti Николаевна и то не знала. Спросила:

— А это кто?

Софрон смутился.

— Кажется, по земельному делу комис-:дс. Чтой-то я запамятовал.

Артамон Пегих успокоил:

— Должно, сродственник Ленину какой.

Небесновцы на портреты мало смотрели. Ь:,тыле читали через стекло названья книг. >":черов пустой передний угол заметил и :дэбрил:

— Икону не навесили, это правильно! Всякому вхоже. Мы вот, к слову, икон не : тблюдаем, башкирин тоже в нашей волости виится. Эдак-то для всех равно.

Артамон Пегих вздохнул:

— Да уж чо весить-то? И православны-то сбились! Тады за веру поругались да человека укомплектовали. Не примат нас теперь ихона-то. Ы-хы-хы!

Бабы у плакатов сгрудились. Ульяна-солдатка сочувственно сказала:

— Милай, в роте-то все прочернело, как :рет. Чо это он?

Но никто ей не ответил. Софрон властно объявил:

— Ну, буде покамесь глазеть, граждане. Завтра часы установим, когда за книжками ходить, тогда пожалуйте. А сейчас закрыть пока надо.

Артамон Пегих затылок почесал:

— Ладно. А по часам-то уж небесновски пущай ходют. У их есь. А мы по брюху: до обеду да опосля до ужину. Прощенья просим. Занимайтесь!

За Артамоном пошли и остальные. Кочеров на Антонину Николаевну, уходя, искоса взглянул.

На крепкие крючки Софрон дверь закинул и к Антонине Николаевне взбудораженный, радостный вернулся. А она опять тихонькая, строгая за столом стала. Как подойти?

— Дак вот, Антонида Николаевна, для вас расстарался! Получайте, хозяйствуйте!

, Она тревожно в окно выглянула и улыбнулась Софрону. Но бегло, испуганно.

— Это вы про что?

— В библиотекарши вас определим! Для вас старался! Седни и переехать... А?

Голос мужским горячим нетерпением дрогнул. К ней за стол пошел. А она боялась, ежилась... Но комнатка уж очень хороша! Протянула ему руки. Как перышко на руки поднял.

— Софрон Артамоныч, Софрон Артамоныч... Куда?.. Девушка я...

— Баба будешь!.. Лапушка!..

Нес и давил лицо губами раскаленными. Будто отпечатать поцелуи мужицкие хотел. Но в дверь выходную забили настойчиво, часто. Антонина Николаевна с силой уперлась руками в грудь.

— Пустите... Ради бога!

Даже губы побелели! Какого черта принесло? Рвется Антонина Николаевна, ногами

бьет, а в дверь стук все сильней и тревожней. Не донес, выпустил. И злой, багровый, ззлохмоченный к двери кинулся.

— Кто там?

За дверью голос Дарьи, властный и дерзкий:

— Открой!

Антонина Николаевна тоненько, по-заячьи, взвизгнула сзади и в дальнюю комнату кинулась. Софрон сразу опамятовался: внизу стук услышат. Торопливо откинул крючки. Дарья вошла бесстрашно, лицом и грудью вперед. Софрон отступил. Не то испугался, не то растерялся. Дарья сама оба крюка опять накинула.

— Всей волости начальник, а ум-то, видно, в ж... ушел! Средь бела дня эко дело завел. Где б... то?

Голос у Дарьи оборвался, лицо пятнами дошло, а в плечах дрожь, в глазах — мука.

— Дарья! Убью!

— Не маши кулаками-то! Неколи. Небесновцы сговорились тебя за блудом поймать. Солдатка Кочеровска выболтала... Страм, страм какой! Прибегла я...

И голос оборвался.

— Придут, дак жена тут! Лучче сама топором зарублю!

Диким выкриком последние слова сорвались.

Софрон в разум пришел. Отвела баба беду. Не простили бы битому за блуд! Главный в волости — и за такое дело битый. А то и убили бы сами. Сразу стихшим голосом сказал:

— Жена, как же теперь?

У той лицо злоба скосила:

— Пакостить умеешь, а концы хоронить учить надо?

И властно к дальней комнате пошла.

— Барышня, госпожа! Айда суда. Бить не буду. Опосля рассчитаюсь. Иди суда, сволочь!

И за руку Антонину Николаевну вытащила. У той от испуга слезы высохли. А волосы и юбку с кофтой уж поправить успела.

— Придут, виду не кажи, Софрон...

А в дверь застучали. Дарья кивнула на дверь.

— Открой.

Софрон откинул крючки. Первым вошел Артамон Пегих. За ним Кочеров и еще четверо. Три мужика небесновских, три тамбовских, а на лестнице бабий бестолковый гомон. Учительница городская — штучка тонкая. Сразу подбодрилась. Как ни в чем не бывало на вошедших глянула, Дарья глаза в землю, а тоже спокойная. Разом увидал Кочеров, что сорвалось.

— Прощенья просим, Софрон Артамоныч. Слыхали, что вы здесь еще, насчет газеты зашли. Спор у нас вышел.

Артамон Пегих простодушно заявил:

— Кака газета! Сказали, с учительшей в новом помещенье грехом занимашься. Старики обиделись. Поучить хотели: блуди, да место и время знай. А, промежду прочим, и нехорошо.

Антонина Николаевна тоненько охнула и руками всплеснула. Дарья грубо и спокойно заявила:

— Брешут все из ненависти небесновски.

Софрон мне приказал прийтить, как все уйдут. С учительшей, говорит, чайком побалуешься на новоселье.

Артамон сердито в ответ буркнул:

— Како новоселье! Не дозволям здесь учительнишу! Мужчину надо, из городу. Эдака чо разъяснит?

Софрон поспешно подтвердил:

— Знамо, попросим из города.

Антонина Николаевна все порывалась сказать что-нибудь и слов не могла найти. Вся пунцовая у шкафа стояла.

Кочеров задумчиво бороду погладил и сказал:

— Ну, нам здесь делать нечего. Мир прислал, не своей волей пришли. Айда-те, граждане!

У Софрона все кипело внутри, но Дарья смущала. Сдержанно и спокойно ответил:

— Не след старикам бабью брехню слушать. Необразованность одна!

Мужики вышли. Задержался только Артамон.

— Ты, Софрон, башковитый. А, промежду прочим, остерегайся. Дыму без огня не бывает,

Потом ясно, умно на Дарью взглянул и улыбнулся:

— Баба-то у тебя разумная. Не в пример прочим!

И ушел.

Как остались одни, Дарья опять властно сказала:

— Айда, барышня, одевайся да уходи. А то кипит, сгребу! Спарились ай не успели?

Антонина Николаевна опять заплакала.

— Господи, как вам не стыдно! Где моя шубка?

Софрон угрюмо сказал:

— Помолчи, Дарья, ничо не было...

Его тянуло к плачущей Антонине Николаевне, но боялся дикости Дарьиной. Потому тяжело дышал и смотрел, будто безучастно, как надевала шубку учительница. Только, когда к двери пошла, сказал просительно, робко:

— Антонида Николаевна, лошадь на дворе. Мальчонка жигановский отвезет.

Учительница поняла, что так лучше будет, кивнула в ответ головой и вышла. Дарья проводила ее загоревшимся злобным взглядом.

— Ну, айда домой, Софрон. Только вот тебе мое слово: зарублю, если еще! Ты думаешь, я кого пожалела? Детей своих пожалела! Как был ты пьянчуга распоследняя, под забором тебе подымала, сколь раз молилась: умер бы, господи... Жалеть бы не стала. Люди бы не надсмехались. И на детях покор: пьянчужкины, Софроновы. А как выправился ты, детей никто не шпынят. А кто кольнет, так из зависти. Из-за детей себя скрутила! Помни, Софрон, еще не стерплю. Зарублю.

Встретились глазами, и не Дарья, Софрон свои в сторону отвел. Отвердела баба: зубы стиснула и в глазах черных — упорство.

Всегда так размышлял Софрон:

«Баба — народ подлеющий: потому в ей дух на острастке только живет».

А сейчас острастки не находил, сам оробел и поверил:

«И весьма просто, эдака зарубит».

Ночью, когда помирились и обмякла баба от ласки мужнинской, обнимая, все-таки подтвердила:

— А разговору нашего не забывай.

## IV

Баба в жизни всегда препона. Одолела Софрона Антонина. Николаевна. Лезет в душу ежечасно и мешает в делах. От разлужи еще больше распалился. В школе видались часто. Только все на людях. Старался книгами заняться. Напрасно бился. И к библиотеке охладел. Из города ответили: прислать в библиотекари некого. Образованный народ к большевикам на работу идти не хочет. Советовали из своих кого-нибудь приспособить. Из мужиков некого. Всех позанимал новый порядок. Председателей и секретарей много потребовал. Артамон Пегих недаром жаловался:

— Куда ни плюнь, на председателя попадешь!

И все на грамотных спрос. А в селе они наперечет. В сельской школе почти все обучались, да позабывали ученье. Один раз пришла к Софрону жена Семена Головина, прошение принесла о пособии, которое Софрон за мужа обещал, да выдать позабыл. Все слова в прошении к месту были подобраны, и буквы читать можно, вполне разберешь.

— Кто писал прошение тебе?

— А кто будет? Я сама. Начетчики-те

нашинские, спасибо, с малолетства обучили. Все письма мужу на службу сама писала.

— Ну, ладно, будешь у нас по книжной части. Жалованье получишь, вот тебе и способье.

И назначил Головиху библиотекаршей. Комнату, для Антонины Николаевны приготовленную, заперли. Открывали только на случай приезда городских, а Головиха приходила с **утра,** свекра и ребятишек двух малолетних накормив. Сидела до полудня, потом опять домой шла, кончала с обедом и до вечера опять в библиотеке.

Обязанности свои она выполняла старательно. Сказал ей Софрон, что надо в тетрадку выданные на дом книги записывать. Так и делала. И неровным, но разборчивым почерком записывала в тетради:

«Качиров молоканский поп узял откуда появились люди на земле».

«Дед Евстроп узял без заглавию».

Книги давать на дом очень не любила, выбирала только старенькие и без картинок:

— Наляпате еще что на книжку! Не трогай — пущай стоит! Вот эту можно.

Два раза в неделю мыла в библиотеке полы и в эти дни посетителей не пускала.

— Пущай обсохнет! Завтре придете.

Сама очень любила смотреть картинки в иллюстрированных журналах. Читала мало — некогда. Больше, сидя в библиотеке, занималась починкой и вязаньем крючком кружев на продажу и узорчатых чулок, которые в моду в деревне вошли. Очень боялась ребятишек и парней. Орлицей кидалась за ними к книжному шкафу.

— Упрут чо, и не опомнишься!

Но отучить их от библиотеки не могла. Они были самыми частыми посетителями. Барабанили на пианино, смотрели картинки и читали книжки. Мужики занимались больше газетами. Заовражинские приходили слушать. Кто-нибудь из небесновцев читал обычно газету вслух. Головиху скоро одобрять начали. Баба разумная, со зсеми соглашается. Начнет Кочеров говорить, что оттого неустройство у нас, что бога забыли и божьего слова не знают. Головиха вздохнет и поддакнет.

— Совсем народ спутился! А без богу как?

Говорит Софрон, что попы обман делали, народ обирали, тоже головой кивнет:

— Сказано, у попа глаза завидущи, руки загребущи.

Когда «Интернационал» пели, она подпевала. В церковь ходила по праздникам нередко. Уважительностью своей всем угождала. Платье и при муже носила по городскому образцу, только кофточку навыпуск. Теперь голову стала держать и в комнате непокрытой, а волос не взбивала. Добро библиотечное зорко хранила. Это тоже ценили мужики.

— Домовитая баба попалась!

В городе как-то вспомнили про библиотеку. Софрона запросили: много ли книг из именья господина Покровского доставлено? Софрон сообщил: три тысячи. Ахнули и написали, что пришлют из города знающего человека книги просмотреть и порядок в библиотеке устроить.

Бурливые, беспокойные дни череду свою вели. Потеплело дыхание ветра. Осели, побурели снега. Из-под них пахнуло на людей волнующей истомой земли, ее весенним желаньем и предчувствием оплодотворения. Чаще беспокоилась в стойлах скотина. Изводились похотливым мяуканье^ на крышах коты. Румянцем жарким чаще приливала кровь к щекам девок. Податливей стали на ласку, разомлели и льнули к мужьям бабы. В сумерки вместе с густеющей темнотой надвигалась на молодых сладостная тоска, от которой беспокойным становилось тело. Старики мудрыми, знающими глазами определяли, когда на дворе и в семье будет приплод.

Хватками мучить стало Софрона любовное томление по Антонине Николаевне. Часто, грубо и жадно ласкал жену, но только сумрачней и злей становился после этих ласк. А Дарья стихла. Двигалась плавнее и мягче, бледней лицо стало. Взгляд внутренним, теплым и мягким светом засветился. Ребенка понесла. Ее бояться Софрон перестал. Но Антонина Николаевна сама ловко встреч наедине избегала. Пожелтевший и хмурый, он каждый вечер метался в школе и уходил домой замученный. Всегда у Антонины Николаевны другие учительницы или солдатки.

По-городскому развязные, дерзкие, они больше всего мешали Софрону. В хитром смехе, в скользнувшем намеке они давали понять, что видят тоску Софрона. Он настораживался и уходил.

В один вечер, по-весеннему истомный,

~:срон, желтый и усталый, разговаривал мужиками. Стоял в классе бестолковый, « -=:дий голову галдеж. Шли перекоры о -*де. о весеннем надвигающемся посеве, том, как распределять засевы озимых, сделанном учете сельскохозяйственных «з~нн. В школу вошел приезжий в город-л!м меховом пальто нараспашку, в шта-*-1*т галифе и френче, с красной звездой черной кожаной фуражке, с пуза-черным кожаным портфелем под чадской.

**3** споре его не приметили сразу. Рас-тыкал народ и прямо к Софрону. Спросил :... сроговоркой:

— Где здесь исполком? Это какое собра-те? Ячейка в селе имеется?

Софрон ни на один вопрос ответить не стел, а он уж опять скоро-скоро сыпал ^сэзами.

— Здравствуйте, товарищ! Я вас в го-годе видел, сразу же узнал. Вы, кажется, здесь предволисполкома? Ага, отлично! ."оедемте в библиотеку сейчас. Вот мой мандат. Это собрание ячейки? Слышал, д-ышал, вам удалось сразу многочислен--ую организовать. Здравствуйте, товарищи, -ловитесь к выборам в Советы? Какие пла-ны у вас земельного распределения? Да, да, знаю, разбились на коммуны! А где здесь меня чаем напоят?

Артамон Пегих даже головой покачал и внимательно в рот приезжего посмотрел. Подумалось ему:

«Чисто машинка кака внутре слова выго-нят. Так и сыплет! Рвач ай пустобрех?»

Пока приезжий стрелял без отдыха вопросами и сам отвечал на них, Софрон прочитал мандат и, уловив минуту, объявил собранию:

— Инструктор по просветительной части. Вам желательно библиотеку посмотреть?

— И библиотеку, и в ячейке вашей позаняться. Программу проштудировали? Обратите внимание на вопрос о нашей земельной программе. Я вам сейчас объясню...

Передохнул, потому что Антонина Николаевна вошла. Улыбнулся ей широко и радостно, отчего сразу милым стало курносое, скуластое лицо.

— Здравствуйте, здравствуйте, а я ведь забыл, что вы здесь обретаетесь! Право! Совершенно забыл! Вы ведь помните меня? Ну, да, да! В партию еще не решились записаться? Надо, надо! Интеллигенция саботирует, но у вас здравые суждения. Чаем напоите? Я сейчас вот.

К мужикам повернулся и сразу умным и острым, странно противоречащим беспорядочной говорливости, взглядом в лицо Жиганову уперся.

— Вы из крупных хозяев? Сельскохозяйственные машины есть? Это неизбежно, вспять ничего не повернете! Пролетариат сумеет заставить признать его волю.

В полчаса метко, верно выделил из толпы взглядом и вопросами представителей разных толков расколовшейся, смятенной деревни, наговорил много слов, но уже приучил понимать его скороговорку.

Артамон Пегих утвердил:

— Рвач.

Софрон засмотрелся на его подвижное, [г]удто брызжущее мыслью, движением, словами лицо. Даже об Антонине Николаевне мбыл. Вспомнил, и заныло привычным, нуд-ь^м ставшее томление, только когда инст-:уктор сказал:

— Поедемте с нами, товарищ, в библио**теку.** Вот мы с предволисполкома... това- Конышев, да? Я помню. Фамилии сразу запоминаю. Ну, поехали! Втроем не тесно *I* санях? До завтра, товарищи! С сектантами мне очень интересно побеседовать. Небесновка у вас где?

В санях дорогой вдруг притих. И было непонятно Софрону, слышит он его или погнул в своих думах. Лицо в сторону отвернул — не слушает, видно. Но Софрон, путаясь, продолжал рассказ о волостных делах. Кровь жгла, потому что тесно втроем в санях. Плечо и нога Антонины Николаевны через полушубок слышны. Говорить все-таки легче, чем молчать и слушать буйный трепет желанья. Но слова неровные, негладкие выходят.

А инструктор, оказывается, слышал. Выходя у библиотеки из саней, сказал Софоону:

— Вы правы: трудней всего с сектантами. Книжники, каждую букву учтут, а декреты у нас того... Не всегда ясные. Что? Не хватает людей? Город поможет, только и там мало. Товарищ Хлебникова, прыгайте! Приехали!

Головиха закрывать библиотеку собиралась. Препиралась с молодежью, не желав-

шей уходить. Увидав вошедших, сразу поняла:

«Из города начальство».

Поправила кофточку и, приветливо улыбаясь, поклонилась чуть не поясным поклоном.

Инструктор сразу уперся взглядом в плакат, изображавший солдата с разинутым ртом. Заливисто и громко засмеялся:

— Это вы что же, все на заем свободы подписываетесь? Товарищ Конышев, как же это вы проспали? Товарищ Хлебникова, а? Снять, снять! Запоздали. Ах, чудаки! И книжки у вас, верно, так же: на стенах — рядом с Лениным — заем свободы, а в шкафах — вместе с Марксом — Иоанн Кронштадтский. А? Товарищ библиотекарша. А? Не читали книжек-то? Иоанн Кронштадтский есть? Убрать, убрать вместе с плакатами.

Головиха сконфузилась.

— Где их тут все-то углядишь каки! Да новы-те трепать не даю. Стоят, и не видать каки. Так, тряпочкой обмахну....

— Тряпочкой! Большевики, товарищ, народ такой: хотят, чтобы все скоро и первый сорт. Мы срочно сделаем всех грамотными и умелыми. Библиотеки сразу все поставим по последнему слову библиотечной техники. Вы не слыхали про десятичную систему Дьюи? Таблицы Кеттера здесь есть, товарищ Хлебникова?

Головиха вдумчиво повторила:

— Ке-кеттера.

И по привычке согласилась:

— Да, да... Кетера.

ПК

Инструктор взглянул в ее карие ласковые, со всем соглашающиеся, но умные глаза и засмеялся снова.

— Откуда вас товарищ Конышев отко-
-ал?

И броским шагом пошел ходить от шка-
:а к шкафу.

Головиха вдруг испугалась и растерян-
о-беспомощно всех осмотрела.

Инструктор вытащил из пузатого кожа-
-::о портфеля, который все время не выпу-
зчал из рук, две беленькие книжечки и стал
хъяснять всем, как ими пользоваться при
-с иведении в порядок библиотеки.

Головиха, округлив глаза, внимательно
:ч:трела ему в рот. Подростки и два шест-
-а-цатилетних парня сгрудились у пианино.
Лзенадцатилетний сын Софронов Ванька,
случайно взглянув на Головиху, громко
гъфкнул.

Инструктор оборвал речь и повернулся к
-гуу. Но в этот момент Головиха подошла
• инструктору и ласково тронула его за
- -ечо.

— Слышьте, господин... Товарищ то ись.
:;льно трудна этака грамота. Понять мож-
-: .. Отчего не понять? Но так што, дет-
-ач я.

Инструктор смолк и в первый раз не
тс-нял:

— Что, что?

— Детная, мол, я... Уж смилуйтесь! Ку-
*Iъа* тут Кеетер. Одному подотри, другого покорми, третьему рот заткни. Трое их у меня,
зтетей-то... Уберешь да суды айда. А тут
-:же, полы два раза в неделю мою. Уж сде-

лайте такую милость, попроще как изъясните.

И в карих глазах такая оторопь и тоска, что у инструктора смех ласковой нотой оборвался.

— Детная, говорите? Ну, ничего, подмогу вам дадим. Все-таки грамотная, а? Нет, товарищ Конышев, ведь это трогательно: «детная»!.. А мы в планах намечали: библиотекарь должен быть универсально образован. Но «детная» — это хорошо. Мобилизуйте учительниц, товарищ Конышев. Библиотеку обязательно привести в порядок! А вы не беспокойтесь, товарищ библиотекарша, очень понятно все изъясним. Привыкнете! Для полов подмогу найдем.

Инструктор долго и ласково с Головихой говорил. На свои вопросы отвечал сам, но она расцвела улыбкой и кивками головы все ответы утверждала. Потом с молодежью занялся. Ванька Софронов поразил его и отца. Требовательно, с дерзкой усмешкой в серых глазах, он задавал инструктору вопросы о новых порядках, о распределении земли, об отношении города к деревне.

— Дать-то еще ничего не дали, а шерсть собрали! На ново войско то и дело: полушубки, валенки, хлеб! У хозяйства дело делать не дают. Все мужики в председателях да делегатах. Как мужицко хозяйство будет? Войну, сказали, кончам, а еще друг с дружкой схватились.

В дерзости слов, которые бросал срывающимся напряженным голосом, в вызывающей усмешке глаз — смятенная ищущая мысль.

Хотел инструктор отделаться фразой «лес рубят — щепки летят», но, неожиданно для себя, обнял за плечи Ваньку, стал ходить с ним по комнате и посыпал мелкий, но четкий горох своих слов, зазвучавший глубокой полнотой человеческой искренности.

Говорил о том, что пластом тяжелым земля придавила деревню. Была сытее, но темнее, глуше. Миллионы народа жили, как кроты, с тяжелыми мыслями, с упорством мертвых, отживших верований, с тупой покорностью всякой палке. Все условия быта обрекали на продолжение такого существования. Кто приобретал знание, в деревню больше не возвращался. Огромная могила при жизни для миллионов людей: только труд, пьянство, дикие суеверья.

Пока царил прежний порядок, ни школы, ни туманные картины, ни разговоры изменить порядка не могли. Они только толкали к тому, что совершилось. Надо было разрушить систему этого порядка.

— Я не буду тебе рассказывать, что надо для города, а для деревни надо: облегчить труд, освободить человеческие силы для того, чтобы ум работал. Для облегчения труда нужны машины. Везде, где можно освободить тело человека от натуги. Машины делают в городах. Чтобы их сделать так много, как надо, необходимо освободить рабочих от хозяев, устроить хорошо их жизнь. Освободили. А чем кормить? Деревня для своего освобождения должна тянуться?

Он говорил долго и, в общем, несвязно.

Когда замолк, Ванька Софронов сразу простым детским голосом вывод сделал:

— Стало, деревню отменят? Привезут суда всяки машины, все по-городскому устроют. Вон чо!

Видно было, что еще не решил, хорошо ли это — отмена деревни. Но глаза его засветились мягким блеском. Он застенчиво улыбнулся, бережно снял руку инструктора со своего плеча и выбежал из библиотеки.

Софрон не верил своим глазам и ушам. Старшего сына своего он два раза бил тяжким мужицким боем, потом старался не замечать. Сквернослов, курильщик, забияка, он не был изувечен мужиками только потому, что отец в силу вошел. Кроме похабной частушки и дерзких ответов, дома от него ничего не слыхали. А сейчас он так глубоко, хозяйственно язвил инструктора, что, видно, много узнал за это время и передумал. **Знал** все мужицкие тревоги.

Инструктор взволнованно сказал:

— Д-да. Умный мальчишка! Замечательный молодняк у России.

И Софрон раздумчиво, как будто размышляя, ответил:

— Да, пожалуй, эдаких никто задницей не придавит! Вырвутся!

Неожиданной волной колыхнулось отцовское удовлетворенное чувство.

— Мой халиган-то. Сын.

— Замечательный мальчишка.

Узнав о приезжем человеке, набрался в библиотеку народ. Антонина Николаевна на пианино играла, а все старательно, долго, на церковный медлительный лад, сближая

< Интернационал» с национальной заунывной -есней, тянули:

**Никто не даст нам избавленья,**
**Ни бог, ни царь и не герой...**

Инструктор уехал к Антонине Николаев**не** чай пить. Ночлег ему был приготовлен в :>:блиотеке. Когда он вернулся, из библиотеки еще не разошлись. Заговорились, - беседа была необычно мирной.

У Софрона екнуло сердце, когда инструк-:р вышел с Антониной Николаевной. Но гассеял и отвлек разговор с народом. Гово-::-:ть ему хотелось. Ожили, двигались и бес-зкоили мысли. Когда вернулся инструктор, -а душе стало совсем легко. Шел домой и -удел:

**Кто был ничем, тот станет всем...**

Дома прежде всего спросил Дарью:

— Ванька дома?

— Спит.

Ванька спал на полу, у печки, с братьячи. Кровать была только одна, супружеская. Софрон посмотрел на разметавшегося сне сына, усмехнулся и неловко, но бегежно поправил азям, которым сын одевался.

Инструктор прожил три дня. На второй вечером Софрон опять был угрюм и лицом темен. Щемила ревнивая тревога.

Целый день Антонина Николаевна и другие учительницы работали в библиотеке с инструктором. И Софрон в этот день видел, как шли они рядышком по улице. Инструктор под локоток Антонину Николаевну под-

держивал. А она заливчато смеялась и сияла глазами.

Софрон, мучаясь своей болью, избил ночью Дарью. Проснулся Ванька и кинулся на отца. И кричал отчаянно и звонко:

— Я знаю, с чего тебя корежит! Уходи от нас, а мамку не трогай!

Дарья так была поражена его заступничеством, что плакать перестала. Ванька всегда нехотя, с издевательством с ней разговаривал. Обидой глубокой терзал ее материнское сердце. Софрон махнул рукой и, хлопнув дверью, вышел на двор. Потом, в одном летнем пиджаке, без шапки, как был, почти бегом двинулся к школе. Тяжелый от револьвера карман бил его по боку. Теперь он его никогда не забывал. В школе было тихо и темно. Софрон стоял долго, продрог и, опустив голову, пошел домой. От ворот круто повернул к библиотеке. Там еще горел свет, и в освещенное окно Софрон увидел инструктора. Он размахивал руками и что-то говорил. Сердце застыло в вопросе: с кем? Но в этот момент хлопнула наверху дверь, и донесся голос Митрохи-писаренка:

— Ладно. Заночую. Сичас до ветру только схожу!

Легким стало тело. Сразу почувствовал Софрон, как продрог и как хочется спать.

Ночью, накануне отъезда инструктора, Софрон опять дежурил у школы. Закутавшись в черный тулуп, прилип, к черному сарайчику во дворе школы. В окнах комнаты Антонины Николаевны был огонь, но занавески, пропуская свет, разглядеть, что делается в комнате, мешали. Час или год

стоял? Так велика была мука, что о времени забыл. Когда застучали засовом выходной двери, вздрогнул, как от удара.

— Ну, спи!

— Завтра провожать приду!

— Не стоит, рано уеду. А? Да, да, в гогоде увидимся!

Рванулся было за ним, но одним прыжком очутился на крыльце, у незапертой еще двери. Стояла, стерва, вслед смотрела, хоть и скрылся любезный уж за углом!

— Кто это? А-а!..

Стиснул ей рукой щеки и рот и, подхватив под мышку другой рукой, втащил в ее, недоступную для него в такой час, комнату. Для него недоступную, а для этого, городского... Зубами скрипнул, а глаза и уши, как на охоте, ловили все... Никто в сторожке не зашевелился. Крепко спят. Повалил ее на пол у двери, и, прижав коленом рот, запер дверь на крючок.

— Только закричи, сволочь, башку размозжу!

Выхватил револьвер, махнул перед остановившимися, будто окаменевшими от ужаса и удушья глазами и освободил рот. Она с трудом и болью передохнула и встала.

— Только заори, попробуй!

— Не буду, Софрон Артамоныч!..

— «Артамоныч»... Заигрывала, а давалась другому. Показывай, не обсохла еще? Ах ты, шкура, б...

Бурный, прерывистый поток ругательств, самых безобразных, ошеломил ее. Попятилась от него к окну. Но он рванул ее грубо к себе, уронил опять на пол и, разрывая

платье, навалился, закрыл собой и широко по полу разметавшимся тулупом.

В скверности и жестокости этого обладания самой едкой обидой, ранящей человеческое, было ощущение: ее тело привычно отвечает:

— А-ы-ы-х!

Встал, плюнул ей прямо в лицо, толкнул ногой и повернулся к двери. Тонкие, белые руки вцепились в него. Вскочила, прижалась телом, сегодня еще так страстно и свято желанным. А сейчас стало противно. Рванулся и заорал, не думая ни о какой осторожности:

— Ну-у!

— Софрон Артамоныч... Софрон... Не говорите никому... Я вас люблю... Я буду вашей... долго... всегда. Не говорите никому... Не сра-а-мите меня...

«И ведь лезет после всего! Только бы людям чистенькой казаться...»

В глазах мука и отвращение, ноги ноют от грубого мужицкого обладания, а губы шепчут:

— Я буду вашей... Не говорите...

— Ах, шкура! Па-а-кость!

Рванулся, выбежал, не помня себя от злобы и отвращенья. Деревенская девка морду бы искусала, а эта барышня... Он-то на них снизу, на беленьких, из своей-то грязи, как на бога. Ах, стерва, стерва!.. Притворялась недотрогой, мужика одуряла. А-а!..

Антонина Николаевна утром рано с инструктором в город уехала. Софрон весь день в кровати пролежал. Голову мутило, думать не давала обида. Перед кем с прахом себя

мешал? Все они, городские, такие! Видом обманные, а сами подлые. Учителя! Спасители!

Дарья подходить к нему боялась, детей отгоняла и на них цыкала. Только раз спросила:

— Может, квашеной капусты на голозу-то? Поможет.

— Не надо...

Мужики приходили, притворялся спящим. А Дарья с непритворной тревогой говорила:

— Трясучка ай сыпняк.

Ночью, когда Дарья осторожно улеглась рядом, стараясь не толкнуть мужа, он вдруг бережно, любовно притянул ее к себе и прижал губы к белой, набухающей в беременности груди.

Не мыслью, звериным чутьем, никогда не обманывающим, почуяла всю глубину его нежности и тихонько заплакала.

— Софрон... Желанный, соколик...

— Помолчи, Дарья... Помолчи, мать. Дура моя деревенска...

## V

Слова, как набат, короткие, звонкие, звуком чуждым пугающие, все чаще и чаще доносятся. Еще заставами неснятыми мешают им сто пятьдесят верст до уездного города, сто десять до ближайшей станции. Еще дыхание великой тревоги только колыхнет и сгаснет в промежутке между бурей и гйухой, мужицкой, застарелой тишиной. Но уже нет старого, унылого, в безнадежности страшного покоя. Еще живут за печью

бабкины поверья, но уже пугаются и прячутся от криков новых деревенских коноводов.

Вернулся в Интернационаловку. Тамбовско-Небесновку тож, Редькин. Он долго пропадал в городах. Был не только в своем уездном, а й в губернском, порядки проверял. В селе дивились, что вернулся живой. Говорили:

— И чем жив человек? Костяк один остался, и тот некрепкий. Гнутый. Спина дугой. А все ерепенится! Еще лютей стал.

Только Артамон Пегих, на улице Редькина повстречав, зорко в лицо его посмотрел и деловито сказал:

— А недолго тебе, Филимон, гомозиться-то! С ручьями смоет тебя.

Редькин взъерошился, обругаться хотел, но только сплюнул и отозвался глухо:

— Гляди, не твой ли черед? Отбатрачил до пределу, старик. А я еще потяну. Худо дерево два века скрыпит!

И в жарких глазах беспокойная мольба к жизни: дай эти два века!

Артамон губами пожевал и раздумчиво отозвался:

— Все может быть. Упористы вы, нонешние-то. Жадности до белого света в вас много.

И пошел к своему двору, старый, сгорбленный, до света белого нежадный, спокойно взглянувший в близкий свой предел, но на ноги еще крепкий, о внуках радеющий, большевик Артамон Пегих.

А Редькин Софрона по всему селу искал: допросить, долго ли будет слюни распускать,

: молоканами манежиться. И не нашел его в зеле.

Софрон на соседний хутор Хворостянский ехал, где переселенцы горемычные на каме--:-:стом, мало плодном, будто для них среди :крестных угодий плодородных вынырнувшем участке осели. Теперь волисполкому заявление подали:

> «Мы нижеподписавшие крестьяне деревни Хворостянской в шестьдесят четырех дворов собравшись на сходе в числе сто три человек постановили дать нам землю Небесновских молокан как на камне ничего не растет а к тому как земля ничья как тому пункту есть декрет большевицкого правительства, которому единогласно придерживамся как есть буржуи которых бить есть наше согласье к сему руку приложили».

Заявление написано лихим почерком Макарки, по прозвищу «Пройди-свет», присяжного хворостянского писальщика жалоб и челобитных. А под заявлением корявые буквы подписей и унылые кривые кресты неграмотных.

Обидой, барышней нанесенной, взбодрило Софрона. Горьким дымом разочарования, как лекарством едким, прочистило глаза. Появился в сини их свинец, которого раньше не было. Отошел туман мечты, и увидал Софрон: тянулся в плен к чистеньким господам, а в них правды нет. Защиты от них не

будет. Издали только приманчивы. Сверху улыбку шлют, а рядом стать не дозволяют. Рылом, дескать, не вышли! А, не вышли? Наша власть! И как всегда бывает, когда ожжет кнутом обида, ожили старые боли, казалось, изжитые и забытые. Бежал с фронта одичавший, жестокий от дурмана бойни. Тогда не боялся, не жалел никого. А в своей деревне отошел, разнежился никогда раньше не испробованным почетом и доверием. Бей их всех, сволочей! Всех, кто слово поперек! Наша власть! Сразу увидал, что ничего еще не делал, только мечтал и сам «маломочных» одурял. Скуп и резок на слова стал, на книжки, на "библиотеку господскую плюнул. На другой же день, как встал, за небесновцев принялся. Большой гурт скота отобрал, в город на прокормленье Красной гвардии послал. Когда узнал, что в молитвенном доме евангелических христиан на собрании в слове своем Крчёров поступок его осуждал, Кочерова самолично нагайкой исхлестал и в город в тюрьму отправил. Молитвенный дом печатями запечатал:

— Будя! Попели псалмы, на работе брюхи потрясите!

К хворостянцам поехал распаленный и готовый выполнить просьбу их.

Там, вместе с криками «будет, попили нашей кровушки!», «нечо валандаться, прикрутить богатеев!», передали ему жалобы на то, что товаров никаких в деревне нет, деготь дорог стал, что доктор в Романовке старого правительства «придорживается»: лекарств никаких не дает, от дурной хвори солдат не вылечивает. В гомоне крепкой

мужицкой брани, несвязных слов и крика газзадорился сам и распорядился:

— Лавошников перетрясти всех. Где запрятали товары? Нещадным боем бить, пущай скажут! Дохтура тоже поучить и в ~:род отправить, а для округи в больницу за дохтура Пантелея-санитара поставим. **JH** всяки порошки знат. Выдавать будет. А сам я завтре в город, нащет требованию: какие есть наши права?

И уехал. А следом за ним, на дровнях три подводы с хворостянскими. На перекрестке расстались. Софрон в волость к се- а хворостянцы в Романовку: доктора учить и Пантелея-санитара на место его поставить.

Бурый снег под ногами проваливался. И в сумерках вечерних лежал по краям дороги, потемневший, пасмурный. А в степи тизлина была переполнена ожиданием весенних бурь. В этой, затаивший в себе крик нетерпенья, тишине дышалось тревожно. Софрон понукал кучеренка Саньку и ерзал беспокойно в санях.

В Интернационаловке уже зажгли светцы и кое у кого керосиновые лампы, когда Софрон приехал. Мелькали в окнах и огоньками своими сгущали мрак в углах улиц, у ворот. Оттого не разглядел Софрон, что у его ворот стоит Редькин, и вздрогнул, когда тот отделился от забора черной длинной фигурой.

— Ктой-то?

— Я, Редькин. Куды раскатывал?

— В Хворостянку. Айда в избу! Дело есть.

Редькин рассказал мало. Похожий на сурового угодника с иконы старого письма, худой, с бороздинкой глубокой и сумрачной меж бровей, он низко опустил голову, смотрел строго исподлобья и только кашлем да отрывистыми редкими словами прерывал рассказ Софрона. Оба решили на свету выехать в город. На огонек заглянул Артамон Пегих и тоже с ними выпросился. Ванька сидел у стола за кйижкой. С отцом и матерью разговаривал по-прежнему скупо, неохотно, но реже стал убегать вечерами на улицу. Услышав о сборах в город, вдруг поднял голову. Будто нехотя лениво процедил:

— Меня до городу не подвезете?

Софрон усмехнулся одним углом рта. Лицо светлее стало.

— Это куда же ты собрался, товарищ?

Глядя в угол, Ванька ответил:

— Там видать будет — куда!

Софрон рассердился.

— От, сопляк, разговаривать еще не хочет! Поучу вожжами, так заговоришь.

И, хлопнув сердито дверью, вышел с Редькиным.

Но на заре, когда подъехал на хорошей паре, в ковровой большой кошеве, захваченной в именье Покровского, Артамон Пегих, Софрон разбудил Ваньку.

— Одевайся, в город поедем.

Артамон Пегих одобрил:

— Тоже возжелал на город поахать? Ладно! Вы там к господам, как начальство, а мы на улках на городских поглазем. Я тебя везти вызвался. Нуждишка до городского базару есть. Внучка наказывала.

Раньше город чистенький был. Теперь, v:гда взметнулись на домах присутственных езсные флаги, появились вывески с не-:нятными названиями, взъерошился, затеоел солдатскими шинелями, потускнел и ::азу прибеднился. Господа в одежде приложились. В магазинах полки и прилавки ныло просторны и пусты стали. На базаре -:.лько то, что для еды, осталось. Редкого дко ларек с городскими циманками, и -:т с запасами скудными.

На улицах людных, шелухой семечек • эрехов засыпанных, грязных, занавоженных, и народ все больше серый. В домах при-: тственных красногвардейцы с винтовками, -ачальники в одежде из кожи с револьве-:ами, мутящий туман махорки, стриженые женщины с мужскими повадками, с папи-:хами и козьими ножками в зубах, бестоловый гул несмолкающих разговоров, окур- на полу и кучи сору в углах. Похоже, -то из домов этих хозяева выехали, а :-ти новые — квартиранты. Останутся ли -:ить, еще не знают и не хотят домов гоихаживать. И народ служащий непоседливый стал. За столами не сидят, все кучками собираются, руками машут и галдят.

Нет, не глянется этот новый город Артамону Пегих. Размышлял:

— Главно дело, не разберешь, который начальник над котором выше! Все руками машут, все приказывают, все речи говорят, и все с револьверами. У женского полу приману женского нету. Ну, к чему подобно: дымят, шапки мужицки понадевали, кричат

без острастки и везде, как мужики, налг зают, не ужимаются. Тьфу!

Недовольный и сумрачный вернулся HI двор, где лошади стояли, и в сенях спат^ под тулуп завалился. В дом куда пойдешь- Номер в гостинице Софрону, как началь нику, предоставили. Хоть и грязно в нем а все не на постоялом. Непривычно. Разбу дил его Ванька толчком в бок.

— Деда Артамон, деда! Вставай! Купцов по городу вод ют!

Еще не развеялась сонная истома, не уже уловил в Ванькином голосе необычайное дрожанье не то от радости, не то от испуга.

— Чтой-та? Это ты, Ванька?

— Айда на улицу скорей! Купцов с мешками водют!

Побежали на главную улицу. Дорогой Ванька рассказал: муки в городе мало, из деревни скуп подвоз. Очень вздорожала мука. Рабочие в исполком: почему? Исполком запретил вывозить из города муку на продажу в губернию и цену на нее установил. Сегодня на заре крупные мучные торговцы пытались вывезти. Их поймали красногвардейцы. Возы отбили. А рабочие торговцев из домов вытащили в чем застали, наложили мешки камнями, дали нести и водят по улицам, а на углах бьют.

— Наши все, деревенски, бьют-то! Видал, с базару хворостянски, романовски, тамбовски побегли и из Демократической волости. Сейчас на главну улицу вывели. Я тятьку искал, да не нашел, тебя разбудил.

всех сторон на главную улицу бежали
г тытные. Колыхалась сотнями голов
.«-ая улица. Стоял над ней то вздымаю-
z * то опадающий смутный гул разгово-
^ ы-склицаний, криков. Одинаково жадно
_.;г.5-=лй друг на друга, толкались, орали
-г кто хотел бить купцов, и те, кто жа-
-х и возмущался расправой. Искрен-
- «» были у всех только глаза: нетерпе-
•••ые. жадные. Хорошенько бы разглядеть,
бьют! Орала в толпе толстая Макси-
* ==а. торговавшая щами на базаре:

— Православны! Выпустите! Бока сда-
*i^'.n:* за дохну!

А сама пролезала, толкаясь локтями в
стороны, к середине, туда, где шли с
«г~ками купцы. Впереди, смешно семеня
т::ами, сгибался под тяжестью мешка быв-
ший городской голова Зеленков. Он был в
:л:-:эм белье и ночных туфлях. Толстый
кивот тоже обвис, как мешок, над корот-
кими ногами. Благообразное лицо, с раз-
мазанной кровью из рассеченного виска,
-::казилось болью, натугой и обидой. Бурые
густые волосы смокли, прилипли ко лбу и
аискам. Он таращил из-под бровей налитые
испугом, покрасневшие глаза и молил роб-
ко, задавленно, как мяукал:

— Братцы!.. Товарищи!

За ним спотыкались связанные вместе
чьей-то опояской два прасола Жериховы,
отец и сын. Седой старик с черными живо-
писными бровями и молодой, похожий на
поросенка, безбровый, с белесыми заплыв-
шими глазами и носом пятачком. Даже в
испуге лицо его не осмыслилось, не очело-

вечилось тревогой. Он и вскрикивал, как хрюкал. Старик матерился и тряс головой. Оба успели одеться, но у старика суконная бекеша и то, что было под ней, располосовано пополам. В разрез выступила желтая старая спина. За ними трое гуськом: приземистый, черный, как жук, широкоплечий хлебный торговец Ишматов, в брюках, нижней изорванной сорочке и подтяжках. Он был сильнее других и под мешком сгибался меньше всех, но скрипел зубами и выл не от боли — от ярости. Чернозубый, с низким лбом, высокий, длиннорукий владелец паровой мельницы Мякишев лязгал в страхе зубами и часто спотыкался, наступая на оторванную штанину. Сзади всех молча волочил больные ревматические ноги в меховых сапогах старик с кротким иконописным лицом и серебряными кудрями. Первый в городе богач Миляев, продавший в рассрочку с жестокими процентами сельскохозяйственные машины крестьянству всего уезда. На нем от одежды остались одни лохмотья да сапоги. За купцами, подгоняя их, размахивая тяжелым засовом от ворот,— высокий желтолицый мужик в грязной белой шапке с одним ухом, в рваном полушубке. Он зычно орал нараспев:

— Граждане! Глядите! Эт-ти вот муку вывозили! Глядите! Эт-ти наши буржуазы, грабители!

Сбоку, рядом с купцами, размахивая руками, солдат в грязной шинели, с походной сумкой за плечами. Вытаращив глаза они одни жили на сером землистом истомленном лице,— он дико орал:

— Имперялистов поймали! Вот они *д>т! Бей имперялистов!

В толпе разноголосые выкрики:

— Бей толстомордых! Га-а-а!

— Выпустить им кишки!

— Мукой животы набить!

— Теперь слабода, а они муку вывозют!

— Все перва гильдия!

— Бей их по первой гильдии!

— Какая дикость! Какая жестокость! ~де же власть?.. Это Зеленков впереди?

— Звери! Изверги! Убьют! Да не налети ты, паршивец! Спину всю протолкал!

— Господи, что же это? Господи, что же г-о? А их уже били?

— Сенька-а, пролазь суды! Тута всех шестерых видать!

— Гра-а-жда-а-не! Эт-ти вот муку вывезли!

Семь солдаток визжали около самых купцов, наскакивая на них с двух сторон, гтараясь ударить на ходу, подскакивая и подпрыгивая, как в диком танце. Прасковья 1еменчихина всех визгом покрывала:

— У мине муки на квашню нету! На >зашню не хватат!

Худой, косенький, однорукий курьер торопливо, широко шагал за солдатками, чтоб не отстать от купцов, не потерять их из виду, и громко, радостным, захлебывающимся тенорком рассуждал:

— Действительно, им там всяко прованско масло, а нам на муку нету! Де взять, когда ка-а-жный божий день надбавка! Кажный божий день! Бить их следует! Я согласен.

Густым диким ревом орали крестьяне, сбежавшиеся с постоялых дворов.

— С энтого вон шкуру содрать! За цабан иссушил мене. Всем потрохом заплатил.

— Мы каждый пуд слезой поливали, а нам кака цена?

— Нутре надорвали над хлебушком. А они на ем наживаются!

Играла в мужицкой крови обида вечного податника, боль натруженного, для чужой утробы, горба.

Играла стихийно мужицкая ненависть к белоручкам.

— Пузо наливали!.На нашем хлебушке наживались.

— Бей их, сволочей!

На углу, у высокого крыльца большой аптеки, высокий, в шапке с одним ухом, остановил купцов. Разом насела на них толпа. Деревенские всех отшвырнули и били истово, сильно, деловито. Будто цепами хлеб молотили. Солдатки пронзительно визжали, совались бестолково к лежащим на земле купцам и в толпу. Ругались длинными похабными фразами и причитали о своей скверной жизни.

Прискакал конный отряд милиции. Начальник милиции был впереди. Расталкивая конем толпу, он кричал:

— Эй вы, прекратите! Эй вы, слу...

Докончить он не успел. Прасковья Семенчихина вцепилась ему в правую ногу и потащила с лошади. Дюжая, плечистая солдатка обняла его с другой стороны, руками у пояса. Он только успел подумать:

«Зачем она руки мне в карманы?»

И полетел с лошади вниз головой.

— Вот тебе, командер! Постой на голове.

Ткнули бабы его головой в снег, а у пояса держат. Задрягал ногами в воздухе начальник. Толпа орет, гогочет:

— Вот так бабы! Выучили на голове стоять.

Прасковья приговаривала:

— Гладкий жеребец! Ляшки-те, как у борова.

— А ты его еще пощупай. Хорошень!

— Га-а-га... Го-го-го...

— Бей Зеленкова! Он на нас поездил!

— Подымай купцов! Еще водить!

Начальник милиции еле вырвался из бабьих рук. В разорванных штанах, избитый. Рад был, что каким-то чудом револьвер со шнура не оторвали. Но стрелять не решился. Побежал в исполком. Там члену военно-полевого штаба обо всем доложил. Оправдывался:

— Какое стрелять? Разорвали бы на куски, только выстрели. Весь в синяках. Исщипали, подлюги!

Член военно-полевого штаба, высокий большеносый человек в очках, смеялся:

— Ну, как вас бабы учили? А?

В исполком прибежал трясущийся, с отвислой нижней губой, бывший председатель уездной земской управы, купец Титов. Пропустили к большеносому.

— Что надо?

— Спасите... спрячьте... Самосуд... меня ищут тоже.

Высокий презрительно и спокойно сказал:

— Спрятать могу только в тюрьму. Сейчас напишу ордер. Идите, там примут.

— Благодарю вас... век не забуду... Спасибо... Ордерочек-то скорее.

Высокий засмеялся, написал ордер, отдал Титову и, поправив на голове кожаную фуражку, пошел на главную улицу, где ревела толпа. Когда пробирался сквозь нее, видел: на крыльцо аптеки вскочил высокий, тонкий юноша, с бледным до синевы лицом и горящими глазами. Юношеский голос вырвался резким отчаянным выкриком:

— Товарищи!.. Товарищи!..

Желтолицый в папахе оглянулся и заревел:

— Племянник будет Зеленкову.

— А-а-а. Во-о-о... Ага-а...

Сгребли «племянника» опять первые бабы. Насели мужики. Он скоро замолк и вытянулся. Член военно-полевого штаба видел в толпе красногвардейцев. Они не только не мешали расправе, а сочувствовали ей. Это было видно по оживленным их фразам, по яркому блеску ненавидящих глаз. Им была понятна ярость толпы, потому что кровное родство связывало их с мужиками, которые били, как цепами молотили. Но толпа уже сгасала. Почти насытились местью. Высокий член военно-полевого штаба поднялся на крыльцо аптеки, откуда стащили уже пятерых. Мужественным зычным голосом он спросил:

— Что вы, товарищи, делаете?

И в простоте, холодной ясности этого вопроса была странная спокойная убедительность.

Затихать стали, от жертв своих оторзались.

Неуверенно прозвучал одинокий мужской голос:

— Стащить и этого надо!

Высокий на крыльце услышал. Спокойно отозвался:

— Стащите. Я без охраны и отбиваться не буду.

Как бы в доказательство, руки вверх поднял, потом опустил и, будто продолжая спокойный разговор, опять спросил:

— На кой черт с этими связались? Управу на них найдем. А вы убили их на улице, вас злодеями величать будут. А их за мучеников. Отведите живых в тюрьму! Там примут. Сейчас десяток еще арестовали. Проучим, будьте покойны! Умеем! А этих, мертвых и изувеченных, стащите в больницу.

Холодно поблескивая очками, спокойно, будто ничего не случилось, уверенный в себе, как хороший укротитель, он спустился с крыльца и пошел к избитым. В задних рядах еще слышались крики:

— А этому чего надо?

— За кого застаиват? За кого застаиват?

— Бей!

Но в середине, около высокого, стихли. Расступились и дорогу ему дали. Он спокойно взглянул на избитых, будто пересчитал их, повернулся и пошел к исполкому. Из толпы вынырнули оправившиеся милиционеры.

Мертвых, Зеленкова и реалиста, и троих, избитых до невозможности встать, утащили

в больницу. Двух, которые встали и могли брести спотыкаясь, повели в тюрьму красногвардейцы.

Артамон Пегих, яростно бивший купцов вместе с другими крестьянами, перевел дух, как после утомительной работы, вытер рукавом пот и оглянулся. Увидав Софрона, пошел к нему через улицу по расцветившемуся пятнами рыхлому снегу степенной мужицкой походкой.

— Слышь-ка, Софрон! Это кто же сурьезный-то, в очках?

— Из военно-полевого штаба.

— Сурьезный, и того... Без опаски человек!

— На фронту всю войну был, чего ему опасаться? Кабы из тыловиков, так давно бы ногами задрягал!

А человек без опаски шел и думал:

«Могли сгрести! Устали уж, насытились. Деревенское зверье работало старательно. Д-да... стихия! С этими еще придется и нам хлебнуть... Да!..»

И привычным движением руки пощупал револьвер.

Софрон расправу одобрил:

— Когда дождешься на их, городских, по закону-то, управу? Сбыли со счету которых, и ладно!

В городе тревоги было больше, чем в Интернационаловке. Там, в деревне, под сектантским началом, еще несмело и нестройно вмешивали новое в старое. Больше галдели, мало рушили. А в городе уже гулял хмель мести и разливного гнева. Ночами вытаскивали людей из насиженных гнезд,

отводили в тюрьму, отбирали добро. Эта тревога усиливала ненависть Софрона к господам. К чистеньким, образованным. Об .Антонине Николаевне не думал. Слышал, что в город с инструктором уехала, и пожалел инструктора.

— Зряшна баба!

На заседании исполкома один раз присутствовал и одного члена исполкома изругал за то, что тот против контрибуции был.

— Эдаких беленьких-то нечо спрашивать! Им штоб и горячий блин, да штоб не обжигал. Под задницу их надо! Колготят, а от делу под закрышку.

Всякая слабость и нежность вызывала в нем взрыв гнева. Не выносил машинисток в учреждениях.

Все барышни нежненькие в машинистки определились.

В исполкоме одну с кудряшками, ласковую, изругал матерно. Когда она заплакала, сплюнул около стола с машинкой и спокойно отошел.

В городе опять в военную одежду оделся. И когда шел по улице, в шинели, с револьвером и бомбой на поясе, высокий и резкий, с суровым, свинцом отливающим взглядом, Редькин и Артамон рядом с ним казались арестантами, боязливо съеженными. Но вместе обычно они доходили только до исполкома.

1 Артамон не любил учреждений, махал рукой и поворачивал к постоялым дворам. Там разыскивал деревенских и проводил с ними день. Редькин заходил ненадолго,

хмуро осматривал служащих и оставался только, если назначалось собрание. Собрания были часты. Редькин внимательно слушал всех ораторов. Но возвращался обычно в гостиницу злой.

— Нащет деревни никакого решенью!

Ходил в читальню, слушал газеты. Сходил даже один раз на любительский спектакль и долго после этого хрипло матерился.

Ванька целыми днями в типографии пропадал. Один раз послал его из исполкома Софрон за газетами, каждый день стал туда бегать. Свел дружбу с наборщиками. Они ему газеты и книжки давали читать. Читал он жадно, без разбору. Все будто что-то искал в книгах и газетах. Оттого что он ясно видел, как ловко и легко все обсуждают городские и как туго и тупо понимают все новое деревенские, загорелось его сердце обидой.

— Ладно, их в школу посылали! А меня одну зиму. Больше мать не пустила. Ничо! Сам дойду!

И оттого, что сам захотел, оттого, что не преподносили ему разжеванного, питательного, тратил много времени на непонятное, утомительное в чтенье. Делал открытия уже открытого, но не растерял своего и креп дерзкий, в себе уверенный и упорный.

В городе Софрона задержали. Воздух заулыбался по-весеннему. В полдень радостно прыгала с крыш капель. Город оглашался допоздна звонкими детскими голосами. Артамон беспокоился:

— Угрузнем где в логу. Снег-то пади уж не держит! Скоро ли, что ли, поедем, Зофрон? Все шалтай-болтай, а в деревне-о телеги налаживать надо. Небушко-то уж ззенить!

Софрон угрюмо отозвался:

— Успеешь еще, наладишь. Та и беда, приросли мы к земле и об себе не понимам, чтоб и земля полегче давалась. Дела еще есть в городу.

А в городе событие случилось. Получил исполком сообщенье, что в восьми верстах от города остановился казачий полк или отряд, но много казаков. С фронта в степные станицы возвращаются. На конях, в полном вооружении и даже одно легкое полевое орудие с собой волокут. Люди и лошади заморенные. Будто бы на передышку встали. Военно-полевой штаб забеспокоился. Казаки — народ старой закваски.

Зачем им пушку в свою станицу? Постановил исполком послать делегатов для мирных переговоров: зачем и куда? И предложить сдать оружие. Делегаты вернулись благополучно. Казаки оружие сдать отказались, но говорят, что мирные. Идем, дескать, мимо города. Советскую власть признаем. Пропустили отряд. Но пришло распоряжение из губернского города задержать казаков. Решили спешно отправить Красную гвардию. Это было первое ее выступление. До сих пор Красная гвардия з городе занималась только охраной самого города да сбором контрибуций в селах.

В назначенный час со всех улиц потянулось к исполкому свободное, наемное войско. Бурливая, дерзкая, разная по одежде толпа. Шли с винтовками. Одни в шинелях по-солдатски, другие в крестьянских азямах и тяжелых пимах, третьи в городской рвани и опорках на ногах, четвертые — чужаки в своей одежде, военнопленные. После всех отдельно прибыла киргизская часть. Впереди несли красное знамя и на пике металлический полумесяц с бубенчиками. Низкорослые, кривоногие, скуластые шли нестройными рядами и пели гортанными голосами киргизскую песню. Будто играли на какой-то полузабытой, но в давнем родной всем и волнующей дудке. И в ответ этой дикарской песне с подъезда исполкома раздались взывающие дерзостью и новизной слова приветствия:

— ...Красная гвардия, первое в России свободное войско трудящихся, охрана революции...

Это соединение киргизской песни, бестолкового гомона разношерстной, по виду убогой, разноголосой, разноязычной толпы, собравшейся на улице мещанского захолустья, и слов огромного масштаба, истинно торжественных, бьющих отвагой вызова всем, всем, .всем, было дико, страшно и бодрило душу величием, непонятным рваной кучке — рати смельчаков, появившихся во всех городишках взъерошенной РСФСР, чтобы лечь перегноем ее полей.

Эти большие слова были для них только звоном своего села. Чтобы была своя

• в.пня, чтоб проткнуть пузо своему кулаку ^'лколай Степанычу, чтобы разогнуть свою urnну, из своей глотки услышать крик воль- -пый, непривычный: наша власть! Но чутьем, =ог\чу живому, а им, простым и цельным, д.тубо свойственным, ощутили они широ- ото радость дерзости.

Оттого и трезвые в этой толпе казались тъяными. Охмелели буйным хмелем задора. Гтреляли в воздух из винтовок, орали, не :ердито, а задорливо ругались. Шестнадца- **тилетний** белобрысый паренек, путаясь в илнннной, будто тятькиной шинели, удивлен- **ЕЭ**-весело кричал:

— Эй, товарищи, затвор я потерял! Эй, ?н, затвору никто не видал?

Бородатый фронтовик добродушно-снис- ходительно выругался:

— Сучий сын, сопля. Теперь орудуй без затвору!

— Затвор потерял, вояка! Титьку мамки- ну[7] возьми вместо затвора!

— Зеленый еще! Доспет, солдатом будет.

— Ничо, я без затвору... Я и так... его мать, казака растворожу. Ничо!

И лихо, с выкриком, песню поддержал:

**...к ружьям привинтим штыки.**

Другой такой же зеленый и радостный кричал в кучу смешавших свои ряды кир- гизов:

-г Эй, вот ты, крайний, как тебя?.. Мал- малай-Далмалай, скажи: «пролетарии всех стран». Не знашь? Не умешь?

— Се умем! Мал-мал казак стрелю!

Смешанный гомон, бестолковая брань

разношерстных, таких непохожих на старую армию, пьяных задором, присутствием в рядах и от водки пьяных, были противны многим в прихлынувшей посмотреть толпе. Люди, видящие только то, что можно пощупать, окружали толпу красногвардейцев враждебным гулом.

— Да, армия! От первого выстрела убежит.

— Затворы растеряли! Штаны-то на ногах аль тоже потерял?

— Сыно-о-чек, и чо ты с ими связался! Вернись, убьют!

— Фронтовиков-то не видать. Эти навоюют.

— Начальники все пьяные! Армия!

— Они начальникам-то своим в харю плюют! Дысцыплина!

— Како войско, за деньги ежели!

— Пленных с собой понабирали! Со своеми воюют, а чужаков к себе!

— Эх, Россия, Россия, пропала! Совсем пропала!

Но и в этот гул вплетались крики своих красногвардейцам.

Артамон Пегих, не думая о том, услышат ли его, отзовутся ли, вопил:

— Которы нашенски сельчане... Митроха Понтяев, ай хто! Доржись! Нашинска волость в большевиках состоит... Доржись, робята!

— Голубчики! И одежонки-то военной не на всех!

— Ничо, не баре, выдюжат!

— Чо шипишь, чо шипишь, пузата? Охвицериков твоих не видать? Змеюга!

— А ты сам-то игде видал армию? В кадетах своих? «Не стара армия». Игде ты — военной службы прятался? Каку армию з^лал? Ну!..

На подъезде появился высокий очкастый ve:-: военно-полевого штаба.

Опять загремели, колотя захолустный токой, большие слова:

— Нигде в мире нет Республики Советов. I Европе гнет капитала...

сБелобрысый» понял, что Красная -вардия должна пригрозить Европе, и гадостным ребячьим выкриком из рядов отозвался:

— Застрамим Европу, товарищи!

Ванька, румяный, радостный, тоже будхмельной, Софрона в толпе за рукав тг'ймал.

— Тятька, определи меня с ими! Чтобы взяли!..

Голос просительный ребячьим стал, а тг- всегда говорил как большой, грубовато и степенно. Не побоялся бы и без позволенья отца удрать, но резче взрослых сильнее ощутил великость больших слов, в маленьком городке взметнувшихся, и увидал себя таким, каким был: мальчишкой, которому еще доверья нет.

— Определи, тятька!

— Ах ты, шибздик! Рано. Определю еще...

Шершавой рукой смазал Софрон Ваньку по лицу. Засмеялся радостно.

А сбоку от них, у забора, господин в черном пальто с барашковым воротником злобно и громко крикнул:

— Не красная гвардия, а красная сволочь!

Софрон быстро повернулся, но господин еще быстрее в толпе растаял. Софрон погрозил в толпу кулаком. Сразу потемнел и почуял: в углах враги.

**Смело, товарищи, в ногу!**

— Стройся! Эй ты, чертова перешница, в ряды!

— Стройся!

— А-а-а...а... ри...

Гудела толпа. Крепчал ветер. Русский весенний месяц будто обозлился на этих новых русских солдат, вспомнил, что он еще хмурый, зимний...

Начал падать снег.

— Мамоньки, никак мятель будет!

— Ничо и в мятель! Русский привычный.

## VI

Софрону доктор не понравился. Тонкогубый и глаза прячет.

— Прислали, дак живите.

— Без вашего разрешения не мог распорядиться дом открыть.

— Чо распоряжаться-то? Прошло, будто, то время, когда господа распоряжались! Отдерите доски да живите.

Стоит у стола так, будто остерегается к нему прикоснуться. Одежда военная, а чистая. Левая рука в черной перчатке Софрону в глаза лезет. А доктор ее всегда носил. Изуродованный палец скрывал.

— Благодарю вас. Завтра же устроюсь. :2зрешите откланяться? — И к двери.

— Слышьте! Как вас?.. Господин док- -:?. Вы как, из военных будете?

— С начала войны на фронте. Недавно зернулся в город.

— Ишь ты! А я думал, тыловничали. "дядеть, вша не кусала! Солдаты-те не г^ли?

— Что?

Даже взглянул прямо. Нехороший глаз, г.тра не показывает.

— Не били, спрашиваю? После, как даря отменили?

— Я всегда честно выполнял свой служебный долг.

— Ыгым. Видать, старательный! Ну, айда!

Доктор плюнул только на улице. И то первый раз не сдержался умный протопопов :ын. Хоть и утешал себя:

— Все-таки здесь спокойнее, чем в городе. Спасибо фельдшеру. Пригодился большевик.

Выпросился вместо отпуска в больницу сюда поработать недели на две, ну, а там половодье. Не выбраться в город. Можно и дольше пожить. Больницу из Романовки в именье Покровского перевели: зданье для нее было в именье приспособлено. Просну[1] лись молчаливые дома разгромленного и брошенного завода. Глухой, как гроб, только господский дом заколоченный стоял. О нем и просил доктор. Открыть для жилья себе.

Софрон из города вернулся беспокойней

и злей. Втянул ноздрями тревогу и привез ее в село. Колготили раньше бедняки, но часто сдавали. Но чем больше слабела зима, тем властнее становился призыв земли. Тем упрямее стояли за свои участки многоземельные, беспокойней и смелей тянули к ним руки батрачье и малоземельные. Оттого привезенную Софроном тревогу приняли и сразу на нее откликнулись. Парни и молодые мужики пошли служить в Красную гвардию. Грозили:

— Со штыками на пашню придем! Держись, толстопузые!

Мужики пожилые и старики тоже хмелю хватили:

— Будя! Наша земля, как мы есть трудящие!

Посредине села, на базаре, длинный шест поставили и на нем большой красный флаг. Когда протоптанной тропкой шли старухи и старики в церковь, длинный красный язык будто дразнился с шеста.

Молитвенный дом евангелических христиан все еще стоял заколоченным. Собирались у евангелиста Глебова. Пели на голос песенный державинскую оду «Бог» и стихи о жизни, которая отцветает, как трава. Но о порядках государственных говорить остерегались. Только в тайном разговоре с богом, в думах просили: порази нечестивцев. Купцов будто не стало. Ходили в мужицких азямах. Без работников, сами на дворе своем управлялись. От тоски сердце у богатых беспокоилось, будто недужили. Часто в новую больницу к доктору ездили. Человек ученый и серьезный, им по нраву при-

шелся. Возили ему муку, яйца и масло. Пока зря не пропало. Отбирают одежду, скот и за продукты, гляди, примутся. Бедные бывали редко. Некогда и непривычно лечиться.

Софрон, через неделю после разговора с доктором, в больницу приехал. Редькина привез. Йз города Редькин приехал в солдатской шинели. Висела она на нем, как на шесте. Но от военного вида ее еще страшней стал.

Доктор встретил их в белом халате.

Софрон зорко оглядел белый стол, баночки и скляночки в шкафу.

— Много ль вылечил? Аль на погосте посчитать?

Доктор сдержанно ответил:

— Есть и на погосте, а некоторым помог. Деревенских лечить трудно. В грязи живут. Вот сектанты почище. Оттого что грамотные...

— Было время учиться. А ты с ними компанию водить-то води, да оглядывайся! А то самого полечим,— прохрипел Редькин.

Доктор глаза веками прикрыл.

— Лекарств вот нет.

Редькин сверкнул подозрительным сверлящим взглядом.

— А куды делись? Найди! Ай богатый класс все выпил? Давай мне каких порошков. Нутре горит.

— Выслушать, выстукать вас надо.

Нечо стукать! Настукали уж. Траву давай, чтоб дыхать полегче! Под леву лопатку все шилом колет.

И закашлялся бьющим тело кашлем. Глаза выпучил.

— Легкие у вас больные. Надо питаться хорошенько, не утомляться.

— Ладно, сичас к себе в кабинет приеду и на мягку перину. Кабинет-то только у меня на подпорках, да перина тонка. Давай питья какого! Неколи растабарывать!

Доктор плечами пожал, велел фельдшеру в пузырек что-то наболтать. Все торопил. Очень мешал ему Софрон тяжелым неотрывным взглядом. А в это время в коридоре шум послышался. Без предупреждения распахнулись большие белые двери. Трое красногвардейцев внесли четвертого, бледного, с перекошенным лицом и стиснутыми зубами. Софрон навстречу метнулся:

— Откудова? Где ранили?

Правая рука у раненого была привязана кушаком к поясу, и на плече шинель заскорузла от крови. Когда положили на кожаную кушетку, старший, в лохматой шапке, ответил:

— Тута стычка вышла, с казачишками. Посылали. Рубанул его один. Не насовсем, а ровно крепко!

Раненый открыл помутневшие глаза и сказал слабым, но внятным голосом:

— Кровища льет. Заткни чем ни то, пожалуйста!

Мычал от боли, когда раздевали. Но, услышав голос доктора: «Скверно»,— сказал опять внятно:

— Ничо, у мине жила крепкая...

Софрон доктору твердо сказал:

— Этого — чтобы вызволить!

Пошел и красногвардейцев рукой поманил за собой.

В тайном разговоре все выспросил. Неспокойно в уезде. Не зря тревога с отрядом казачьим была. Разбили их, а на станицу два набега другие сделали. Богатые села бунтовать начали.

— Про Небесновку в городе тоже говорили. Ну, на тебя полагаются,— сказал старший, знакомый Софрону.

Когда Софрон с Редькиным из больницы зыходили, Редькин спросил:

— В господском-то дому доктор теперь?

— Он.

— Ыгым. А кака это пика на доме?

И показал на громоотвод на господском доме. Четко вырезывался в легком, весну почуявшем воздухе.

— Говорили, чтоб гром отвести. Грозой чтоб не разбило. Господа — народ дошлый. На небо молятся, а промежду прочим, от него обороняются.

— А разговаривать через него нельзя?

— Через пику-то? А как? С кем? С богом, што ли?

— А може, проловка кака под землей. Теперь всяки телехвоны да грамофоны...

— Не знаю. Ваньку надо спросить.

Вечером Ванька по книжке из библиотеки читал Софрону и Редькину про громоотвод.

Редькин слушал внимательно. Потом спросил:

— А книжка-то как, полная али нет?

Ванька понял вопрос. Ведь бывает на книжках: полный курс географии, сокращенный курс. Потер лоб и прочитал на крышке книги:

— Издание для народа.

— А, для народа! Не все здесь прописано. Господам больше известно. Слышь-ка. Софрон, слово сказать надо. Айда-ка!

И пошли из избы. Дарья недовольно отозвалась:

— Каки от своей крови тайности!

Но Софрон строго оборвал:

— Свое бабье дело знай!

С Дарьей жили хорошо после примиренья, но разговаривать с ней о деле Софрон по-прежнему не любил. Какой у деревенской бабы «смысел»? Ванька — другое дело. «Умственный» растет. Но раз Редькин не хочет...

На дворе, у хлева, в котором беспокойно завозилась корова, Редькин сказал:

— Зачем и к чему дохтур к нам приехал? Раньше фершала чуть выпросили. И я тебе скажу — за им купеческая дочь: панкратовска девка. С им, дознал. Я этту лекарству-то вылил.

— Ну?

— А казаки?

— Ну?

— С ими по отводу этому разговариват! Вести об деревне дает! И об нашинских солдатах.

Сказал с глубокой уверенностью. В самом сомненья не было. Софрон задумался. Заныло в сердце: ученый, **одуриТь** может.

— Ладно, сымем громоотвод, а там увидим.

В этот тихий час вечерний в господском доме сидели доктор с женой. В большой,

хорошо вытопленной, но пустой комнате не чувствовали себя дома. Будто на пере-:адочной станции удалось укрыться. Передохнуть от шума и сутолоки. Но придет поезд, и радостно будет уголок этот покинуть. С собой привезли только дорожный :ундук да постель. Поставили в квартиру дзе походных койки и длинный стол. Докторша лампу с собой захватила. Большая, горит на столе, а в углах от пустоты все будто мрак. Доктор смотрел в книгу. Но оттого что на лбу беспокойно менялись продольные и поперечные морщинки, Клера знала: не читает, о своем думает.

— Саша!

— Что, детка?

— Здесь тоже страшно! И как там мама с папой...

Потянулась к нему, хрупкая. Привлекательная больной прелестью. Такой иногда отмечает вырожденье. Единственная дочка у пожившего бурно папаши. С детства страдала пляской святого Витта. Лечил с двенадцати лет этот доктор. Будто вылечил. Когда стало шестнадцать, женился. Взял приданое большое и любовь нераздельную, фанатичную, какая бывает только у больных, грезой живущих.

Приласкал снисходительно, как всегда. Но в синих больших глазах тревога не растаяла.

— Ничего, недолго, переждем. У мужиков это сверху только бродит. Сектанты со мной откровенны. Сегодня узнал, в уезде много недовольных. Голова не болит? Что печальная?

— Нет. Томительно как-то. Предчувствия...

— Пустяки. Нервы.

С силой ударил в окна ветер, плачем нежданным пропел в трубе. Клера затряслась, заплакала. Умело успокоил. Дал лекарство. Когда улеглись в постель, рассчитал, раскинул в уме срок, в какой соберутся и окрепнут казаки.

А Софрон ворочался на деревянной скрипучей кровати и размышлял: как громоотвод убрать? Не причинит ли вреда, как за него возьмешься? И решил: «самого заставлю».

Утром Жиганов долго у доктора пробыл. Приехал насчет грыжи посоветоваться, а потом долго с доктором опасливо и чутко, стены слушая, шептался. Доктор проводил его веселый. На сиделок и бестолковых больных в этот день по-хозяйски покрикивал.

А к Софрону курносый подросток в огромной папахе, верхом на старой сивой кобыле прискакал. Привез замасленный серый конверт. В нем: усилить в волости охрану.

В полдень в больницу явился Редькин. Нелепым казался у смертью меченного револьвер. Как-то уныло торчал из кармана. И шинель на нем тоже чужая обряда. Доктора в коридоре встретил. Он собирался сектанту опухоль гнойную и опасную разрезать. Распоряжения приготовить все нужное давал. Редькин его остановил.

— Срочный приказ от интернационаловского исполкома сообщить должон.

— Ну?

— Не ну, а веди, куда поговорить! Дело г^стоятельное!

— У меня операция. Больной готов и ждет. Я сейчас занят.

— Ну ладно. Доканчивай. Чтоб к обеду был в исполкоме! А то солдаты придут, призолокут.

Доктор сегодня нетерпеливый. Вспылил:

— Я ведь не хлеб из печки вынимать собираюсь! Человеческое тело резать! Что значит «доканчивай»? Не знаю,*когда освобожусь!

— Я тебе русским языком сказал: к обеду штоб был в исполкоме.

Перекосил лицо, но бьющий злобой взгляд Редькина страшен. Укротился доктор. Глухо крикнул в дверь:

— Операции сегодня не будет. Скажите больному! Пройдемте в эту комнату!

Дверь перед Редькиным открыл. Через полчаса вышел бледный, с крепко сжатым ртом. У двери еще раз сказал:

— Передайте исполкому: громоотвод устроен не мной. Убрать его просто не смогу! Еще раз заверяю вас, что только темнота, незнание...

— Ладно! Опосля поговоришь!

В дверях еще раз остановился Редькин. Горящим волчьим взглядом своим еще раз доктора ожег. Над чем-то будто подумал, револьвер пощупал. Потом круто повернулся и хлопнул дверью.

За обедом жене доктор ничего не сказал. Но она следила за ним неотступным верным собачьим взглядом и ничего не ела.

Первый услышал ночью слабое хрустенье талого снега дворовый пес. Залился надрывным бешеным лаем. И почти одновременно с ним — Клера.

Взметнулась с постели, в длинной ночной рубашке, так быстро, будто лая этого ждала.

— Саша, Саша!

Нежность непередаваемая, мука неизбывная в голосе, а он спит! Только когда застучали сильными мужицкими ударами в дверь — проснулся.

А Софрон приказывал:

— Мы с Редькиным здесь подождем. Волоките. В комнате нечо пакостить. Суды живого.

— Кто там?

— Отворяй!

— Я не могу так... Кто?

— Отворяй! Дверь-то высадить долго ли, чо ли?

Завозились в доме прислуга и больничный служащий Егор. Появлением своим будто ободрили доктора. Наган в руке крепче почуял. А сзади Клера. Вцепилась в плечи тонкими руками. Будто в одно с мужем хотела слиться.

— Подожди, Клера... Не открою! Кто?

Голоса за дверью тише. Будто совещаются. Издалека ветром донесло:

— Эй, ктой-та тут?

Застыли в доме у двери в ожиданье. А Егор ворота и со двора дверь открыл. Почуял: не впустишь в дом, всем отвечать придется. Доктор слышал шаги, уходят. Перевел дух и в комнату из коридора по-

плел, придерживая левой рукой Клеру. И лицом к лицу, в солдатских шинелях, с резольверами. Не крикнул, не вздрогнул, только посерел. Рукой неверной хотел наган спрятать. Но увидали. Передний курносый увидал.

— С левольвером, сволочь! Айда! Этаких на фронте много покончили. Нечо дипломатию разводить! Айда!

Взметнулась докторова левая рука в черной перчатке. Солдат за правую тряхнул.

— Айда.

— А-а-а-а-а, не пущу! Не пущу!

Крик у Клеры такой, что, казалось, все стены пробил. Но скуластый и курносый парень с круглыми глазами, стоявший впереди, не поморщился.

— Не верещи, пигола! Про тебе разговору нет. Дохтур, поворачивайся!

— Не пущу! Насильники! Палачи! Подлецы!

Плевала, кусалась, царапалась. Ощетившейся дикой кошкой кидалась.

Мешала доктора взять. В хрупких руках неестественная сила. Курносый восхищенно удивился.

— Ат, сволочь! Глядеть, дохлятина, а цепкая! Волоки с им вместе.

Скрутил сзади руки парень, потащил Клеру по полу. Будто барана свежевать. Она кричала и билась. Двое доктора вытащили. Прислуга вся попряталась.

Черными тенями на площади за домом Софрон и Редькин. Резкий звенящий Клерин крик по заводу раскатом. Но за глухими

дверями новые люди. Их крик никому в уши не бил, и они чужого не слушают. Плачем отозвался только Петька сторожев в больничной кухне.

Софрон приказал:

— Заткни бабе глотку. На кой приволок?

— Цеплятся.

Подол длинной рубашки Клериной комком в рот ей заткнул курносый, а руки скрутил и держит. Другой собаку пришиб.

— Эй ты, барин! Сичас конец тебе. Говори, чо по громоотводу казакам передавал.

Грозен и четок голос Софронов. С хрипом голос докторов:

— Нельзя по громоотводу разговаривать.

— А, нельзя. Р-р-раз!

Доктор упал. Курносый загляделся, ослабил кулаки, Клера вырвалась.

— Палачи! Насильники! Все равно конец вам скоро! Саша! Саша!

Заворошился доктор. Будто баба криком жутким, криком силы последней, предельной, его оживила.

— А, вместе хочешь? Отойди, дура.

— Вместе хочу! Вам конец скоро-о. Вместе!

Мужа телом закрыла.

Софрон и Редькин оба:

Р-р-раз! Р-раз! Р-раз!

Сапогом Софрон попробовал. Мертвые.

— Ничо, баба старательная была. Слышьте, волочи за ноги в яму! Помойка тут глубокая.

Когда возвращались, Софрон на крыльце

барашка маленького увидал. Из открытой двери кухни выбежал и жалобно блеял. Вчера только новорожденного в кухню Егор принес. Блеял, как плакал. Софрон подошел, поднял шершавой рукой нежное, трепещущее существо и прижал к шинели.

— Бяшка, бяшка. Тварь дурашная! Напужался?

Казаков в уезде утихомирили. Помогла весна. Лога помешали объединиться недовольным новыми порядками.

## VII

День за днем, как костяшки на счетах, отбрасывает жизнь в расход, взятое у нее, изжитое время. С закономерностью неумолимой приводит смену весен и зим, никогда не сбиваясь и не путая сроков, определяя каждому дню пребывания в жизни его тревогу и успокоенье, скорбь и радость. И чем ближе живое к началу бытия, тем непреложнее для него установ этой смены.

Там, за гранью, где город погнал соки жизни в голову, заставил шириться ум человека и сделал его дерзким и творящим всегда,— нет времени, твердо положенного, приказывающего: не раньше, не после, твори свое сейчас. А здесь, в деревне, где земля, выставляя свое плодоносное, готовое для зачатья или приносящее уже плоды чрево, устанавливает сроки, в какие ей нужны силы крепкого, выдубленного для работы над

ней мужицкого тела,— властен закон установа жизни. И в ненасытимости поглощенья этих сил жесток.

Здесь у людей крепок хребет, густ в жилах настой звериной крови, плодовито, как у земли, чрево. Но жадна и скупа душа, всегда мучимая собираньем, жаждой накопления плодов земных для огромной утробы всех, кто живет, рождает или мыслит, кто сцепляет звенья для продления жизни. Здесь у людей темным и старым, как земля, задавлена творящая сила человеческого ума, и обречен человек под гнетом тяжелой хозяйки-земли быть слепым и безжалостным даже к себе. Оттого туго открываются двери его души, и звериной хитростью оберегает он их от широкого взмыва боли и восторга, и только во хмелю распахивается темный, большой, о духе, запертом в сильном теле, тоскующий. А хмель радостный сходит на него, когда земля властно позовет: твори, пришел час.

Приказала земля мужикам Интернационаловки, Тамбовско-Небесновки тож, готовиться к сенокосу. Загудели, заворошились, высыпали на улицу из домов своих, приспособленных, как у зверя, только для зимней спячки, не для наслаждения уютом и домашним покоем. Мужики в будничных портках и рубахах, но живой, говорливой, как в праздник, толпой шли, собирались у большой артельной кузницы на выезде из Небесновки. Пряный густой аромат распаренной солнцем земли, приносимый ветром с полей, и здоровый звериный запах навоза с дворов, как вино, тревожили кровь, ра-

достным, пьянящим ударяли в голову, омолаживали глухие голоса стариков, крепили нутряным, грудным звуком звонкие выкрики молодых, серебром переливали детские слова-колокольчики. Во хмелю нынешней радости было новое. Заовражинские, которым в прошлые годы было положено только отраженный от хозяев свет радости принимать и супиться от мысли: чего косами начиркаешь,— гудели нынче густо, как сильные. Оттого что длинной ратью выстроились у кузницы машины и для их покоса. Солнце и радость сделали морщины на лице у Артамона Пегих лучами, грязно-серые волосы серебристыми. Маленький и сухонький, сегодня он будто распрямил батрацкой работой согнутую спину и повыше, казалось, стал. Как хозяин заботливый кричал:

— Софрон, а Софрон! Слышь ты, Артамоныч, сколь кузнецов-то у нас?

— Деся-ать!

— Хватит ли по машинам-те?

И тревожным перекатом по заовражинским:

— А и то, хватит ли?

Втянув черную лохматую голову в плечи, Редькин острые скулы свои и ямы худых щек к солнышку поднял. Будто тепла просил. И блики радостные лицо оживили, оттого и голос с меньшей натугой, чем всегда, прохрипел:

— Савоська... это нашинский... Постарается. Его для надзору поставим. А надо, так все мы закузнечим. Было б нам чем!..

Сектант Глебов — с него солнышко хмару сегодня не сгоняло — угрюмо отозвался:

— Кузнецы!.. Над машиной-то сноровку надо. Эндаки, как Пегих да Редькин, накузнечат... Каки целы зубья-то, и те переломают.

Софрон насмешливо оборвал:

— Ничо, не сокрушайся об нас, не труди печенку. Переломам, новы наварим. Сами не сумем, тебя приспособим. Потрудись, мол, товарищ Глебов, для черноты крестьянской! Э-э-х, табачком побалуюсь. Весело!

И непривычными пальцами начал свертывать папироску. Живя бок о бок с сектантами, мало курили интернационаловские мужики.

Кривошей Савоська от дверей кузницы крикнул:

— А ты, Софрон, махры-то из городу для кузнецов расстарайся. Уважим! А энти, псы-то, гавкают, знамо, со зла. Мы свое справим, вы поспевайте. Вот, к слову сказано, лобогрейка. А почему? А потому — лоб греет. За ей поспевай в ногу. Как под музыку, паря!

— Махорка запасена. Айда, музыку только готовь, поспеем. Мужицки раскоряки подладливы, только поучи. На войне не под эдаку музыку поспевали! Штой-та Жиганов Алексей Иваныч нонче смирен. Мир радуется, а он рота не раскрыват. Ай матюком подавился?

— Ха-ха-ха-ха!

— Го-го-го!

— Подавишься! Прятал, прятал машины

для себя, а теперь айда-ка к Софрону наймайся.

— Наймем ли, чо ли, братцы, Жиганова-то в работники? А?

Жиганов сплюнул, белками синими сверкнул, но ответил спокойно:

— Не было б нас, и машины-то взять негде было бы. А от работы мы не отлыним. Как, Софрон, нас в коммуны-то примате?

— А, реготали, а теперь учуяли?

Редькин завопил:

— Эдаки коммунщики только за машинами за своими тянутся. Чтоб не выпустить! По шеям их!..

— Знамо, без их!.. Пущай сено у нас покупают.

— Не примать!

— А чо не примать? Пущай идут в долю. С лошадями они.

Софрон спор прекратил:

— Пущай в ровнях с нами побатрачат. Примам. Главно дело, лошадны.

— Правильно-о!..

Артамон Пегих справился:

— Сено-то как, на душу делить? А на душу, дак примай, каки охотятся.

— Айда в школу, в коммуны записывать!

— Чо и во сне не метилось, увидать привелось. Ко-ом-му-ны! Ну, ну!.. Ну, поглядим. Либо волосья клоками, либо сено стогами.

Повалили к школе. В кузнице началась жаркая музыка работы. Редькин около машин остался. Все ему казалось, что отнимут их. Надо сторожить верным глазом. Деревня жила переливами возбужденных человече-

ских голосов. На дворах звонко и горячо переругивались бабы:

— Таку недопеку ничем в коммуну примать, лучче нашу чушку! Скоре повернется. Я смехом, а ты и...

— Смя-яхом! «Айдате с нами»... Ды, мамынька, стыдобушка сказать людям: с Касатенковой Марькой связались. В девках-то люди обегали, до двадцатого году просидела. И мужика-то по себе нашла...

За кузницей на лужайке дети звенели.

— Которы машины Жигановски, теперь нашински!

— Как раз! Вашински! А нашински?

— И вашински!

— А жигановски?

— «Вставай, проклятьем заключенный, своею собственной рукой»...

— Ах ты, холера тебе задави! Семой год, а туды же «вставай проклятый». Иди в избу, пока не взгрела!

— А ты, тетка, не лайся на его. Старый прижим-то отошел!

Весь день, хлопотливый, горячий, ароматом с поля обвеянный, был суматошно радостен. В одно утро выборные от коммун выехали луга делить. Шумной, говорливой толпой провожали их мужики и бабы. Выстроились верховые с деревянными саженями в руках.

— Ну, анжинеры, не подгадьте мерялкой-то своей.

— Чо остерегашь? Сажени-то, знать, стары, меряны.

Гикнул передний верховой, отозвались

остальные: мужики, выборные от коммун, г ребятишки-добровольцы. Из-за радости :;.йной степной с мужиками выпросившие-ся. Взбрыкнули ногами сивки, каурки, :урки и понеслись шумным отрядом в :тепь.

А степь разнотравая ластится. Белым ковылем кланяется. Мигает несчетными белыми, красными, голубыми глазами — цветами. Богатство свое показывает. И жужжит и звенит в воздухе голос ее: в птичьих трелях, в трескотне кузнечиков, в шуршанье букашек. Будто и не умирала зимой. И все з ней пахнет сладостно. Цветы ароматны, травы ароматны, и русское небо бледноватое, кажется, пахнет солнцем. Ветер дымок донесет, и он в степи горяч, прян и ароматен. Полынь, трава горькая, и та на расцвете острый, до боли сладостный запах дарит. Степь вся гулкая и отзывная. О-го-го-го! А-а-а-а! Гулом далеко-далеко. Слуша-ай! Степь голос человеческий передает. Слушай, зверушка, птица, букашка, слушай голос человеческий! А-а-а!.. Грудь сама для крика ширится.

Спешились с коней. Зашагали с деревянными саженями своими.

— Стой, стой!.. Ты как шагашь? Стой!

— «Шагашь»! Каке ноги есть, тоими и шагаю!

— Ге-ге-ге! Нет, браток, надувательско время отошло! Начинай отседова!

А степь отзывается: а-а-а!..

Ребятишки перепелок шарили по кустам. Орали, будто подряд на крик взяли. Ванька Софронов всю ученость свою в траве расте-

рял. Прыгал на одной ножке и пел звонко, заливисто:

**Этта сама-д-перепелка,**
**Этта сама-д-перепелка,**
**Перепе-е-елка-а!**

— Дедушка Артамон, перепелку не пымал?

Артамон похвалиться захотел: увидал в траве и схватил... вместо перепелки змею. Кинул с размаху.

— Ах ты, тварюга проклята! И очень просто, вот така обжалит.

Глебов густо захохотал. И он в степи попростел и повеселел.

— Вот оно, дед Артамон, как чужу-то землю размерять! Заместо птицы — змея в руку!

Ванька за Артамона задорно Глебову ответ прокричал:

— Ничо, змеев-то мы назад вам вернем. Пользуйтесь, вы с ими родня.

Глебов звонко, увесисто, по-матерному выругался, но больше не язвил. Хоть и не смолкал в разговоре. Целый день луга оглашались меткими мужицкими словами. Для того, что знали, видели и понимали, был у них язык ярок и хваток, переливался образами, как степь цветами.

Косить обычно начинали после Петрова дня. В этот год порядок нарушили. Выехали на целую неделю раньше. Старики ругались:

— Обычай рушите! Не зря установ: сыра земля.

— Ничо, мы горячие, высушим!

Первыми двинулись машины. За ними

уемистые рыдваны с бабами, детскими зыбками, бочками, палатками, ведрами, одеждой, котелками и чашками. Когда приехали, закачалась степь от разноголосья. Замелькали по степи бабьи головы, повязанные платками с красным по желтому, с белым по красному, разноцветными.

Участок артамоновской коммуны у леска начинался. Лесок кудрявый, маленький. Издали был в степи как букет небольшой на столе. А подъехали, увидели, тенистый и приютный, с родником студеным.

Завозились на стану бабы, заплакали ребятишки. Двинули мужики машины на луг. Демьян Колосов, заовражинский, с Артамоном на лобогрейке выехал. И вид у него был встревоженно-радостный, такой же, как в детстве, когда мальчишкой в первый раз на поезд попал.

Скоро на стану одна Дарья Софронова кашеварить осталась. Далеко-далеко, куда хватал глаз, все двигались по степи люди. Ванька Софронов пересчитывал:

— Нашинска коммуна — восемь семей. Мужиков с мальчишками — тринадцать, баб — семнадцать. Пантелеевска коммуна — девять семей... Ничо, на луга силу двинули...

— Ва-а-нька! Вань! Чо растопырился, иди!

— А-а-а!

— Но-но-но! Но-о! Пантелей, поспев-аешь?

— Поспем!.. Уля-а, ровне греби!..

У Аксиньи-солдатки голос из груди сам вырвался:

**И э-эх да травушка под косы-ыньку лягла.**

Прилипли к телу потные рубахи, красным цветом прожгла кровь лицо, устали ноздри втягивать запах ароматной смерти травы, налились тяжестью натуги спины, а передышку ни одна коммуна не объявляла. Не хотели сдавать, вытягивая свое тягло. Наконец прокричал своим Артамон, что шабашить пора. Стали замолкать машины и на других участках.

— Мамк-а-а! Пошевелив-ай! Обедать идем!

4

— Айда-те-е! Три раза кликала!

Пить! Прежде всего пить студеную оживляющую влагу. Холодом нежит пересмякшие губы. У родника долго мылись, плескались, ухали от холодной воды, потом так же долго, деловито, старательно, как работали, ели из общего котла Дарьино варево, запивали с густым кряканьем кислым деревенским квасом. После обеда затихла степь. Вповалку в коммунах полегли отдыхать люди и спали, не тревожимые бьющими в голову лучами жаркого солнца. Когда надо телу спать, спит, ничего не боится. Но недолго разливался в траве густой переливчатый храп мужиков и подхрапыванье баб. Поднялась коммуна, и снова шум, и треск, и гомон работы. В рабочей старой одежде ловко и согласно двигался на общей работе Глебов. В пылу ее забыл, что не один хозяин над. полем. Вспомнил только ночью и долго заснуть не мог, хоть и устал от работы. Ворочался и кряхтел.

Из леска доносился зовущий смех девичий, переливы гармошки и удалая частушка парней. Когда спустился на землю ласковый

полог ночи, молодежь от станов подальше ушла. Переливами будоражливо голосов :воих полог этот колыхала. В кустах пары жарко обнимались, больно целовались, любились. Но когда обвевал холодок зари и прогонял со станов истому сна и вставали старшие, молодые не запаздывали. Шли на тягло и хмелем криков и песни, молодостью согретую ушедшую ночь славили. Ссоры в коммунах во время работы были редки. Слишком ценил выгоду свою каждый, чтоб отстать, потерять лишнюю копну сена. Один раз Софрон поскандалил. Он на покос только наезжал, и как раз в его приезд в их коммуне лобогрейка сломалась. Поехал верхом к Савоське-кузнецу.

— Айда, парень, в кузницу!

— Ишь ты, ласковый! Поди-ка, в коммуне раздел на душу. Не сработашь, не прогневайся.

— Дак нашей-то коммуне как без машины?

— Ну, косами косите!

— Я те покажу «косами»!

Разъярился, а потом смекнул: прав Савоська. Как работу пропускать? И вышел приказ от исполкома кузнецов с косьбы снять, положив сено на их долю. Каждый день новый случай учил, направлял порядок, и все уверенней становились Софрон и с ним согласные. День за днем, к концу косьба. Праздников не справляли, хоть иногда и тосковали по ним. Но отказывались: на себя работали.

Передряги начались только, когда стали сено возить. Глебов на своих лошадях воз

за возом, а артамоновская лошаденка притомилась. Он чесал затылок, поглядывал на затуманившееся небо и ахал:

— Што ты станешь делать? Подкузьмила лошаденка! Везде бедному закавыка!

Ванька Софрону сказал:

— Мы чо же, сено-то сгребали, сгребали, а теперь облизываться станем? Дожди пойдут, сгниет. На своей спине не вывезешь.

— Тебя не спросили! Знам, сделам.

Новый приказ прорвал затаенный гнев богатых. Долго галдели у волости, когда объявили, что лошади в коммунах тоже общие, сено возить по всем дворам коммуны по очереди.

Софрон на крыльцо вышел:

— Ну, а вы хочете по-старому? Наработали, да все на вас? Нет, ушло времечко. Палка-то в наших руках!

И лицом двинул на красногвардейцев приезжих. Сдались. Только Панкратов, мужик богатый из Тамбовки, двух лошадей своих испортил. Захворали. Аксинья-солдатка доглядела. Коновала к лошадям привели, а Панкратово семейство сена лишили. Старались и другие: ночью копны к себе в коммуну с поля других перетаскивали. Но хорошо следили подростки. Уличали. Ванька Софронов, загоревший и радостный, в своей коммуне за чередом смотрел.

— Эй, эй, Глебов гражданин, не мухлюй! Нынче нам лошади. Куды заворачивать?

— Без тебя знаю, мозгляк!

— На мозги теперича спрос. А вот по брюху только революционный трибунал плачет! Как кто выпятит, сейчас сгребет!

— Ты, сволочь, гляди нарвешься когда... Не охнешь! Больно ловкий да шустрый стал!

— Нам нельзя нешустрым-то быть. Сказано. Российска Федеративна Социалистическа Республика. Вот и понимай!

У Глебова кулак зачесался, но.только сплюнул. А в голове подивился: язык у молодых острый. Как перец в их смачной русской речи иностранные слова.

С утра до вечера скрипят полные сеном рыдваны по дороге. Мотают головами лошади, мерным шагом таща их к дворам заовражинских. Будто удивляются, что гумна, годами по стогам тоскующие, теперь полны. Богатые сено заработанное встречают не радостью. Новая мера обиды за покос на душу налегла. Зато радостно треплет коровенку жена Редькина.

— С сенцом, рыжуха, нынче! Н-но, стой! С сенцом...

Редькин на кровати с половины покоса лежал, маялся. В коммуне мало наработал: жарким летом в поле все дрожал, тепла просил. Но на его семью покос засчитали. Артамон Пегих один раз навестить его пришел, поглядел и раздумчиво сказал:

— Може, опять не помрешь! Должон бы, дак упористый! По всему, весной бы еще помереть надо, а ты все супротивишься. Не знай, не знай! Должен бы, а промежду прочим, не знаю!

Жена тоже два раза уже начинала причитать, а потом заводила последний хозяйственный разговор:

— В городу сундучок-от забыл. Беспременно Антошку спосылать надо. Детям лопатина-то сгодится.

А Редькин все не умирал. Хрипел, а смерть гнал. Один раз Ванька привел к нему бывшего библиотекаря, Сергея Петровича. В продовольственном комитете теперь служил, приехал для сбора сведений с эмиссаром. Сергей Петрович очень Редькина жалел, а не вытерпел—попрекнул:

— Вот мучаешься, и помочь некому! Доктора-то за что прикончили? Время бесправное, а то за такое бы зверство!..

Редькин только глазами повел и прохрипел:

— Уморил бы...

А Ванька резко, не по-детски, сказал:

— Для кого бесправно, а кого на права выволокет. Было бы по-старому дольше, много бы еще эдаких погубили! Как жили, в эдакой жизни не обучишь. А темнота, она злая.

Сергей Петрович пристально на него взглянул и смолк.

И дома вечером отцу Ванька вдруг сказал:

— Помнишь, городской-то приезжал зимой? А правду ведь он сказал: отменить деревню надо. Чтобы как город была, с машинами. Покос-от машины какой всему селу собрали.

Уборка сена коммунами Софроновой партии в селе силу дала. Два мужика богатых

-з Небесновки, Перегудов Антон и Лотошихин Павел, прошенье подали:

**В большевицкую партию на селе Интернациона--:зе по старым документам Тамбовско-Небеснов->:о"м.**

**Граждан села Интернационалова
той же волости Антона Михайлова Перегудова
и Павла Максимова Лотошихина**

**.ПРОШЕНИЕ**

**Мы нижеподписавшие Антон Михайлов Перегуюв и Павел Максимов Лотошихин к сему сообщенье накладываем, что есть у нас земля. У Антона Перегудова полтораста десятин, у Павла Лотошихина :то десять десятин. Но как мы поняли, что теперь большевицкая партия самая правильная, то желаем в ее записаться и с малоземельными заодно в линию :остоять от того, что старого монархизма не хочем. Сие собственноручным подписом скрепили:**

*Антон Перегудов*
*Лотошихин Павел.*

Софрон на своем собранье доложил, и постановили в партию обоих принять, а так как они богатые, то откуп с них взять. Антон Перегудов должен сдать большевистской партии села Интернационалова двести пудов пшеницы, а Павел Лотошихин сто. Оба согласились и пшеницу через неделю доставили. В большевиках утвердились.

А смута в уезде только замерла. Тайными путями узнали небесновцы, что казаки готовы двинуться на большевиков опять и теперь упористей. Дали знать богатым тамбовским жителям. Глебов в станицу казачью на ярмарку съездил.

В престольный праздник, на Илью-пророка, все село во хмелю спать полегло. Де-

сять вооруженных людей в темноте сторожко Софронову избу окружили. Софрон на дворе случайно был. Шорох услышал.

— Кто там?

Но крикнуть не успел. Рот заткнули и связали. Весь исполком в ночь захватили. Шум бабы все-таки подняли. Но, с помощью казаков, тамбовские и небесновские богатые мужики с местной охраной, ослабленной в последние спокойные месяцы, справились. Главарей большевистских переловили, а остальные хлеб-соль вынесли.

Еще рассвет чуть брезжил, когда связанных за село на расправу вытащили. Пробуждающийся день встретил гомон людей ласковым предутренним ветерком. Шевелил волосы на головах связанных. Будто ласкал в последний день. Худой и желтый Жиганов расправу начал.

— Что, Софрон Артамоныч, коммунами? Машины отбирать? Вот тебе за логогрейку!

Плюнул в лицо и связанного Софрона под правый глаз жестким сильным кулаком. По глазу угодил. Залилась кровью синь его. Софрон рванулся, заревел. Гулко отзвалось поле на крик. А Жиганов повалил Софрона и сапогами тяжелыми на животе его заплясал.

— Вот тебе за сгребалку! За дом мой! Вот тебе за хозяйство мое! Принимай уплату!

Сомлел Софрон. Водой отливали. Потом опять били. Избитых, измученных поставили на ноги и приказали:

— Пойте свой «Интернационал»!

Из двадцати девяти человек девять запе- - дико, как похоронную свою.

— Вставай, проклятьем...

Но осеклись. Софрон еще живой, катался -: земле и выл:

— Сволочи! Замолчите!..

Антону Перегудову двести отметин -а спине шилом сделали. Жиганов хрипло :рал:

— Вот тебе-для счету: сколь пудов отдал!

Павлу Лотошихину сто. Редькина полумертвого выволокли из толпы. Растоптали :апогами.

Уж взошло жаркое солнце, когда двадцать девять человек в поганую отвальную яму кинули. Восемь живых еще ворошились под трупами. Всех завалили землей.

Артамона Пегих только в полдень рыжий казак нашел в стогу сена на гумне. Вытащил. Он тряхнул седыми волосами, будто выбивая из них сено, и спокойно спросил:

— Редькину-то, сказывают, дохрипеть не дали?

— Об себе думай! Сейчас тебя предоставлю, старый охальник.

— Ну-к что! Для внуков хотел еще на земле помаяться, а не довелось, дак ладно.

И покрестился истовым крестом на восток:

— Господи батюшка, прими дух большевика Артамона.

Его били долго, но еще живого на яму

отвальную доверху набитую притащили. Осевшим, прерывистым голосом он протянул:

— Тута, значит, кро-вушкой полили... косточками сдобрили-и...

Прикладом казак прикончил его. Дарье Софроновой брюхо выпотрошили. Младенца свиньям кинули. Семьи большевистские вырезали. Только пятнадцать человек в погреб жигановский засадили. Глянуло страшное лицо деревни... Иван Лутохин, пророк небесновский, уцелел. На поле был... Когда вернулся, только нагайками поучили. Застегивая порты, он глухо сказал:

— Земля нынче хорошо родит. Большевиками унавозили.

А Ваньку Софронова судьба укрыла. В город перед Ильиным днем уехал.

# АЛЕКСАНДР МАКЕДОНСКИЙ

*Эскизная повесть*

— Главное дело — фамилия не по существу.

Это ему, еще мальчонке, когда в чайной развесной у Высоцкого служил, младший конторщик разъяснял. Не один раз. Часто.

— Я в городском училище две зимы учился, так знаю! Александр Македонский был всемирный покоритель и герой, а ты худородие, а в паспорте у тебя тоже: Александр Македонский. Ну и рассуди: чему это подобно? И не в том еще, что нижнего сословия, а существенно смешно, что из себя ты как мыша голодная. Тот всемирный император, а ты кто? Не то голоса человечьего,— вздоху чужого боишься. Нет, брат, чрезвычайно иронично тебя обозвали.

Щуплый Сашка моргал всегда налитыми испугом глазами и тихонечко вздыхал в ответ. Что тут скажешь!

Один только раз осмелел и сказал, будто выпрашивал, чтобы так было.

— А може, его величали не Евдокимыч?

— Кого?

— А этого... императоря-то.

Конторщик фыркнул так, что бумажка на столе подпрыгнула.

— Ну, дурак ты, Александр Македон-

ский! Евдоким — имя простонародное. Никак императора им величать не могли. А только тебе от этого какой резон?

— А може... как в различку... дражниться-то не будут.

— Эхе-хе, нет у тебя смысла в мозгах, Алексашка! Кто тебя когда величать станет? Всякому нетрудно за насмешку паспорт твой упомнить. Так и помрешь Александром Македонским! Кто это тебе напакостил, как крестили? Ну назвали бы Иван или Степан, вот тебе и различка. А то на, Македонский да Александр. Поп али отец с матерью удружили?

Разве он знает кто? Мать одну помнит. А она что скажет по серости своей? Прачка так прачка и есть. Уговаривала:

— Дед у тебя псаломщиком был. До дьякону не дослужился, помер. А детей девять, и все живые. Где надо, и мор не берет! Отец-то твой ровно как и духовного звания, а так в сапожниках и на тот свет ушел. Мне вот четырех вас оставил. И все Македонски. Я как прозвание сменю? Гумаги-те поди полиция наблюдает. Сумей-ка, смени! Александр — имя хорошее. По-православному дадено... Да не веньгай ты! Вот как чебурахну, узнаешь, как мать попрекать! Господи батюшка, чисто его по-матерному обозвали, убивается. Стирашь, стирашь для их чужуто грязь, а они изгиляются. Как окрестили! Пропаду на вас нет!

Конторщик правду сказал: Евдокимычем не много раз за сорок лет жизни называли. Все: «Эй, как тебя...» А еще: «Братец мой». Слова хорошие, о родстве говорят. Только

-:а голос плохой люди научились, их выговагивать. Как скажут: «Подай-ка, братец», <ты, братец мой, не рассиживайся...»—о тодстве не подумаешь. Образованные, те больше по паспорту с усмешкой выкликали: <Александр Македонский». Ничего. Раз на земле появился, руками, ногами двигать должен. Как ни называют, повертывайся.

И Сашка повертывался. Через плечо на бумажки глядя, грамоте у конторщика выучился. Потом дома над книжкой и тетрадкой изводился. Мать, жалеючи, била. Ничего, дошел. Четко выучился слова на бумаге зыводить. Как контоурщики. Грамматикой не смущаясь. Барин Шидловский над прозвищем его похохотал. За веселый миг, им доставленный, к себе на хутор пригородный взял. Богатый хутор. С заводами винокуренными и пивоваренными, с фермой молочной, далеко известен. И на хуторе все за прозвище смешное не забывал. В младшие конторщики Александр поднялся. А видом все робок и неказист. В Евдокимычи не вышел, хотя и шестерых детей нажил. Даже, кто ниже остался, не величают. Старшая дочка Лизонька с гневом говорила:

— Да распрямитесь, папаша! Что вы все, будто палкой на вас кто замахнулся? Посмелей были бы, легче бы нам. А так... все равно, Сидором бы звали, нашли бы над чем смеяться. Только пригнись, люди до земли придавят!

Потом бранью надрывной, крикливой на всей семье зло срывала. Обида в нее, как болезнь, вошла. Иссушила и будто приста-

рила. Семнадцатый год, а губы сожмет, как у матери рот станет. С морщинкой. Из третьего класса гимназии за невзнос платы за право учения исключили ее. Хорошо училась, да стипендии другим, к начальству близким, отдали. А отец не вытягивал на семью в восемь ртов. Жалел дочь, виновато моргал глазами. Нежностью щемящей жалость свою показывал.

— Доченька, аппетитных капель я у доктора достал. Попила бы... Худая больно.

— Отстаньте!

— Или бы шитье бросила? Ничего ведь, с голоду не помираем. К рождеству прибавка...

— «Прибавка»! Да не вяжитесь вы ко мне! Душу вымотали.

Дверью срыву хлопала и убегала.

Мать вздыхала:

— Порченая али своебышная... Я и говорить-то с ней боюсь! И деньгам за шитье не рада. Изводится девка! И по праздникам не отдохнет, все в книжку. На што обучал? Жили без грамоты ране, ничо, кусок глотали! А ей все поперек. В нутро нейдет! Замуж бы взял кто. А сейчас кто возьмет! Над рабочими словно барышня, а господам не ровня...

Моргал глазами отец. Чем поможешь? Во сне один раз Лизоньку радостной, замужней, с детками видел. Все хотел, чтобы еще раз тот сон привиделся. Не повторялся. Перед самой сменой царя в город Лизонька шить перебралась. К первой городской портнихе в мастерицы.

## II

Город разлегся, в степи. В нем — жирные жители: татары и русские. У жителей много скота и пшеницы. Оттого по широким немощеным улицам своего города они ходят неспешно, вразвалку. Любят просторную одежду и крепких плодовитых жен. Любят свою плодородную землю. Оттого даже двухэтажные дома в городе присадисты. В домах много пуховиков и подушек. Всегда пахнет готовым жирным обедом. Царит в домах спокойная сонная дрема.

Много в городе колбасных и гастрономических магазинов. Учебники и сонники продает торговец иконами, извлекая их из-за образа Спасителя и святых. Библиотека приютилась на дворе пожарной части. Толкаются в ней только гимназистки — просят книжки писательницы Вербицкой, и реалисты — оспаривают друг у друга очередь на Луи Буссенара. Взрослые книг не читают, хоть и выписывают многие «Родину» и «Ниву» с приложениями. Волнует кровь только игра в карты и в лото в общественном собрании и в гостях друг у друга.

По железной дороге уходят из города вагоны с мукой, кожей и салом. Приходят с чаем, красным товаром и рыбой. По широкому тракту из города и в город тянутся терпеливые верблюды с тяжелыми вьюками. И вереница дней проходит, в цепь жизни сцепляясь, спокойная, сытостью нагруженная, как этот караван. Кольцом заперла город от шума других жирная степь. И кажется — умирают здесь только от перееданья и старости.

По праздникам — они часты, город чтит и малых святых — долго стоит над домами густой звон круглых невысоких церквей. В часы татарских **молений** так же густо и благодушно кричат atoraxy с минаретов мечетей крепкие старики ^уллы. И бог этого города — гладкий, румяный и гневом тревожиться не любит.

А Лизе город сытости не дал. Все воск на щеках и кость в обтяжку. Только речь глаже стала. Мать горестней вздыхала:

— Все, видно, в книжку глядит. Говорить по-книжному зачала. Вот присуха-то проклята!

А отец вспоминал, как сам он над книжкой корпел, и робкой улыбкой будто извинялся за себя и за дочь.

## Ш

Не углядел сытый, сонный бог. Разорвало покой. Толстый Иван Макарович, первой гильдии, пыхтя и отдуваясь, вытирал большим платком круглую плешь. Говорил Сафиулле Ишмуратову:

— Царя не надо, Родзянку не надо, Керенского за штат! До чего добрыкаются?

Щурил хитрые глаза Сафиулла. Тюбетейку повыше сдвигал, жаловался:

— Чай дорогам пропал. Убытка много! Мал-мал пора свобода кончать!

— Гляди, как бы нас не кончили! Расшарашился народ.

И напророчил. Стали большевики верховодить. Галдеж пошел и на заводе Шидлов-

.кого. Выборы всякие и рабочий контроль. Щидловскому хоть неполная, а как будто гтставка. В городе больше проживать стал. А Лиза из города часто к отцу наезжала в зти дни суматошные. Объявила:

— Я, папа, партии большевиков.

Отец ничего не сказал, а мать заплакала. Фельдшер ее напугал. Много про большевиков, горячо и злобно, рассказывал. С большим достатком был человек. Беспорядка большевистского опасался.

Лиза удивилась:

— Что ты, мама? Чего испугалась? А?

Посмотрела на тихую, раньше срока стареющую и обняла:

— Старенькая моя...

Мать от ласки нежданной еще больше растревожилась. Как выросла, Лиза не ласкалась. Растерялась. Не смогла дочь поругать. Только, всхлипывая, спросила:

— Лизонька, неужто и богу отмена?

Лиза рассмеялась:

— За что жалеешь его? За пазухой у него не жили.

Слова злые. А лицо у девушки светлое. Македонский не слова, а свет этот уловил. Сам прояснился. В первый раз покровительственно, как старший в доме, на жену свою взглянул. Ослабла мать. Дочерней радости не видит. Уверенно успокоил:

— Не плачь,— выросли дети, куда лететь, сами знают.

Затянула Лиза отца. На собрании стал ходить. Людям тревога и сухота, а отец с дочерью будто на поправку. У ней взгляд резвый. Кровь чаще румянцем лицо живит.

У Македонского тоже спина прямей стала. Глазами реже моргал. На хуторе слышней голос его. В городской совет в выборные попал. В списке полным именем прописали: Александр Елизарович Македонский. В отчестве ошибка вышла. Ну что ж! Александров Македонских больше нет, а то не дивились бы так раньше. Значит, он. А где тут упоминать: Елизарыч или Евдокимыч? Невелика птица, хоть по-иному, да возвеличали!

В газете отпечатанной свое имя увидел, в первый раз взлохматился. Всегда скромно волосок к волоску на голове приглаживал. А тут с газетой домой прибежал: волосы в разные стороны, лоб мокрый. В глазах не то испуг, не то радостное отупенье. Жена испугалась:

— Побили тебя, што ли?

— В Совет, Нюраша, выбрали. Вот гляди! Пропечатали: «Александр Елизарович Македонский». То есть надо бы Евдокимович, так отпечатка вышла!

— «Отпечатка»! Гляди, как бы на загривке отпечатки не сделали. И куды лезет, и куды лезет, господи батюшко! На загорбке шестеро — в Совет! Досидел тишком до старости, а на старости яйца курицу выучили. За Лизкой потянулся. Да чо же это будет? Чо же это будет?

Завела на целый день слезливую жалобу. Голос скрипучий, как у матери-покойницы. Похожи все бабы друг на друга, хлипкие. А Лиза в отличку вышла. Вспомнил о дочери — свет по лицу. И жену пожалел:

— Не тревожь себя, Нюраша. Никакого тут страху нет. Почет большой. Кто я есть?

~э есть кто я был? А теперь член Совета. То есть городом с трудящимися другими правляю.

— Управитель! Видать, всем взял. Что гожей, что кожей! Таки-те управители нуж--:ики господски чистили. Девку в городе с танталыку сбили... Другой бы отец пристралал, а этот за ей на поводу. Один чирей в **семье** был, теперь два...

И осеклась.:. Не видала еще такого лица у мужа. Побелел весь, в упор взглянул и рукой о стол ударил. Словно и не он.

— Ты Лизу не задевай! Может, только одно добро за нами, что ее родили...

Не кончил мысли. Махнул рукой, ослабел. Опять смирным, обычным голосом закончил:

— Низкость наша примяла нас, Нюраша! Я было к тебе с радостью... Как именинник... Ну, да ладно. И вправду, зря распетушился. Колун-то где? Пойду дров наколю.

Посмотрела, как присутулился опять, как торопливо напяливал старенькое ватное пальтишко, прожгла жалость сердце.

— Ты бы, Алексаша, отдохнул. Наколем с Петенькой. У тебя теперь други дела. Жить-то в городе придется?

Хотелось сказать ему много слов. Хотелось уверить. Радость и почет, что выбрали. Но слов не нашла. Солгать не сумела, боялась за него.

— Нет, наезжать в город только буду. Ты не тревожь себя...

И вышел.

Рада была не тревожиться, да как же, если тревога по пятам? Лиза в другой город

по делам каким-то уехала. Веселая прощаться приезжала.

— Папа, тебя очень хвалят! Говорят, ты тихий, а работоспособный. Это хорошо, что ты здесь в кооперативе работаешь. Там чужой элемент есть, а на тебя положиться можно. Подожди, я приеду!.. Мама, что ты все сохнешь? Устала ты! Ничего, отдохнешь скоро. Вот погоди, я приеду...

Глаза Лизины жизни радуются — жаркие. И на месте не сидит. Все движется, легкая и быстрая. Вышли за ворота провожать. Полюбовалась мать. Тонкая, а вся как ртутью налита, и румянец нежный.

— До свиданья! Ждите меня!

Мать заплакала тихо и горько. Ярко в память врезалось все: деревья с тускнеющими листьями предосенние, серая лента дороги и тонкая, в черном пальто, четкая такая в тарантасе. На повороте дороги белый платочек в руке весело в воздухе взвился, красной повязкой голова закивала.

Улыбнулся тихой улыбкой своей Македонский. Жена сильнее заплакала. Он осторожно взял ее за плечи и повернул к дому. Тихо, но спокойно сказал:

— Не наш черед плакать. Помолчи.

## IV

И песчинка малая, в вихре закрученная, вместе с вихрем несется. Вместе с вихрем!

Так и рассуждал:

— Попал, так изворачивайся, чтоб не притоптали.

Пятеро их с хутора Шидловского

скрыться успели, когда чехи в городе на посты стали. Расправа с людьми большевистской партии началась. И вот привелось скрыться в чужом городе... А Нюраша с ребятами в своем родном мается... Не засудили бы! А Лиза... Толчками частыми сердце в тощую грудь. Тоску бьет. Но человек тихий. К молчанию привык. Хоть груз тяжких дней на спине горбом нарастал. Присутулился. Но не кричал. Никому не жаловался. Только чаще моргали красноватые веки безбровых глаз. Кричать зачем? Если всякий раз, когда больно, кричать — криком без толку изойдешь.

Самая забота тяжелая: упомнить, что он теперь — Иван Суслов. До старости без малого донес свою смехотворную кличку. К новой трудно привыкать было. Но привык. Под такой же, как сам, серенькой — легче. Ведь и прежде только фамилия на отметину. А видом — в глаза не въедлив. Для такого придумано: особых примет не имеется. Но для каждого человека на земле есть место, куда надо необходимый гвоздок вбить. Оттого и серость жизни на пользу. Говорили Лизиной партии люди, теперь и ему свои:

— Товарищ Суслов, сегодня на вокзале встречайте... Незаметно надо тючок получить...

— Товарищ Суслов, как идет передача в тюрьму? Не забыли? Ничего не перепутали?

Как на службе когда-то, ни одного поручения не забывал, ничего не перепутывал. Все делал старательно. И по-особенному — бесшумно. Других ловили, а его не замечали. Даже те, кого на тайные квартиры провожал, кому помощь, на всю жизнь памят-

ную, оказывал, сразу лицо его забывали. А в такой-то, как теперь, заварухе и крупных теряют. Где углядеть мелкоту!

Так и жил. Делал дело под охраной своей тихости.

В артель поваров и официантов — лучшее в городе кафе на главной улице — удалось поступить. И там при других остерегались, а на него взглянув, в разговорах меньше стеснялись. Случалось важный слушок узнать, своим передать.

Но один день разом все изменил. Как в кафе шел, человека своего повстречал. В город, родной Александру Македонскому, ездил с поручениями. Письмо от.Нюраши передал. Петенька, сын, писал с ее слов. В письме ничего, кроме: живы, здоровы, кланяются. Видно, приказали с осторожностью писать, но на словах передал приезжий:

— На допросы вызывали, обысками мучили, но ничего. Отвязались! С хутора выгнали. В городе живет: сторожихой в земскую управу определилась. Дети одолевают! Постарела очень. Старший сын мальчиком в редакции служит, другой на посылках, тоже в земстве. Плохо, но с голоду не умирают. Товарищи помогают. Только передать велела, что слух прошел: Лизу захватили. В тюрьме в Омске будто бы теперь.

Не помнил, как в кафе дошел. Думы в голове узлами. Голове больно.

«Лизонька... Доченька...»

Хваткой за сердце воспоминанье: потускневшие листья и девичье лицо радостное. В первый раз сомнение затомило:

«Надо ли было самому ввязываться?

Теперь семья мается. И Лизоньке, может, помог бы тогда. Э-х!»

— Суслов, задремал? Слышишь, с твоего столика зовут!

И вот тут, будто за то, что от думы горькой оторвали, захотелось закричать. Даже лицо перекосилось при мысли:

«Запустить бы тарелкой в тебя, жеребец краснорожий! Поди дома ел-ел. Еще чего-то надо! Сюда припер!»

Подошел и угрюмо спросил:

— Ну!

Приземистый, плотный господин еще больше порозовел. Но не рассердился, а скорей удивился:

— Разве так спрашивают, братец мой? «Ну!» Недавно, видно, принят? Пусть поучат с людьми разговаривать! Другого кого-нибудь, потолковей, нет ли? Эй, чела-эк!

— Занят я, господин. Вот Суслов на этом столике. Суслов, пошевеливайся! Слышишь: барин требувают...

— Ну, ниче-о-oLВсе равно. Так вот, братец мой, карточку. Тэк-с... Мазагра-ан с сосисками? Интересно. В первый раз слышу. Это что написано? Мазагра-ан?

— Повар так обозначил.

— Ха-ха-ха!

Колыхался от смеха круглый живот. Благодушно узились карие приятные глаза. А Суслову было б легче, если б этот гладкий ругался. Смехом, видом своим благополучным дразнил. Нет, непереносимо.

— Подать мазагран?

— Несите ваш мазагра-ан с сосисками. Очень интересно!

Собирал прибор в буфетной, коротко, резко покашливал. В первый раз злоба душила. Этот холеный барин... Вид такой, будто жизнь ему до конца только одно благополучье обещала. Погоди! Еще будет тебе «мазагра-ан»! Щеки парикмахером выглажены, одежда из товара заграничного и будто только из-под утюга. Но, наверное, из вагона недавно. От большевиков удирал. Видно, из столичного города.

Вдруг опять сердце в тиски:

«Доченька... Лизонька...»

Покашливал, как стон сдавливал. Моргал глазами, привычно двигался. А тиски на сердце не разжимались.

Полнилась утроба кафе. У вешалки два человека, как заведенные, поворачивались налево-направо. Принимали одежду. Как в панике, смешно и нелепо взметывали салфетками официанты. Люди за столами и столиками требовали еду, жевали, звали лакеев, смеялись, разговаривали. И смешанный гул их голосов стоял в комнате, как глухое ворчанье успокоенного сытостью многоутробного зверя. Из глаз ушло беспокойство мысли. Пленкой мутной закрывался их блеск. Туманила голову дурманная смесь ароматов и вони. Пахло мясом, пряными приправами кушаний, нежными и крепкими духами, пригорелым маслом, табаком, пудрой, человеческим телом, разогретой едой и несвежей одеждой. От сытости и щекочущих звуков веселенькой истории про полк гусарусачей, которую рассказывал оркестр, жизнь казалась успокоительно-забавной. Без крахов и тревог.

Но полог истомной одури то и дело разрывался. Потому что въедливой струйкой вливался в смесь благополучных запахов тревожный запах остро пахнущих лекарств. От повязок, видных и невидных глазу. Потому что жутко гримасничал и дергал шеей контуженный офицер за столиком у окна. Поправлял черную повязку на лице, закрывая вытекший глаз, другой. С не увянувшим еще пушком юности на щеках. Потому что невысохшие буквы газет на столах передавали глазу слова: наступление, отступление, наш фронт, их фронт, большевики, меньшевики, социалисты, капитализм, революция.

Но даже призрачное внешнее успокоение сидящих за столом было невыносимо сегодня. Ведь гвоздем вот здесь, в груди:

«Засудят... Хлебнула ли сладкого в жизни?.. Нет...»

И ярко в мозгу, как в глазах, морщинка старческая у юных губ дочери.

«Доченька».

Дрогнули руки. Т-ррах!..

— И об чем этот человек думает? Нате, тарарахнул целый поднос. А там господин, которому подает, жалуется: зачем, говорит, таких держат... Не дождешься, говорит. Ругается!

Плюется буфетчик. Ногами топает. А Суслов не видит его. Напоминание о господине стегнуло.

«А, этот «мазагра-ан»... Брюхом там колыхает...»

Злоба, какой не испытывал во всей цепи прожитых лет, в голову ударила. Повернулся, толкнул,— кого, не разглядел,— и в сто-

ловую из буфетной. Но дюжей рукой вцепился в воротник Тимофей Васильевич и отбросил от двери назад.

«А, этот еще, гладкий черт! Украшенье кафе. С двумя «Георгиями» на груди. Инвалид почетный, с инвалидством, от глаз скрытым...»

— Ты чего это, мужичня сиволапая? Мне на мозоли наступать? Эдаку паршу не то что господам прислуживать — в кухню допускать нельзя!

«Колчаку в вагоне до Омска прислуживал, так и человек? Уставился бычачьим взглядом, пыхтит. Как икону, в кафе показывают. От самого Колчака бумажечка есть».

Рванул воротник из крепких пальцев, вырвался, но назад не повернул, наскоком на Тимофея Васильевича.

— А што твои мозоля, в церкви священы? Колчаку ... салфеткой вытирал, дак над всеми людями начальник? Так и есть человек? А? Плевать я хочу на тебя и с Колчаком-то с твоим!

Тимофея Васильевича от удивления даже назад отбросило. Переступил шаг и опомнился. Завопил:

— А, ты верховного правителя пакостишь! Пригласите сюда дежурного офицера! Пригласите! Всякая сволочь на особу покушается! Пра-шу пригласить дежурного офицера!

Угруз. Ну, теперь уж все равно! Развернулся и с большой, взыгравшей нежданно радостью влепил полновесный удар над правым рыжим усом.

— От сволочи д-по особе! Получите!

От столика, для дежурного офицера всегда в кафе приготовляемого, в буфетную хлыщеватый военный спешил:

— Что случилось?

— Ваше благородье! Вот я двух «Георгиев» кавалер, а он при мне в недостойном согласовании верховного правителя...

— Взя-а-ть!

По улице шел легко, как никогда. Будто гной наседал на сердце, а теперь его выхаркнул. Вольно дышала грудь. Соображал:

«Бумаг никаких не давали. А что в голове,— не узнают. Не выковырнут»!

Но в тюрьме затомила тоска:

«Из-за чего вляпался? Кого завтра на вокзал пошлют? И дома там-то... На свободе все скорее можно помощь подать. Да кабы еще на деле поймали... А то из-за Тимофея-блюдолиза! Эх, незадачливым мать родила!»

Дивился, как накатил гнев. Сколько обид выносил раньше, а тут — на!

Потом пришла в голову мысль:

«Лизоньке бы рассказать, как я его— развернулся да в морду! Она бы посмеялась».

И оттого, что опять ясно представил, будто увидел Лизину улыбку нечастую,— повеселел. Показалось вдруг: все будет хорошо. Увидятся. Не может быть, чтоб не увиделся еще с дочерью. Заснул крепко, с облегченным сердцем.

Но до последнего дня пребыванья в тюрьме по ночам наседала тяжелая тоска:

«Зачем не сдержался? Свои-то отвернутся! Как мальчишка глупый какой...»

Опять спасся, оттого что тих и сер лицом. Других допросами мучили, с собой увезли, а о нем никто не вспомнил. Вернулись большевистской партии люди. Из тюрьмы выпустили.

Вот жене и его лицо из всех отметное. Припала к плечу, как в молодости. Целовала, гладила, причитала:

— Постарел, Алексашенька! Этих вот морщинок не было. И головушка пегая стала. Ну, да вернулся, а седина да морщины все равно свое время не упустят. Пора им и приходить.

Гладил ее склоненную голову, улыбался, а на глаза слеза набегала. Жалеет мужа. А сама-то... Тоже сгасло лицо в старческой усталой серости. В волосах также клоками седина. В глазах оторопь и тоска. И про Лизу не спросил, хоть и лезли на язык слова неотвязно. Очень уж жалко старую. Зачем бередить? А других разговоров не находил. Много их, да сейчас не о том надо. Чтобы только не молчать, спросил:

— На хутор-то когда перебрались?

— Да всего пятый день. Рабочие перевезли. Айда, говорят, на старое жилье, мужа дожидаться...

Но Петенька ранку ноющую расшевелил. Повисел на шее у отца, покрутился вокруг и с нерассуждающей, жестокой юною правдивостью сказал:

— Папа, а про Лизу говорят: замучили в тюрьме.

Жалобно заплакала мать, поникнув вся, будто сразу одряхлев. Больше всего заботы

было с Лизой. Оттого глубже всех детей в сердце обоим вошла.

Побелел Македонский, но с последней спасительной надеждой за мысль уцепился:

«Может, не разузнали еще? Ошиблись. Только прибыли, не разобрались».

Вслух сказал:

— Завтра в город разузнавать пойду.

Всю ночь провздыхал, проворочался. Убеждал себя: пятеро детей живы и здоровы. Ведь радостно? Но сердце не слушалось. Ныло о старшей, беспокойной.

## V

Только прибыли новые хозяева — и сразу свой лик на городе отпечатали. Будто во всех домах двери настежь. Перекатом говор из домов на улицу. С улиц в дома. И дома стали как палатки походные. В купеческих — штабы всякие разместились. Сорваны кружевные занавеси. В беспорядке мягкая мебель по всем комнатам и в кухне. Точно сама в испуге разбежалась, как хозяева по разным углам. На хозяевах платье мешком. На мебели обшаркана, ободрана нарядная обивка.

— Товарищ ротный, буржуазия самовар растопила.

— Черт их дери! Зачем?

— Не то с перепугу, не то £ умыслу.

— Грей чайники на плите! После разберем.

— Товарищ, а товарищ! Далеко белых-то угнали ай нет?

— Беги, може, догонишь!

— Да я не к тому! Деньги вашински на базаре дали. Дак как, отмены не будет?

Худенькая, с клоком волос, кокетливо взбитым, портниха Шурочка на улице патруль остановила:

— Товарищи, скажите, пожалуйста: швейные машинки ведь отбирать не будете?

— Отберем! Твою первую. Заместо пулемета!

— Нет, кроме шуток, товарищи! Я, как своим трудом... трудящая...

Низко нависли новые нити спешно проведенных телефонов.

— Граждане, на другую сторону. Другой стороны держись!

**...Мы сме-ло в бой пойдем**
**За вла-а-сть Советов...**

— Послухам, послухам, как новы поют!

— Товарищи, Семена мово не видали? Пермски, пермски мы... То есть как на побывку прибыл, так Колчак у себе задержал... Маслов, Маслов Семен-то... Красный, красный... вашинский...

Тонкий синеглазый парень из рядов выдвинулся.

— Слышь, ты, тетка! А бельма у него на глазу нету?

— Нету, родимый, уж этого, извиняйте, нету! Так, лобастенький!

— Ха-ха-ха!

— В ряды! Чего отбились! Что вам, гражданка?

— Мужика свово ищу! В Перме в Красну вашу Армию то есть поступил! "А где есть, не знаю.

— В Перми? Зайдите в дом купца Трофимова. Там вам справку дадут.

И тот, к кому первому за справкой баба обратилась, высокий, синеглазый, весело, /ж из рядов, отозвался:

— Найдешь, тетка! Нашински доходчивы!

— Вот спасибо, родненьки! Ну, как сказано, товарищи!

Яркий луч радости сразу осмыслил тупозатое курносое бабье лицо.

На вывеске трехэтажного, самого большого в городе универсального магазина Сафиуллы Ишмуратова с сыновьями отбиты золоченые буквы слов. И обломки их на железной сетке вывески — как знаки неведомой грамоты. Огромные зеркальные стекла жалуются трещинами и выбоинами. Но шумом здоровых глоток полон огромный дом. И на дворе солдаты муравейником. На тротуаре и около — дети соседних дворов. Суматохе радуются. На улицах толпа пестрая. Но редко мелькнет тонкое личико, изящный костюм. Все-таки страшно! Блузы, бабьи фартуки, плохо сшитые френчи и дешевые платья приливают, сменяются, движутся. И в радостном гуле — праздничное. В самой большой аптеке спешно прячет в подвал хозяин спирт и дорогие лекарства. Объясняет жене:

— На всякий случай, Этинька, на всякий случай!

А служащие в белых халатах гурьбой на улицу высыпали.

— Товарищ, пожалуйста, нам! В аптеке многие прочитают!

Это человек в военной одежде на возу газеты раздает.

— Гражданка, гребеночку потеряли! Растопчут!

— Какая там гребеночка! Ведь с Москвой, с Москвой связь теперь!

— Здравствуйте, Анна Самойловна! Газету получили?

— Да, московские!

— А я в городскую управу... То есть не знаю, как теперь называется... В бывшую городскую управу. Там все учительство... Кажется, опоздала!

— Смотрите, аэроплан, аэроплан!

— Красный!

— Нет, белый!

— Нет, красный!

Бах-бах-бах! Из магазина Сафиуллы Ишмуратова винтовки. Трах-тах-тах!

Из десятка дворов, из-за заборов выстрелы по аэроплану. Дальше, дальше по городу. Грозней перекличка винтовок. Будто каждый дом насторожился. В небо бьет. Город наш, город наш, город наш!

— Прекратить стрельбу!

— Кто-о распорядился? Прекратить!

— Товарищ, прокламашки кидат!

— Все равно, прекратить. Ну-ка дайте. «Большевики наши деньги отменяют, а их бумажки ничего не стоят. Мы вам их даром набросаем. Вот получите». Вот стервецы! Смотри — десятку испортили! Со штемпелями-то, конечно, ничего не стоит.

— Товарищи! Красны флаги приказано убирать с домов! Слышьте! Еще аэроплан!

Ток-ток-ток!.. Бах-бах-бах!.. Ток-ток-ток!..

— Слышите, слышите! Опять пулеметы!

— Наступают? А? Наступают?

Конного военного толпа на углу остановила:

— Товарищ, вот в военном суде у белых состоял. Поймали.

Высокий старик глубоко утянул голову в плечи, будто весь в одежду уйти хотел. Лицо с крупным носом и твердым ртом обмякло. Стало старчески вялым, молящим. Но глаза жили. Горели жутью ужаса.

— Нет, нет... Я — военнослужащий.

Конный отмахнулся рукой:

— Трибунал приедет, разберет. Чего стараетесь? Вон в тот дом отведите. Да не трогайте!

И поскакал дальше.

Толпа со стариком на тротуар подалась. Прижала к дому Македонского. На хутор назад было спешил. Справочку дали такую: еще ничего не известно. Может, и жива Лизонька... Да вот застрял... Что-то радостная суматоха города тревожной сменяется. Орудия за городом забухали. Надо у Митрича переночевать. Завтра уж домой. Хорошенько разузнать. Свои ведь пришли.

А наутро грозней уханье орудий. Чаще и дольше отдаленное токотанье пулеметов. На улице меньше людей. Тревожны разговоры:

— Будут отступать?

— А мы-то как? А мы-то как?

— Говорят, обозы... Ну, ну, видите — обоз вывозят из города!

— Товарищ, товарищ, эвакуация?

— Погоди, лихоманка, успеешь!

До вечера тревожное недоуменье: что будет? Свистящий шепоток затаившихся в углах. Тех, у кого кровные во Владивосток уехали. Но пусты квартиры в подвальных этажах на окраинах. На улице обитатели их.

— Вывезли обоз?

— Что, товарищ, отступление?

— Аль жалеешь нас? Ждали-то, поди, печенка болела? В газетах-то ваших как честили красных!

— Которы честили, уехали. А наше дело — без вас карачун! Отступаете?

— Увидим. Уйдем, так ненадолго!

— О-о! Тут в день всю привокзальну вырежут!

К ночи стало известно: перерезали путь подходящим к городу красным войскам. Пришедших недостаточно. Придется город отдавать.

Только на рассвете затихла пальба. Будто притомились стальные глотки. А утром на заборах беспокойными пятнами красные листы. Призыв добровольцев на защиту города. На ближайшие копи каменноугольные — жирная степь и угольные богатства таила, — на хутор Шидловского, в железнодорожные мастерские, по всем улицам города клич красных листов. Запись добровольцев на Николаевской площади с двенадцати дня.

Базарный торговец, кривой Степан Федорович, посмеивался:

— На большу площадь записываться зовут! Ай думают — на малой тесно будет?

Вышло — тесно.

С полудня — молчаливой, нахмуренной толпой из железнодорожных мастерских.

Пестрой, бестолковой, шумливой,— с окраин мастеровые, мелкие служащие. На углах кучками любопытные. Люди всякого званья.

— Гляди, прут!

— Попрешь, как в эвакуацию спрятались! Не поглядят, как вернутся!

— Оружья-то не хватит?

— Которы и стрелять-то не умеют!

— Ну, чего буркалы пялите? Вали записываться!

— А бабы, бабы! Тоже воевать?

— Ну, не хайли! Ничо, бабынька, не убивайтесь! Глянь, кака сила.

— Гляди, гляди, копейские, копейские! Мамыньки, да сколько их?

Длинной, звенящей, орущей лентой обоз по дороге. В тарантасах, в телегах, на копейских таратайках-двуколесках, далеко, далеко, не видно конца по дороге.

— Сторонись, сторонись!

— Эй, эй! Ребятишек с дороги!

— Здравствуйте, товарищи! Встревайте войско!

**Вихри враждебные веют над на-ами...**

— А-а-а...

— Эй, влево, влево!..

— Кареты-то больно хлипки у вас! Колесов не хватает!

— Доедем!

— Это танки нашински!

На шум и крик из домов валом. Посмотреть на копейское войско.

— Гляди, гляди: старики!

— А энти-то, мальчонки. Ребятишек пошто в^яли?

— За своими гляди-и...

И за своими не углядишь. Высыпала из десятков дворов и домов бурливая юность. Пятнадцатилетний, низкорослый крепыш ломким от радости юных лет голосом кричал:

— Молоде-ежь, сбор нашему возрасту у реального-о...

— Остановите, остановите детей!

— Черт их остановит! Эти напором!

— Садись, мелкота! Подвезем!

— Товарищи копейские! Меня, меня...

— Товарищи рабочие! Отстоим!

— Вот в энту телегу вваливайся!

**Вста-а-вай, проклятьем заклейменный...**

Толпа с тротуаров к самым таратайкам. Рослый, с буйной кудрявой гривой актер, отставший от уехавшей труппы, звучно кричал:

— Товарищи, това-а-рищи! Великий момент! Картина неподдельного народного энтузи...

— Старани-ись! Орет дуром, патлатый...

— Не путайся под ногами! Вали на площадь!

Гам и гул идущих заглушил угрозу орудий. Бахали снова и упорно. Но в смятенье, в радости, в испуге жители слышат только ревущую толпу. Восторженно кричали все. И те, кого отвага двигала, и те, кому выбора не было: приказа белого начальства об эвакуации ослушались. И те, кого взмывом из дворов и домов захватили копейские.

Приливали и осторожные. Такая сила двинула! Своевременно записаться лучше.

Видимо, город останется за красными. Тогда учтут.

Солнце на небо в этот день осенний выплыло разогретое. Будто тоже поближе поглядеть придвинулось.

Сгрудились у столов на площади. От давки жарче, чем от солнца.

— Не налегай, не налегай! Записывайте...

— Отходи, записанный.

— Куды-ы теперича?

Пбтом, как росой, покрыты лица записывающих.

— Пятьдесят лет? Отдыхай, дедушка! Молодых много.

— В очках? Слабо зренье? Подождите, после позовем, если надо будет.

— Александр Македонский? Ого, имя победное. А, партийный? Свой. Здравствуйте, товарищ! С нами вместе вернулись? Не налегайте, товарищи!

Свой. Единица, в тысячах сосчитанная. Малый ли, щуплый ли, кличка ли смехотворная — в шеренгу! Молодо кровь в жилах от этого... Туман в мозгу. Получал винтовку. Ехал на телеге с копейскими. Даже про Лизоньку забыл.

Три дня у проведенных спешно заграждений, в рядах, в обозе. Стрелял в невидимых. И не боялся, что попадет. Не жалел. Оттого, что почуял себя в шеренге, ^олютел против *тех.* Кто там? Все равно. Палят в нас? Пали! И почуял — и в тихом есть жестокость. От нее, может, больно будет потом. Сейчас — пали!

На третий день, будто устав, разрядили трескотню пулеметы. Сгущались сумерки

осенней ночи. Будто пологом темным задергивались дома. Но на улицах было шумно и людно.

Потный, хилым комочком на коне, ехал по главной Александр Македонский. А впереди два десятка перебежчиков от белых. Как сбившееся, отупевшее стадо. Он один конный, сзади пастухом. Разгладился сморщенный кулачок лица. Глаза будто шире стали. Необычно звонко разливался по улице его тенорок:

— Вот пятая партия! И чего бы сразу? Говорим, говорим вам — сдавайтесь! Ну, русским языком говорим — сдавайтесь! А вы третий день палите! Говорим, а они палят, они палят! Ну, чего палите? Чего палите? Э-эх, товарищи! И товарищами-то вас стыдно называть!

Задний, бородатый, коротенький, отозвался мирным баском:

— И то гуртом гонишь. А ты кака вояка? А гонишь.

— А третий день чего зря палить? Сказано: власть советская! А вы в ее палите! Тоже — товарищи!

«Гуртов» прогнали десятки. Покачнулся строй там, за городом, у врагов. На бревнах у штаба без охраны сидели «пленные». Терпеливо ждали возможности зарегистрироваться. Просили все более редевшие кучки любопытных женщин:

— Слышь-ка, бабочки! Хлебца приволоките! Поди долго еще сидеть.

Уходили и сами за хлебом. Снова возвращались.

Кончилась пальба. Победно взметнулись

:-а домах красные флаги. Усталые красноармейцы парились в городских банях. Опять прошумели телеги и таратайки копейских.

Александр Македонский на хуторе раз пять за день принимался семье рассказывать:

— На коне это я... Я им высказал хаарашо!

До смерти воспоминанье об этом случае грело, когда в мозгу воскресало.

## VI

В городе одну улицу, когда по-новому переименовывали, назвали: улица Елизаветы Македонской.

На деле попалась. Замучили белые в тюрьме.

Младший Македонский, Митенька, перед товарищами гордился:

— Нашей Лизе целую улицу отдали.

А у отца еще одну глубокую бороздку на лбу горе провело.

Мутнее, старше от скорби глаза. Зоркость сдавать стала. Чаще задумывался. Упорно, надолго. Будто точный и строгий подсчет про себя производил. Тогда не слышал, что говорили кругом. Опомнясь, к левому уху руку прикладывал. Напряженно в лица вглядывался. Точно слух проверял и напрягал. На хуторе Шидловского Евдокимычем стали называть. В разговорах о нем сочувствие высказывали:

— Глохнет, сдает! И так неслышный был, а теперь ровно и нет его.

На своем деле не сдавал, но в разговоре действительно его не было. От громкого говора смущался как-то. В городе чаще о нем вспоминали: отец Лизы Македонской. Но рад был, когда в город не звали. На хуторе все копошился. Приказ в газете вышел: отобрать у частных лиц книги. Огромную, небывалую в городе общественную библиотеку создать. Почти в каждом номере газеты писали: «Книга для всех». Лизу острее вспомнил. Как она над книгами... Э-эх, не дотянула, дочка!

На хуторе, в барском доме, шесть шкафов с книгами после отъезда владельцев брошены были. Вместе с другими вещами в дни суматохи растаскали много книг. Македонский по квартирам долго ходил, собирал тихо, но настойчиво.

В парадном доме бывшее барское жилье — одну комнату у заводских выпросил. И часами там сидел: стряхивал пыль с книг, счищал грязь с переплетов, страницы подклеивал, по размеру одинаковые подбирал, название записывал. Рабочие посмеивались:

— Все за книгами? Гляди не спять от них на старости.

В тихую комнату заглядывать любили. Отдохнуть от табачного дыма, клубами висевшего в остальных. Про защиту города вспомнить. Перекличку дням тревожным и радостным сделать. Македонский больше слушал и улыбался.

Но временами разговоры бодрили. Оживлялся и он. Как пленных в город приводил, рассказывал, и как в кафе колчаковскому

лакею морду набил. Рабочие терпеливо выслушивали слышанные уже рассказы. Беззлобно над ним острили:

— Ты поди на табуретку вставал, чтоб до морды-то ему достать? Говоришь, здоровый был?

— А поджилки не тряслись, как вел? Поди задень локотком какой, ты и с коня! В телесах-то у тебя слабо!

Македонский не обижался. Знал, что верят ему. Во все контрольные комиссии всегда выбирали.

На большом районном собрании рабочих Долохин, угрюмый и злой старик, дубильщик с соседнего кожевенного завода, в речи один раз сказал:

— Только и есть, кому поверю, вон плюгашу энтому из шидловских — Македонскому! Старательный и за совестью надзират! Хоть и в служащие выпялился из рабочих, а прямо скажу: одним словом, человек — пролетарии всех стран! Его выбирайте!

Потом долго свои его дразнили: «Пролетарии всех стран». Но любили. Как умеют любить люди, не разрядившие душевную полноту отношения нежными ненужными словами. Разговаривали грубо, но охраняли действенно. Про Лизу на заводе редко разговаривали. Что ж, за какое дело взялась девка, сделала. Так и надо. А старик еще трепещется. Этот нужен.

— Скажи-ка Евдокимычу, коли надо что из городу, приволоку.

— Эй, старик! Паек я тебе принес. Рассиживайся уж над книгами, ваше благо-

родье! Ну, ну, ничего! Спина у тебя хлипкая, а моя дюжит.

Только учитель тихостью его времени возмущался:

— Живете вы, Александр Евдокимович, в бурное время, в революционное, а все тихонький, приглаженный, кроткий. Ну, допустим, вот случилось так: пять человек надо убить, а не то все вверх тормашками! Ну как вы? Нахохлитесь, как воробей, и пусть вверх тормашками?

Заморгал веками Македонский, но глуше и тверже, чем всегда, отозвался:

— Болтать про это не следует. Бахвалиться — это зря. И для меня дело найдется...

— Ну, а все-таки? Ну, а все-таки?

— А вот надо будет, из-за своих и вас прикокошу. И маяться не буду. В такое действие вышли, назад не подворачивайся. А языком то да се — не надо. Прекратите, пожалуйста.

Даже взгляд тверже стал. С учителем после этого разговоров избегал. Нехорошо человеку душу выворачивать — что да как. За что взялся, стой до последнего.

Когда на смену революционному комитету исполнительный уездный выбирали, избрали Александра Македонского в исполком. Три ночи сон от глаз бежал. Кряхтел, кашлял, сомневался:

— Куда? Образование, можно прямо сказать, копеечное. Сноровка тихая... Э-эх!

А в газете отпечатано: *«Заведывающий горуездным отделом народного образования*

*тов. Александр Евдокимович Македонский : быв. заводов Шидловского».*

Даже отчества не перепутали. Отказызался, горячо убеждали:

— Нельзя! Пролетарское око нужно. Вы — партийный.

Один товарищ целую речь сказал про рабочий контроль, про партию. Даже забыл, что о Македонском начал. А у Македонского лицо пятнами и на душе смутно. Никогда не подводил. В отчете всех жизненных дел смело мог написать: выполнил. А теперь? Не по плечу. Образованных людей боялся.

За что взялся, стой до последнего. Надо, так чтб разговаривать? Покряхтел — и будет. В город, в комнатку на окраине, жить перебрался.

Пламенем жарких дней слизнуло жир с города. В каждой квартире, в каждом углу, своими заботами, лишениями, отказами и ранами отпечатано жестокое слово: революция.

Потощали лавки мясников. Легче воза с пшеницей и хлебом. Сосчитаны в печке поленья дров. Усталой, больной, вялой поступью плелись по железным дорогам несогретые поезда. Падали на шоссе, проселках и улицах кони, не вытянув и полегчавшей клади. Ежедневно насыщалась, толстела только одна ненаписанная, но ежедневно людьми читаемая книга — записи близких, взятых жизнью в расход. В учреждениях рядом с дорогими, роскошно обитыми креслами стыдливо кривились трехногие табуреты. На прекрасные письменные столы подавали желудевое кофе в глиняных круж-

ках с отбитыми ручками, с облетевшей облицовкой.

С каждым днем пустей дома, сундуки и чуланы. Серей и смешней на людях одежда. И с каждым днем громче, бурней голоса. Шире планы, толще сметы, дерзостней приказы. И даже тихому Александру Македонскому не страшно слушать на заседаниях коллегии предложения:

— Организовать в уезде сеть передвижных библиотек-читален в количестве шестисот. Приспособить под передвижки автомобили. Назначать заведывающими передвижными библиотеками лиц, по возможности, с высшим образованием.

Читать в сметах школьного подотдела:

— На уезд двести пятьдесят школ. В каждую школу необходимо приобрести по микроскопу. В волостные желательно — телескопы.

Взмывом дерзостных желаний захватило и его, робкого. Заведывающая центральной публичной библиотекой в городе просила:

— Хоть полсажени! Дров! В шубах застываем! Потом, знаете, три воза книг так и не разобраны. Не успеваю. Помощники малограмотные. Нельзя ли кого-нибудь?

А он, сияя тихой улыбкой, рупором приставив руку к левому уху, говорил:

— Вчера на заседании коллегии постановили: в детском отделении библиотеки чтоб особые такие шкафы. Знаете? И чтоб уютно было! Завтра комнатные цветы из дома купца Зайцева привезут. Руководило чтоб знающее лицо!

— Да дров-то...

— Дров... дров?.. Сейчас я попрошу заседывающего снабжением. Посидите минутку! Я сейчас...

И возвращался сконфуженный.

— Двенадцать полен сейчас на салазках привезут. Знаете, я себе на квартиру в зоскресенье в лесу на хуторе нарублю. Как-нибудь, знаете...

Сгасал. Особенно когда приходили с требованием жалованья. Смотрели колющими, ненавидящими глазами. Говорили умело, гладко. Знали, как уязвить. Сжимался в комочек. Беспомощно разводил руками. Понимал: правы. Надо. Но как? А грозных слов, чтоб доказать, что правы и они, здесь сидящие, не знал.

В наробразе его не любили. Машинистка Сонечка фыркала:

— Из-за угла мешком хваченный!

Секретарь коллегии в бороду посмеивался.

— Подпись громкая, а сам — чихни погромче, рассыплется!

Делопроизводительница удачно изображала, как он бумаги читает: пальцем по строчкам водит, губами шевелит, глазами моргает.

— Нет, слушайте, слушайте! Он один раз резолюцию записывал. Ох, умора! Пишет: «канкструкция».

— Да, «канкструкция» мыслительного аппарата у него слаба.

Заведывающая книжным коллектором рассказывала:

— Откопали! Действительно! Пришел

первый раз в коллектор: пальтишко — жена, видно, из старья сшила. Шея женским пуховым платком замотана. Покашлял, помялся: «Нельзя ли ноты во временное пользование? Манечка у меня на пианино обучается». А я разве знала, што это заведывающий? И думать не могла! Говорю: «Товарищ, всем Манечкам не можем ноты давать. Я за достояние государственное ответственна!» Ушел. Потом с записочкой от заведывающего внешкольным подотделом пришел. Я прочитала, кого выгнала, чуть смехом не подавилась! Ну, бобер!

— Зато партийный.

— Так ведь отде-е-лом народного образования! Поймите!

— Ну, он сидит только. Ведь коллегия!

— А в коллегии большинство беспартийных! Они и делают. А то: везде партийные! Да ты партию-то подбери сначала!

Один только раз на защиту его делегатка женотдела, в дошкольный подотдел присланная, вступилась:

— А вы образованные, так показали бы! Все с издевкой! Плевать я на вас хочу! Не желаю!

И убежала перепрашиваться в здравотдел.

Члены коллегии с Александром Македонским разговаривали вразумительно-ласково. Как с ребенком.

— Товарищ Македонский, вот здесь подпись нужна. Это по частному вопросу. Выслушивать вам будет утомительно, а вот мы здесь все уж подписались. Так что ручаемся за необходимость.

— Товарищ Македонский, завтра вам следует быть на открытии клуба на Богаческой мельнице. Вы там, ну, так, краткое приветствие. А речь сказать мы с вами кого-нибудь пошлем.

— Да не бе-еспокойтесь! Авансовый отчет бухгалтерия проверила! бухгалтерия у нас в струнке.

Отношение служащих к себе знал. Но проходил в кабинет, не ускоряя неспешной походки. И под смеющимся взглядом бумажку не бросал. Всегда медлительно, с натугой два раза перечитывал. Только тогда подписывал. В большом строгом здании, среди толстых папок дел, шкафов со специальными книгами, среди обученных, всегда в своем знании уверенных, томился, как заложник от тех, что на хуторе остались. Но изживал свою трагедию один. Никому не жаловался. Что мог и умел, делал.

Являлся в наробраз раньше всех. Опускал свой билетик в контрольный ящик приходов и опозданий. Никто из ответственных работников этого не делал. Тихонько садился за свой стол в кабинете. Приходила привычной ставшая, но все не уходившая мука: сейчас принесут бумаги. Придется томить расспросами секретаря, чтоб понять.

Оживал только, когда пустел наробраз. Уходили служащие. Тогда, раза три пугливо оглянувшись, звонил по телефону на хутор:

— Петенька, это ты? Ну, как у вас? Паек? Я не знаю. Мама велела? Завтра получу.

Но получал после всех. И всегда после

того, как приезжала ругаться жена. Сильно постарела, но грубей и смелей стала.

— Какой ты начальник? Дети в ремках, хлеб на исходе. Дочку уложили... Хучь бы провиант давали! И сами-то с голоду подохнем!

Один раз рассердился. Сказал было:

— Я ее не продавал, дочку-то!

Да посмотрел в злые глаза жены и увидал: от горя ржа сердце сосет. Смирился:

— Завтра получу.

Получил. Даже в губпродком съездил, ситцу выпросил. Ночью долго ворочался и вздыхал.

Просил своих освободить. Строгий партийный товарищ обрезал:

— Вы коммунист? Стыдитесь малодушничать! Каждый из нас теперь должен твердо стоять на посту.

А случившаяся в укоме учительница с хутора Шидловского, Леонтьева, поучительно сказала:

— Твердость пора приобретать, товарищ Македонский. Нам, коммунистам, нельзя растяпами быть.

В партию Леонтьева месяц назад, в партийную неделю, записалась и правами партийными очень гордилась.

Даже двум своим подругам, таким же, как она, женам белых офицеров, исчезнувших с их частями, сказала:

— Мне теперь с вами неудобно поддерживать знакомство. Мое самосознание изменилось.

Македонский ничего ей не ответил, но

-ихие глаза суровей стали. А дома смирил :ебя.

«И такие нужны. Образованная, поможет».

Помогали мало. Приливом — искренние и расчетливые. Но для взятой тяготы пригодных все не хватает. Вот Македонского сменить некому. А время суровое. Доверие только — с партийными билетами. А, с нами связать себя не решаешься? Высчитываешь, отмериваешь? Сторонись! Плохой, да свой. Так и томился в наробразе Александр Македонский.

Оживал, расцветал улыбкою только по субботам. До понедельника — на хутор. К своим. Там, надев женину теплую кофту, рубил дрова, воду носил, в библиотеке, им собранной, возился, рассказы детей своих выслушивал. И эти шустрые вышли. Петенька на собраниях союза молодежи речи говорит. Теперь какого-то учителя на хуторе отыскал. Языку международному у него обучается. С жаром отцу объяснял:

— Знаешь, на этом языке со всеми заграницами можно переписываться! Кружок у нас. Маленько подучимся, заграничным пролетариатам письма пошлем!

Но день за днем привыкал и к наробразу. Хутор помогал. Дети по воскресеньям взбадривали. После поездок веселее голос. Научился и помогать. Неспешно и некрикливо коллегии докладывал:

— Средства на курсы вот так можно отыскать...

И выходило правильно. Только всегда как-то так, что забывали, кем нужный выход

Но Македонский уже сгас. Грустно сказал:

— Средствов не хватит.

Но потом, оживляясь, взбодрился:

— Все-таки мы удумали.

— Правильно! Вот это меня и влечет! Несем тяжелый крест искупления! Целой страной несем за старое, подлое время! А миру бросаем великие идеи! Каемся, платимся!

Македонский смутился, не понял.

— В чем каяться? Какое искупление?

Но слушал восторженную речь охотно. Хоть и половины не понимал. По-своему весь разговор резюмировал:

— Поаккуратней работать надо.

Проект рабочего дворца остался недоконченным. Туши в городе не нашлось. Но -с того вечера подружился Македонский с инструктором Яковлевым. Недоумения свои ему рассказывал. Даже на хутор к себе пригласил. Дорогой посетовал:

— Видать, вы человек правильный. Только в партийности у вас недохватка!

— Вам бы все припечатывать!

— Припечатка тоже для отлички требуется. Ну, да ладно уж!

Помог ему один раз Яковлев. О необходимости самообразования горячо в партийных комитетах заговорили. Объявили на одном собрании Македонскому:

— Товарищ Македонский, подберите книжки, почитайте. Назначено вам доклад о первобытном коммунизме сделать.

Эх ты, вот тут закавыка! Книжки-то книжки, а как поймешь? Пошел с докукой

к Яковлеву. Тот своими словами кое-что на бумажечке записал. В книжечке нужные места карандашом отчеркнул. Прочитать можно. Это умел. Грамоту хорошо одолел.

Но в ячейке все-таки оробел и, заикаясь, предупредил:

— Товарищ Яковлев, беспартийный то есть один, мне тут написал. Я сам маленько недохватил. Вот по его записочке.

Долго смеялись, но прочитать заставили. Оказалось правильно. Петеньке рассказывал:

— Прямо как лекцию отмахал! Теперь все усвоил! Вот я тебе сейчас все разъясню.

Яковлев в другой город уехал. Но Македонский его не забывал:

— Вот спасибо человеку! Первобытный коммунизм со мной проштундировал.

Грозней, стремительней натиск дней. Тех, которых никто не сможет из памяти вытравить. Тех, о которых детям, еще не родившимся, учебники истории расскажут. Тех, что отпечатались надолго на всех российских городах, селах, деревнях.

Вокруг города и в городе было много борьбы, сражений, смертей.

В одну субботу уехал Александр Македонский на хутор и там застрял. Вспомнили о нем, только когда понадобился. В коллегии разногласие вышло. Один голос должен был какое-либо мнение перевесить. Позвонили на хутор. Ответили по телефону:

— Вечером скончался от сыпного тифа.

Перед тем как заболеть, неприятность у него была.

Из дома господина Шидловского попугая в клетке в библиотеку отдали. Ходить за ним библиотекарша не хотела. Македонскому птицу принесла.

— Вот вы восхищались, возьмите к себе! Все равно сдохнет.

Очень птице ученой Александр Македонский обрадовался.

— Попочка, а ну скажи: дребедень!

А товарищ Леонтьева, учительница, с библиотекаршей из-за военкома поссорилась. Донос на библиотекаршу написала, а заодно и на Македонского.

Общественного попугая украл.

Допрашивать приходили. Весь вечер, после ухода разбиравших дело, жаловался:

— Очень принизительно! Эх ты, замарали как!..

На другой день и захворал. И уже не встал. Жалели на хуторе, а посмеивались:

— С перепугу поди и помер-то.

В городе, в ячейке, один сострил:

— Так и скончался наш Александр Македонский в первобытном коммунизме.

На кладбище провожали его заводские огромной строгой толпой. Флаги склонили перед тихим, теперь затихшим совсем. Нескладную отрывистую речь пожилой рыжеватый рабочий говорил. Короткую:

— Так что, товарищи, правильный был человек! Работящий. Можно прямо сказать: себя окупил, не задарма на земле прошлепал!

# ВИРИНЕЯ

## I

На сорок девятом году жизни Савелия Магару растревожил бог. Сразу, хваткой за сердце нежданной. В нехороший полночный час проснулась баба Савельева, глянула кругом по избе и охнула испуганно:

— Чтой-то ты, Савелий? В нутре схватило, што ль? А? Лик у тебя больно темен. Я и то проснулась, чисто в бок кто толкнул. Гляжу: и свет в избе не в час, и тебя на кровати нет. Чего ты? Занедужил, а? Вон тамо-ка, на божнице, вода свяченая...

Савелий глянул сурово из-под нахмуренных бровей потемневшими серыми глазами, широкой рыжей бородой повел, передохнул так, что большие, крепко сбитые плечи всколыхнулись. Прервал глухо:

— Не мешай! Виденье мне сейчас было. Неизвестного имя и какого перед богом чину — мученичьего ли, али преподобинского — не знаю, но угодник мне явился... Стоит вот тут, будто у стола, и кличет сердито: «Савелий Астафьев Магара!» Хил и росточку малого, немудрящий такой, а голос — ничего. Голосом на земского схож. Я со сну-то спервоначалу и не разобрал, что от бога это. Думал, по земному делу расход. Тишком себе в бороду изругался крепко: что ты, думаю, пралик тебя за-

шиби, как это на меня земского нанесло? А внутре-то уж чую, что не земский. Чисто лед по кишкам, захолодал с нутра и по коже прямо пупырями дрожь.

Не столько самые слова, сколько обилье этих слов испугало старуху. Неохотлив он на разговоры, тяжелый у Магары язык. А тут вон как высказывает.

— Ах-ах, мамыньки! Свят, свят, свят! Владыко, царь небесный, господи!.. Слышь-ка, а може, то не угодник, а Стрепетихи-мордовки навод. Человек ты перед богом не заслужоный, не молитвенник. С чего к тебе угодник затрудится, пойдет? Помолись да прочитай молитву хорошу. Вот: «Да воскреснет бог, и расточатся...»

Савелий цыкнул сердито:

— Не верещи поганым бабьим языком! Тише, ты! Молодых в передней горнице разбудишь. А это дело тайное пока. Тебе сказал потому, что с тобой все грехи мои вместе нажиты. Угодник, тебе говорю, богово имя поминал и приказал мне молиться с натугой, старательно. Бог в меня перстом ткнул. С того и холод в нутре. Три раза виденье было.

Старуха заахала, кофтенку накинула, платком голову прикрыла и закрестилась часто, испуганно:

— Божа матушка, троеручица! Господи, батюшка! Свят, свят!..

— Погоди, не мешай! Не лезь бабьей плотью вперед, не погань мою молитву. Сичас сам молиться зачну.

Встал, тяжело согнул большое тело,

упал на колени и бил поклоны до солнца восхода.

С той ночи и повредился сердцем мужик. Оно и раньше у Магары тяжелое было. Глаз редко веселый был и смеяться не умел. Гмыкал глухо в короткий веселости миг. А года в три раз накатывало: вином по долгому сроку зашибался. Во хмелю буйствовал. Крушил, ломал, бабу и детей своих жестоким боем бил. Старшей дочери в ухе слух перешиб. Так и осталась на одно ухо глухая да пугливая. Часом заговаривается вроде дурочки. Но отводил срок, и остальное время правильно жил. Люди уважали за крепость хозяйственную, за добычливость. А теперь совсем по-другому все поворотил. Большое хозяйство на зятя, за младшей дочерью в дом взятого, бросил. Глядя поверх головы зятевой, сказал ему веско и строго:

— Ты меня теперь по хозяйству не замай. Как хочешь верти. Хочь еще копи, наживай, хочь по ветру развей, коль кишка не вытянет. А мне теперь не то указано. Молитву строгую и пост должен справлять. В грех меня не вводи с расспросами.

Дочерям, в другие села замуж отданным, дали весть. Они спешно с мужьями приехали. Баб в избу набилось — не продохнешь. Судить, рядить, ахать принялись. Савелий грозно ногой топнул, закричал сердитым зыком и ушел из избы. За селом землянку себе сложил. Зимой в ней молился, а летом — на камне под горой. Пропитанье скудное, по его приказу, семья ему носила.

В Нижней Акгыровке сперва дивились,

а потом почитать Магару стали. Главное дело — и перед богом хорошо: замолит за своих-то однодеревенцев, и перед людьми лестно. Первый угодник из мордовско-русской части деревни Акгыровской. В округе люди богом зашибались и до Магары. Но больше сектанты да кержаки, до веры лютые. На горе, в той же Акгыровке. А Нижняя Акгыровка насчет крестин, венчанья, похорон во грехах исповеди исполняла, что требовалось, но с прохладцей. Без ретивости. Курайгинского прихода были, за пятнадцать верст село. И рекой без моста отделено. Свою церковь не поставили, а в кержацкую моленную на гору не пойдешь. Когда река мешала, когда по крестьянскому делу недосуг. В церковь не попадали подолгу. Курайгинский поп с амвона в строгом проповедном слове баб акгыровских на весь приход ославил: молитву очистительную после родов не на сороковой день, как по уставу положено, а ко вторым родинам приезжают брать.

Так и ходила Нижняя Акгыровка по богову делу в последнем счету.. А тут вдруг сразу: старатель перед богом свой. И в соседние волости далеко о Магаре слух прошел. С каждым годом в молитвенном деле он все больше укреплялся. На третьем году молитвы, когда на камне от коленок Савельевых даже отметины углубленьем обозначились, стал ему бог в виденьях во всяких являться. Предсказывать Магара начал. Один раз з село в праздник пришел, на улице старикам объявил:

— Небо трясется! Вам не видать, а мне

открыто. Народу больно много на земле развелось: дышат и трясут. Виденье мне было: колготит народ, на подводах на многих куды-то едет, пехом друг за дружкой тянет, с бабами, с ребятами, с барахлишком со своим. А царь белый, русский, нашинский, сидит на престоле, ногами об пол сердито стучит. Не иначе, война будет, чтоб отбавить народ.

И вот через два на третье лето предсказанье Магары вспомнили акгыровцы.

Отыграла заря багровым огнем, указав тем цветом ветер на завтрашний день. Но темень ночная в тихости расползлась над землей. Плыла прохлада от реки. Тянула с собой на деревню дымок костров приречных жителей, на воле сготовивших летний свой ужин. Пахло во дворах парным молоком, свежим сеном и дегтем от колес. Народ с вечерней разминкой готовился лечь на покой. Замирали в постепенных переходах от шумливого дня к затиханью в ночи звуки во дворах и избах. Вдруг, вздымая по улице тяжелую на подъем вечернюю пыль и яростный собачий лай, проскакал на маленькой запаренной лошаденке длинноногий мужик. На скаку он махал палкой с красным лоскутком. Старостиха со двора увидала. За мужем в избу кинулась:

— Айда скорей! С красным лоскутом верховой из волости. Стало, за рекрутами. Господи, батюшка, что это нежданно-негаданно...

Всю ночь беспокоился народ и в низине, и на горе у кержаков. К Старостиной избе, в Нижней Акгыровке, фонарей нанесли. Ко-

лыханье слабых огней в густой июльской темноте было беспомощным и тревожным. Мигали в окнах лампы и светцы, непривычные в летние ночи, в избах светил жар неурочно затопленных бабами печей. По деревне ширился, нарастая, разноголосый шум. Визгливый бабий крик, терпкое причитанье старух, заливистый плач перепуганных суматохой детей, глухие возгласы стариков и крепкая брань молодых мужиков.

Кержаки на горе к конторе, где жил чернявый инженер с постройки железной дороги, сбились. У него по проволоке разговор через трубку на стене был. Разъяснял:

— Германия получит достойное возмездие! Очень скоро получит!

А в нижней части расспросить было некого. Школа с заколоченными ставнями стояла, и учитель на лето уехал. Староста, сдабривая крепким перцем ругательных слов неохотливую медлительную возню свою, шарил в сундуке. Служебную бляху искал.

Старостиха тонким жалобным голосом, со всхлипом, нарочного кривоглазого расспрашивала:

— Ас кем война-то? Далеко ль угонют?

Кривоглазый, почесывая запотевшую спину, отвечал неопределенно:

— Ровно с Ерманией, а хорошень не разобрал. Некогда было! Старшина сам меня с крыльца столкнул, чтоб без роздыху гнал. Видишь, дело-то какое повернулось: чтоб завтра к полдням в город призывники нашинские. А до городу двести верст. Не то к полдням, а к ночи не поспеть. Хоть приказ и на подставных подво-

дах везти. Ну, наши мужицки каки подводы! Да еще в летню пору, в рабочую!

— Где поспеть! В волость-то тольки-тольки могут к завтрему, к полдню.

— Ну, так и норовят. Но чтоб в волость обязательно!

— И сроду не видано, не слыхано — без проводин перед царской службой, без разгул ки.

И завыла горьким голосом:

— Сыночек ты мой, Митенька! Роженый, хоженый, да куды тебя забирают в ночну пору чижолую? Да на кого ж ты спокинешь супругу молоду-у свою и наследничка своего — дитя малое? Сестер, братьев, отца-батюшку и мене, родительницу твою горьку-ую...

Страстное короткое рыданье прервало старухин, тягучий, по обычаю, плач. Настасья билась головой в грудь Митрия, вцепившись пальцами в его опущенные плечи. Митрий смешно поводил шеей, будто теснил воротник. Старался оторвать бабьи руки и нарочито сердитым голосом унимал:

— Отцепись! Завы-ыли! Чего раньше смерти отпеваете? Ну-к, собирай на стол. Печь-то выстыват. Айдате пеките, чего там затеяли!

Староста с натугой поднялся от сундука, поглядел на сына замутневшими глазами и буркнул:

— Буде, бабы! Айда, давай водочки. Там сколь-то было. На царску службу с песнями, с гульбой провожать, а у нас один вой.

Но ни песен, ни гульбы в эти проводины не было. Уходили без удалости, без храб-

рящего хмеля царской водочки. Кабака казенного в селе нет, а у шинкарок на всю деревню мал запас оказался. Не дал буйного в напасти веселья. Из печек, не в час затопленных, тож не сладки подорожники вышли. Бабы в горькой слезе стряпали, плохо доглядывали.

Только солнце встало, подводы со дворов двинулись. Народ на улицу высыпал. Появился в деревне Магара. В длинной домотканой рубахе до колен, в старых грязных портах. Встряхивал сердито блеклой рыжиной волос с мутной сединкой, шел с подводами сбоку. Далеко по дороге надрывный бабий вой стоял. Старик Федот батожком по дороге стучал, шел рядом с Магарой. Говорил ближним на подводах:

— Поди ненадолго война! Ничего не слыхать было. Про стары войны загодя слух приходил. Солдатов с эдакой спешкой не сбирали. Это так, поди для нутреннего усмирения под царя. Не войте, бабы, как я смекаю, скоро мужики воротятся.

А Магара зычным голосом, далеко слышно по подводам, объявил:

— Надолго война! Народу хрестьянского много в русском царстве развелось, земли не хватат! Пока весь лишок царь не переведет, война не кончится.

И опять по слову по Магаринову вышло. Вторая пашня подходит, а здоровые мужики царевым делом маются. З своих хозяйст-

вах — бабы, старики, из молодых только -елом неправильные да чужаки нанятые. Ко--орые из богатых откупались было, но позабирали и их. Хоть не на самую войну, а все от дому.

Повитухе Мокеихе акгыровские бабы позавидовали. Вернулся к ней сын по весне. Невысок, узкоплеч, щеки в обтяжку, перхает часто, как давится. А все свой мужик, для хозяйства как-никак старается. И не то, что без руки, без ноги. Хиловат, а без видимого повреждения. Низенькая, пухлая бабка Фекла, соседка Мокеихина, часто, вытирая рукой ласковые слюнявые губы, говорила ей слащаво через плетень:

— И жить тебе, бабка, только бога благодарить. Сын пришел целехонек, и слуху нет, что заберут. А уж всех позабирали, зсех! Старики остались да совсем трухлявые. Твой-то еще хорошо пыжится. И кралю вон каку без венца заполучил. Ничего, значит, еще сок в мужике живет! А то из наших деревенских молодого-то и не увидишь. Все седые да недоросточки. Когда рази эти казенные жеребцы, анжинеры, дороги постройщики, пройдут аль пленные, австрийцы эти хилявые. А нашинских соколиков нет. Не-ет! В других деревнях хучь подранки крепкие, а у нас тоже наперечет. Васька-то, сказывают, на дорогу нанялся? Ай так, на раз взялси за дело?

Мокеиха, снимая старенькие порты с плетня, неохотно ответила:

— На раз. С гумагой какой-то в участок пошел.

В избу поторопилась уйти. Знала и боя-

лась, что на Вирку-молодуху соседка разговор переведет. А уж неохота покор-то людской слушать.

Забурлила в степных логах вода. Не берет конь дорогу. Но по холмам есть для пешеходов узкие ненадежные тропочки. Польстился Васька на хорошую плату. Письмо от инженера с постройки в участок за восемь верст понес. Десятку инженер посулил. Деньги у господ не лежат тишком в кармане, легко шевелятся. Не то что мужичьи несворотные. Очень просто, к десятке еще и прибавит чернявый этот барин. Как начали дорогу строить, вся округа от них пользуется. Но что-то больно долго Васьки домой нет. Инженеру, видно, и впрямь дело срочное. Сам на Васькин двор пришел. Мокеиха в окно увидела, из избы навстречу выбежала. Поклонилась искательно в пояс и певучим голосом спросила:

— Поди из-за моего сына потревожились? Ах ты, господи батюшка! Забота вам, видать... По нашей по улице в этаку грязищу ходить и мужику-то неохота. Вот грехто: нету еще его, нет! Уж не гневайтесь!

Инженер хмыкнул и форменную фуражку досадливо на голове подвигал. Старуха еще ласковей успокаивать принялась:

— Он скоро... Вот-вот вывернется! Он у меня шустрый, зря валандаться не станет. Мигом обернет. Ноженьки-то молодые, резвые.

Инженер прикусил черный ус, помедлил и сердито сказал:

— Не скажу, чтоб очень резвые. Или утром долго проспал? Если бы вышел на

рассвете, как обещал, так уж вернулся бы.

— И ни-ни, ни-нишеньки, никак не проспал. Не сумлевайтесь, право слово, не проспал. Ране петухов вышел. Как можно проспать, коли хорошему человеку посулился?

И уже искренней, голосом посуше, погрубей добавила:

— Сам поди обернуться торопится: издрог, измок и не емши.

Василий не только ответ от начальника участка, еще табаку должен принести. Инженеру очень хотелось курить, а ни табаку, ни папирос нет. В этой дыре и купить нельзя. Поэтому он злее, чем хотел, старуху оборвал:

— Как придет, немедленно пусть ко мне.

И осекся. Женщина во двор вошла. Измельчал народ. Красивость женская стала мелка и лукава. От одежды, от старанья зависит. А эта и в узких для нее, линялых обносках городских сановита. Безразличный на них со старухой взгляд кинула. У инженера этот взгляд больших, но не круглых, с жаркой золотинкой глаз странно в сердце отдался. Точно давно его глаза встретить такой вот взгляд желали. Сразу и надолго, с удивительной щемящей радостью запомнил легкую смугловатость, румянец редкой неяркой краски, губы такие же неяркие, будто нецелованные, строгость четких бровей и тускловатую рыжинку коричневых гладких волос. Ноги со двора не пошли. Замялся. Нерешительно, почти смущенно, сказал:

— Я, пожалуй, у вас подожду. Вероятно, он скоро придет.

Старуха неохотно отозвалась:

— А как желаете! Дело-то уж к ночи, должон прийти.

Из избы опять та женщина вышла. Полное ведро помоев вынесла. Сказала недружелюбно:

— Посторонись, барин, оболью.

Старуха спохватилась:

— Ну, дак в избу не то пожалуйте. Не красно у нас, да чего же на дворе-то стоять? Айдате заходите.

Чувствовал, что лучше бы уйти, но безвольно за старухой в жилище вошел. Негромко и с запинкой спросил:

— А это что же... дочь ваша, что ль?

Старуха поджала губы. Сказала сухо:

— Сынова баба...

И, не сдержав злобной горечи, добавила:

— Невенчанная. Так держим. Антипа-кержака слыхали? Его племянница. Из такого-то дому да на нашу хилость позарилась. К Ваське сбежала. В городу без закону три года валандались. Нынче только недели две, как сюда обернулись. Срамоту-то свою к матери в дом принесли. Теперь, может, и обзаконятся, а сейчас от людей нехорошо. Отроду не слыхивала, чтобы в семье в нашей такой срам разводился. Побаски тут всякие про нее, про Вирку-то. Я к тому, что поди и вы слыхали? Добрая-то слава лежит, а дурная-то не то бежит, лётом летит.

И спохватилась:

— Айдате проходите, вот тут садитесь.

Фартуком смахнула что-то со скамейки перед столом в переднем углу. Шершавой рукой по деревянному чистому столу провела. Унылыми глазами всю тесную низенькую избенку обвела. Прибрана, а все для господина неподходяще. Вздохнула и отошла к сторонке. Инженер сел. Ему хотелось еще расспросить, но стеснялся. Мусолил вялые фразы о дружной весне, расспрашивал неумело и непонятно о хозяйстве. В глаза обидно лезла деревянная, с засаленным лоскутным одеялом кровать. Неужели та, строгобровая, на ней спит?.. И не одна... Опять встревожился, когда вошла. Почему-то счел необходимым пояснить:

— Хочу у вас подождать, пока ответ принесут. Я вам не помешаю?

Криво, неласково усмехнулась:

— Скамейку не просидите поди. А нам какая помеха?

Сняла с полки грубый шерстяной чулок, села спокойно у окна и принялась вязать. Старуха работать при важном госте не решалась. Сидела, сложив на коленях стесненные праздностью руки. Инженер барабанил пальцами по столу. Ужасно неудобно и стеснительно это молчанье. Кашлянул и неуверенно спросил молодую:

— Вы не здешняя, кажется? Я не знаю вашего имени...

Она посмотрела искоса и засмеялась. От блеска белых зубов, от ясности открытой улыбки юней и проще лицо стало. А у инженера на лице отсветом глуповато-радостное восхищенье.

— По-кержацки зовут: Виринея. У нас

свои святцы. Чтой-то вы, барин, до меня больно с антиресом? Ты с мамонькой поговори. Она жила дольше, и разговору у ей больше. А лучше шли бы вы домой, в чисту горницу, чем в нашем закутке дух наш мужичий нюхать. Принесет Василий, что надо, мы к вам доставим.

И с новой, чуть лукавой усмешкой добавила:

— Я принесу.

— Да, да, пожалуйста. Я за беспокойство заплачу. А то, действительно, долго, пожалуй, ждать. Я далеко живу. Там, на горе. Но вы уж, пожалуйста, потрудитесь. Ваш муж, вероятно, вернется усталый, ну так вы или кто... Пожалуйста, уж принесите или пришлите.

Старался говорить просто, голосом строгим, но глаза волненье и обиду выражали. Слово «муж» с запинкой выговорил. Виринея учуяла. Бросила косой взгляд на старуху, потом сухо инженеру сказала:

— Кто ни на есть, а пакет доставим. Не на даровщинку, — знамо, заплатите. Эй, погодите-ка!

В окно Василия увидела.

— Притащился! Чуть ноженьки волокет. Сейчас отдадим, что принес.

К двери пошла. На ходу оглянулась и сказала строго:

— За эдакую ходьбу и без доставки прибавить надо. Другой и за четвертную бы не пошел. Шутка ли, по склизкому берегу да по студеной воде...

Инженер торопливо бумажник вынул, но Вирка ушла из избы. Старухе сунул лят-

надцать рублей. Та назад даже подалась. До испуга обрадовалась. Залепетала льстиво и тоненьким голосом:

— Уж мы вам вдругорядь когда расстараемся. Заслужим уж... Покорно благодарим. Когда надо, только кликните.

Стояла и кланялась. А сердце к сыну тянуло. Уходил бы барин скорей. Сын, посиневший, издроглый, вошел. И сразу на припечку опустился. Долго в нудном кашле корчился. Меж кашлем невнятно выговорил:

— За-адрог. Ви-ирка, отдай барину... Вот пакет, а вот еще... Подмочил немного, в воду осту-упился.

Затомился новым приступом кашля. С натугой мокроту в кулак выбил. Инженер на него не смотрел. Только, когда вошел, худобу и тусклость его с бессознательным успокоеньем отметил. Когда посылал, и не поглядел, что за человек. А сейчас увидел. Мокрый сверток от Виринеи с улыбкой принял:

— Ну, ничего. Что ж, трудно по такой дороге сберечь. Тут табак, его просушить можно, а гильзы у меня еще в запасе есть. Ну, письмо тоже разберем. Немного смазалось написанное, но, к счастью, немного. Спасибо, спасибо!

Виринея бровью повела:

— Это за табаком в такую дорогу человека гоняли?

Покачала головой:

— Ну, и нетерплячее у господ нутро! Чего захочет, через нельзя достань да подай. А то замается, ровно от заправдишной нужды. Вот как из-за этого табаку... Деньги-то он заплатил? Кому отдал?

Старуха сердито крикнула:

— Дадены деньги, дадены. Вот у меня. А ты бы спасибо сказала за господскую за доброту.

— Страсть добёр! Васька-то опять пластом лежать будет: застудился.

Инженер рассердился:

— Ну, это уж не моя вина. Всего хорошего. Спасибо.

Быстро из избы вышел. Подумал про Виринею:

«Видавшая виды... Корыстная...»

Но ночью приснилась. Таким жаром проняла, что сон прошел. Вышел на крыльцо и до зари слушал тревожный вешний гул. Был деловит и строг к себе. Гимнастику делал неустанно, жизнь размеренную вел. С женщинами мало возился. По необходимости. В городе связь разумная и чистоплотная была. Здесь, здоровье оберегая, охотливых солдаток опасался. Отпуска ждал. Страстность же делу отдавал. Честолюбие считал возбудителем благородным и хорошо карьеру начал. Только вторая постройка, а он начальник дистанции. Теперь скоро достроят эту дорогу. Война отняла рабочие руки и средства. Но теперь уж к концу..Но торопиться теперь в город нечего. Срочная постройка освобождает от войны. Любовное безрассудство за нечистоплотную распущенность почитал. И раньше случались внезапные вспышки при виде женщин желанного облика. Но глушил их быстро. Не было нынешней хватки тоски. В эту уже тридцать первую весну свою, еще до встречи с Виринеей, мечту о женщине своей и

неиспытанно желанной узнал. Последнее письмо к той, что в большом городе, даже необычно чувствительным вышло. Одиночество и обстановка действовали.

В охвате впервые тревожимых взрывами холмов лежала незаезженная, мощно плодородная степь. Изначально полным томленьем дышала веснами ожидавшая зачатья земля. И скот и люди — все живое жило здесь в мудрой верности исконному закону бытия: родиться и жить, чтобы родить. Дать плод земле и роду своему. Оттого в молодом и здоровом не по хилому неизбежному блуду городскому затомилась кровь. Встревожилась властным желаньем целостной, в одно соединившей душу и тело, страсти. Той, что творит жизнь. Чутьем, от зверя в человеке сохраненным, учуял томленье по такой страсти и у Виринеи. Хоть не думал об этом словами и не знал, что чует. Просто: скорей надо видеть ее, надо дышать близко около нее. Сорвался с крыльца и пошел. Долго кружил около избы Виринеиной. Был уже поздний предрассветный час. И даже парнишки молодые, рано в войну гулять начавшие, ушли с улицы, скрылись, Только лай собачий тревожил глухой этот час. Белесый, холодный рассвет будничной трезвостью хмелевое ночное прогнал. Быстро к себе в дом возвращался. А ночью немного опоздал. Увидал бы у плетня Виринею. Она с вечера медлительно укладывалась. Долго поправляла изголовье, вставала, всматривалась в окна, темнотой весенней ночи завешанные, по избе ходила, точно металась.

Старуха на печке злобно охнула. Глухо заворчала:

— Чего ты по избе крутишься? На грешную душу и сну нет! Васькин сон тревожишь. Отмахай-ка поди по вешним-то по логам. Да и об моих об старых костях другая бы совестливая подумала. Покою хочут! А тут только глаз заведу, стук-стук, хлоп-хлоп! Уж как уродилась шалая, дак во всем не по-людски. Аль на гулянку, на улицу, тянешься? Ну, и уходи. Известно: венцом не покрытая, всем охочим молодцам открытая.

Виринея негромко ответила:

— Не буркоти, баушка! Проберешь до нутра, не возрадуешься. Не то на гулянку — совсем убегу.

— Ах, застращала! Ровно сватами выхоженная, сношенька желанная. Сама, чисто сучка, под ворота подбегала. Сперва, может, по другим подворотням натрепалась...

Виринея смолчала. Тишком затаилась на кровати. Но старуха думами распалилась. Кержачка эта непутевая в дом ни богатства, ни почета не принесла. Один грех и обиды. Антип и посейчас не забыл, как ему ворота дегтем за племянницу вымазали. Вредил Ваське и заработок от него отшибал. Васька и столяр, и маляр, и печник, да незадачливый. Один сын из всех роженых у бога отмолен. Троих чуть не в одночасье горловой болью себе убил. Четвертого свинье дозволил слопать, когда мать на жаркой работе замедлила. А вот этого от цепучей от смерти «отходила, от боговой от лютости отвела. Оттого в сердце материном, как веред, живет. Никому, и себе самой, не дозво-

ляла тронуть небережно. Что крестьянством своим природным не занялся, в город, как вырос, ушел,— простила ему без жалобы. Что в городе, кроме щиблет городских, жилетки да цепочки от часов позолоченной, ничего на нажил,— не похаяла. Одна в хлипкой избенке бедовала до первого его прихода из города. Радостью, что жив моленый, хоженый, глаза свои завесила. Не корила его хилым обличьем. На слабосильный заработок не пеняла. Об его куске сама в повитухах, да для покойников чужих умелым провожаньем, да заговором зубной боли старалась. Жили, пропитанье находили. И слава тебе, господи, владыко милостивый! А вот Вирка к парню припаялась, не стало часу для сердца легкого. В грех незамолимый Вирка старуху ввела. Сразу-то не сказала, что без божьего закону три года с Васильем путаются. Иконой, как честную, венцом покрытую, на радости от прихода сына благословила. Теперь обида сердце свербит. Кума по всей деревне рассказала:

— Мокеиха-то, повитуха, сынову... иконой сустрела. Смеху-то над ей! Не откстить теперь!

Да уж в такой срамоте хоть бы тихая, покорливая была, а то никак никому не сдаст. Ваську-то она извела. От эдакой от лихости двужильный изведется. И бога гневит, на иху семью гнев его притягивает. Лба сроду не перекрестит. Старуха уж пеняла и стращала. А она с усмешкой, будто про веселое дело:

— У вас бог православный, креста моего староверского не примет.

Прислушалась к трудному и во сне дыханию сына, представила себе рядом лежащую здоровую Виринею,— ненависть варом сердце обдала. Неправильная баба! Сразу видно, что гулёна. Здорова, а спокойной полноты бабьей, расплывчатой нет. На безмужнюю похожа подтянутым телом и несмякшим лицом.

Завозилась сильней старуха. Скрипучим от злобы голосом снова завела:

— Поганому-то брюху и плода бог не дает. Четвертый год с Васькой... Допрежь с кем сколь, не знаю, а с этим четвертый год, и дите не родила, и посейчас порожняя.

Виринея прыжком с кровати. Васька завозился, застонал:

— Куда ты, Вирка? Что тебя спокой не берет! Спи!

В кашле скрючился.

А она неожиданно звонко для обычно затаенного некрикливого голоса своего вскрикнула:

— Помолчи, старая! Уж лучше не носить детей, чем такого, как тзой, выродить! Тошно мне маяться с Васькой-то твоим! Дых из роту из его нюхать смрадный, да как руками склизкими ночью лапает — терпеть... Днем вспомню, кусок глотать неохота.

Васька кашлем будто подавился. Простонал:

— Ви-ирка!

И смолк. Виринея^с большой тоской и страстью, быстро нанизывая слова, говорила:

— Ты, баушка, несладкое бабье-то пойло уж дохлебываешь. Знаешь: короче курино-

го носа счет бабьим радостям. А я вот молодая, а тоже это узнала. С того и не на всякую обиду твою отвечаю. Жалею. А ты меня не пожалела, проняла! Дак я тебе скажу: а ты за какой грех эдакого гнилого родила? Я для глазу сладкая и телом крепкая, а четвертый год хожу пустая, чисто порченая! Другие-то и дурные есть, и ледащие, а отросток от тела от своего дают! А я с опостылым маюсь не для веселья, а для роду веточки! Доктор в городу сказывал: и чахотные родют детей. Про Ваську же так: не то чахотный, а и по мужичьему делу схилел. Не будет уж, говорит, у вас с им роду. У меня, бабка, сердце на слезу не охотное, а тут я заплакала. Что ж то, что в нужде, что ж то, что по счету кусок? Я бы на дите добыла! Жилы вытянула бы, а добыла бы. Другие бабы в городу на пустое брюхо с завидкой, а я, как мужичка коренная, знаю: и собака щенка с радостью лижет, обихаживает. А я одним-одна. Кручу, верчу, спину гну для гнилого, для немилого надсаживаюсь. Чем взял? Ну, чем похвастаешь в сыне-то в твоем! На работу, что ль, удал? Э-эх! Так дышит, для копоти!

Оборвала, словно словами задохнулась. Васька захрипел:

— Будет, будет... Скажи тишком. Сколько раз попреки твои слушал, еще послушаю... Не вереди Виркино сердце. Она и то с тобой покорная. И сейчас не со зла она... Вирка-а, ложись! Спи! Не со мной, ну, на лавку ляг! Все переговорено, перетерпи!

Кроткий, молящий голос Васькин хуже ножа острого для матери. Он еще перед

эдакой перед охальницей пригибается! В смешной и жалкой торопливости с печки полезла. Слезая, кричала:

— Сама... Сама ведь к Ваське ночью прибегла! А кто велел тебе? Прибегла, змеей вползла, а теперь мужика порочишь! Чего же глядела раньше, беспутная? Да я тебе глаза твои бесстыжие выцарапаю, коль ты слово такое еще скажешь! Вре-ешь! Бре-ешь! За беспутство твое, за грех за твой бог дитю в утробе быть не дозволяет.

Подступила старая, в беспомощном гневе трясла головой с седыми, жидкими, растрепавшимися без повойника волосами, вытягивала руки с костлявыми пальцами. Лица старухиного Виринея не видела, но руку ее поймала. Негрубо в сторону отвела, хотела даже тихим словом успокоить. Но Васька с кровати заругался на старуху:

— Зачем ты в наше дело путаешься? Чего тебе надо? Отжила свое и спи на печке! Чего промеж мужа с женой вредишь?.. Уходи сейчас! Не смей до бабы до моей касаться! Пальцем тронуть Вирку не дозволю!

Со злостью, вновь вскипевшей, Вирка крикнула сильно и зло:

— Молчи, гнилой!.. «Пальцем тронуть не дозволю!» Самого-то пальцем покрепче двинь, дак и дух вон! Опостылел ты мне. Будет! Кончилось терпенье мое. Как сама, по своей по воле, прибегла, дак крепко слово свое блюла: три года не уходила. Тоже... с заступой со своей. Лежи и дохни! Никому не нужен. Даже на цареву войну и то не годен!

— Виринея!

— Што Виринея? Двадцатый год Виринея! Упомнила кличку-то свою. Сама завязалась, поп не крутил, богу не кадил, за меня не вымаливал, штоб по чести с мужиком с одним себя блюла! А я блюла! От пригожих да от здоровых отмахивалась. Все из-за слова из-за крепкого из-за своего! Сама в жены навязалась, с того и жила как жена. Теперь отбатрачила! Будет! Кончилось терпенье мое! Догнивай! А я здоровая — в могилу с собой все одно не утянешь. Не хочу! Пускай мать свое роженое выхаживает. А мне уж больше неохота. Часу веселого нету для молодости для моей. Уйду!

Хлопнула дверью, во двор выбежала. У Васьки сразу силы явились. Быстро за ней.

— Вира... Виринеюшка!

Долго хрипел, упрашивал. Дрожал всем телом согнутым, уж меткой смерти помеченным. Зубами скрипнула, горестно всплеснула руками:

— И чего ты вяжешься? Жаден до живого человека! О смертном часе думать бы, а ты обо мне. Да иди, иди уж в избу, хиляк! Иду и я. Ну-у?!

Вернулась в избу. На лавке у стола было улеглась. Старуха на печи по-детски всхлипывала. Скоро стихла. Може„т, уснула. Виринея поднялась. Сказала Василью раздельно и строго:

— Не ходи за мной, не убегу. Сердце давит, на дворе постою, вольным духом подышу, вернусь. Слышишь? А коли за

мной выйдешь, убегу со двора. Вот тебе слово мое — убегу! Только ты меня и видал!

Ушла. Васька долго маялся. Вставал, в сени выходил. Дверь тихонько, как по воровскому делу, в чужой будто избе, с опаской открывал. Слушал, притишив дыханье, но во двор выйти не решался. Вирка не по-бабьи на слово крепка. Пригрозила — так сделает. Но горячая знобь связала Васькино тело. Неверными и тягостными стали движенья. Лег на кровать. Натянул со стоном отцов старый тулуп, укрылся им. Задышал трудно и часто. Про явь, про Виринею забыл. В бредовых, мучительно быстросменных виденьях заметался.

Виринея во дворе у плетня стояла. Ветер, веселый и мокрый, с полей налетел. Суматошливый гул помолодевшей в буйстве реки и бурливых вешних вод в степных логах слышней стал. Небо темным-темное, будто от того гула притаилось. Улица тоже темна и тиха. Во дворах глухая возня скота и непонятных, ночных странных звуков. Отыграла гармошка хромого Федьки-гармониста. Накричались в песнях девки. Смолк тяжелый, хлюпкий по грязи топот молодых парней, еще на войну не взятых. Отбуянило молодое на улице с вечера. Теперь, в час потайной и сладкий, ласковые пары в темноте тихой запрятались. Празднуют легкий час свой в несворотливых, день на день, как близнец, схожих натугой над землей, над хозяйством приглушенных днях.

А Вирка свой легкий час на обман отдала. Ни за семью, ни за хмель радостный. Не было той радости с Васькой! Ошибка

вышла. Разбередила старуха. Часу больше терпеть неохота! Утром же прости-прощай, матушка чужая, неласковая, постылый хиляк, изба невеселая. Ночью прибежала, а уйдет открыто. Белым днем. В город надо податься, а то на железную дорогу — на заработки. Отбилась от деревенского, в правильные бабы не попала,— на другое, **Значит,** поворот вышел. Гулёной безгнездовой. Что ж! Хоть на вольной воле! Чернявый этот лапал сегодня* глазами. Может, и без гульбы с ним на работу поставит. Ладно, будет. Только бы Васька еще нынче не вязался. А то и до утра не вытерпеть.

Повела строгими бровями, губы твердо сжала — ив избу пошла. Разбила Ваську лихоманка, не учуял, что пришла.

ill

Утром Васька с постели не встал. С тусклым лицом и пересмякшими губами пластом лежал. Не то спал, часто открывая глаза, не то так, по-тихому маялся. Может, отходить собрался? Виринея глянула в серое лицо его в липком поту, на руки распластанные. Подумала:

«Нет, еще не пришел час. Не томится, не обирается. От скрипоты отдыхает. Вста-анет еще канитель тянуть!»

Избу напоследок прибирать старательно стала. Старуха только искоса взглядывала. Не ругалась, не разговаривала. Потом над сыном постояла. Охнула тоскливо и крещенской водой его сбрызгивать начала.

Выкликала бога и святых глухим шепотом:

— Заступница усердная, матерь божья Казанская! Микола милостивый, угодничек божий! Василий хивейский, андел-хранитель! Пантелемон-целитель! Господи владыко!..

Не выговаривала, чего ей надо, о чем молит, чем мается. Богу нужны не разговорные слова, а непонятные, строгие. У ней их не было. Знала только каждодневные, к богу недоходчивые. Оттого в бессилье косноязычья своего перекличку скорбную и безнадежную бормотала. А голову смешно тряслась, и спина натруженная совсем колесом от горя сгибалась. Виринея поглядела, передернула губами, как от боли, и сердито сказала:

— Бог, бог... Давно поди он сдох. Сколь лет его просишь, корежишься. Отдохнула бы!

И, хлопнув дверью, из избы ушла.

Старуха охнула, пугливо на образ темный глянула. Ноги задрожали, до лавки чуть добралась. Накличет беду, окаянная.

— Господи батюшка, не посчитай то слово! Заступница матушка!

А Виринея простоволосая, как из избы выбежала, шибко по улице шла. Почти бежала от двора постылого. Лицо было темное, и думы злые в голове ходили. Старуха еще одну обиду распалила. К богу старый и крепкий укор. Отец по богу маялся. По свету ходил, праведной земли искал. Всю силу свою человечью для бога размотал. В переходах, переездах по разным дорогам

и по бездорожью места богова искал. Детей под чужую, под жесткую руку отдал. А бог за это ему трудную кончину в гиблом месте, в чужой сибирской стороне послал. Мать скорбью мужниной тоже зашиблась. По родне за детей в тяжелой работе жилилась, а часы на долгую надрывную молитву находила. От тех молитв, от постов, от поклонов до часу стаяла. А Вирка зато с той же страстностью, с какой родившие по богу маялись, против бога взлютовала. И у дяди с того, главное, ее жизнь не сдалась. Работу ворочать могла. В т^ле жила крепкая, только сердце дурное, суматошное. К чужим мыслям неподатлива. Дышала сердито. Ничего кругом не видела. В гневе, в спешке чуть мимо избы Анисьиной не пробежала. Эта веселая солдатка всегда с Виркой ласкова. Может, с того, что и ее другие бабы, степенные, как Вирку, глазами колючими у колодца встречают. И вслед долго глядят, губы поджав. Слух по деревне идет, что спуталась, как мужа в солдаты забрали. А она на те разговоры только смехом озорным отвечает. Веселая да бесстыжая. Но Вирке смех ее частый и легкий по душе. Надоест ведь канючку одну слушать! О ней нынче и вспомнила. Поди пустит под свою крышу хоть на два дня, а там — видно будет.

В избе Анисья была. Закваску для пьяного квасу ладила. Не по-бабьи, тишком сердитым или с воркотней, возилась. А будто девка, заботой не замаянная. С песней на. голос высокий:

**Одно-о на прово-оды ска-азала:**
**И-ых, пра-аводила со двора-а!..**

Виринея усмехнулась.

— Ну, и баба развеселая! С самого утра с песнями. Дело, видать, у тебя легкое. Здравствуй-ка.

— Здравствуй, бабочка. Вот негаданно припожаловала. Сколь раз звала — не шла. Я уж ждать перестала. Мое дело вольное, солдаткино. Детей накормила, для порядку стукнула и на улицу спровадила. Чего мне песни не играть? За мужа откупное начальство платит, свекра с свекровушкой господь прибрал, чтоб не турчали, сноху молоду не мытарили. На дворе чужак .нанятой, сударик пленный, старается. А я вот квасок веселый завариваю. Чего не петь?

Смеялась небольшими блестящими глазами. Румяная, невысокая, крепкая, телом налитая, ловко и весело поворачивалась. Вирка еще усмехнулась. Ясней и шире.

— Як тебе по нужде. Дозволь у тебя дни два-три пожить. Ушла я от Васьки-то.

— Ну-у! Не сдюжила? Я и то дивовалась на тебя. Что ж, поживи сколь-нибудь. Отработаешь по двору да по дому. А харчей поди на поденной добьешься.

— На железную дорогу, сказывают, баб берут.

— А, ну да. Около постройщиков этих тоже можно... Совсем ушла аль еще раздумаешь?

— Совсем.

Анисья тряхнула головой, пестрым платочком повязанной.

— В нонешни года* развольничались бабы! Вот хоть про себя скажу. И муж желанный у меня, не то чтобы с отвратом я к нему аль об ем не думала. Провожала, горячей слезой плакала, а гляди — гуляю без его. Придет — убьет, может. И за дело, знаю. А все не хочу молодых годков своих терять. Прежни-то бабы, сказывают, по десятку лет без греху мужьев дожидались. А мы на это дело слабые. И про тебя я думала, хоть без венцу, а правильная. Ну-к что ж! Видно, такие шелапутные зародились на нонешний век бабы. Про-оживем, покуль-солнышко на нас светит. Ну-к подоткнись да вымой мне вот эти горшки. А я за семенами к мордовке схожу. У ей всхожие, кабы не разобрали.

И ушла из избы.

Но наниматься на постройку Виринея скоро не собралась. В соседней с Анисьей избе хозяйка живот сорвала. Хозяйство самосильное, а работника в дом от греха не брала. Со свекром да с ребятами управлялась. Тяжелую кладь подняла — и замаялась. Свекровь, уже с год ослепшая, на другое же утро к Анисье пришла. Помолилась в угол и сказала:

— Здравствуйте-ка. Здесь, сказывают, кержачиха-то? Васьки Мокеихина полюбовница. Здесь, што ли?

Анисья звонко откликнулась:

— Здесь, здесь, баушка. Ты што, сватать, што ль, за того Ваську ее пришла? Не время поди: пост великий еще не кончился. Да и для посту он не скусный. Баба-то пробовала, да сбежала.

— А ну тебя, охальница! Нихто за ей свататься теперь не придет. Нетронутых-то девок впрок солим ай за старых вдовцов сбывам — куда ей после ее греху! Вирка-а, подь-ка поближе. Не слыхать што-то ни духу, ни голосу твоего.

— Здесь я, баушка. Зачем тебе?

— Айда к нам, по хозяйству поработай. Шерстью там аль чем заплотим. Баба-то у нас, слыхала?..

Виринея поправила платок на голове и сказала внушительно:

— Што ж, я пойду на какое надо время. Все одно, где прокорм добывать. Только ты меня, баушка, грехом моим с Васькой не замай. А то я и старость твою не уважу, ухватом садану. Надоела мне ваша про меня колгота.

Старуха закивала головой, руками взмахнула:

— Да што ты, што ты... Не хошь, и не скажу. Не дочь мне, не сноха, чего заботиться? Айда! На работу ты здорова. Уж постарайся, пожалуйста. Никем никого и не наймешь тут у нас. А твое дело такое вышло — все одно найматься! Айда!

И Виринея пошла. Целую неделю проработала. И на другую оставили. Хозяйка туго поправлялась, хоть свекровка и к Магаре к камню ходила, помолиться просила. Хоть и Мокеиха, Васькина мать, живот править и заговаривать приходила. За фельдшером в участковую железнодорожную больницу свекор обещал съездить. Да все еще дороги не было.

Четыре раза Васька по темноте молить

*г.* -госить Виринею вернуться назад прих Трудно дышал и неверным шагом ***xzir.r..*** но двигался. Отошел от застуды. Е~е не пришел его час. Жарко спорили с Знркой под сараем во дворе. Но уходил один, втянув голову в плечи, как побитый. Когда в четвертый раз пришел, Вирка из изб^. из дверей, звонко крикнула:

— Опять притащился, постылый? Потемну, с утайкой, а все люди видят да знают. Постыдился бы цепляться-то за мой подол... Уходи! Нечего нам с тобой говорить. Все размотано, и ниточка оборвалась. Никаким жалостным словом боле не свяжешь!

Но Василий сразу со двора не пошел. Притаился у плетня, сгорбившись, словно еще ссохшись, худой и низенький. Давил свой навязчивый глухой кашель и стоял. Старик амбар запирать вышел. Приметил. Сказал сердито:

— Иди домой! Чего маешься? Коль пришпичило до бабы, законной нет—мало ль баб тебе? Мужиков не хватат. Чего срамишься?

Вирка из сеней услыхала. С поленом выскочила:

— Уходи, а то пришибу! Намозолил ты сердце мое, со сну вскакиваю, как тебя, липкого, вспомню! Пришибу-у, все одно, хучь конец! А то сам плохо дышишь, да и мне не даешь! Ну-у?..

Ушел.

Мокеиха, как пришла хозяйку вызволять, на Вирку сначала даже не взглянула. Будто ее и не было. Хоть она по работе бабьей своей то и дело мимо старухи ходила. Толь-

ко когда дело свое справила Мокеиха и уходила, то во дворе Вирку остановила:

— Уйти-то от нас ушла, а дух поганый с подола со своего у нас оставила. Кобели на тот запах ходют.

Вирка передернула губами, пошла от старухи и на ходу кинула:

— Ладаном покури, отшибет. А то и твой-от сын по-кобелячьи за мной все вяжется!

Но Мокеиха сказала внушительно и глухо:

— Постой-ко! Слово сказать надо.

Виринея приостановилась. Через плечо глянув на старуху, спросила:

— Ну?,Какое еще слово? Все одно ты меня ничем не проймешь. У меня на тебя даже обиды нет. Больно ты и без меня горько сыном обижена. Чего тебе надо?

Старуха подтянула губы. Сказала сдержанно:

— Чернявый тот анжинер приходил, тебя спрашивал. Сказывал — на стирку, на мытку, што ль. А видать, како место мыть зовет.

— Ну?

— Чего нукать-то? Хочешь, дак иди, мой. Аль уж, может, сладились? За хорошие деньги аль так, задарма, по согласью?

Вирка усмехнулась:

— Не твой расход, не твой доход. Иди, баушка, домой! Не обидишь ты меня, не проймешь. Жалею я тебя. Сын твой больно ненавистен мне стал, а из-за тебя и его вот сейчас пожалела. Мается и тебя мает. Приспокоились бы вы как-нибудь, а я бы, право

дтово, порадовалась. Прощай, баушка.— И скрылась в сенях.

У старухи сердце от злобы зашлось. Чуть <= двора выбралась. Как разговаривает! Чисто путная. А она, старая, перед ней, как девчонка покорливая, стояла, слушала. Гос- ~:ди, за что обида такая в седые остатние **"ОДЫ?**

Долго ночью плакала.

### IV

Об инженере том напрасно старуха надомнила. Не больно приглянулся, чтобы часто в голову лезть. А все же где-то сзади явных мыслей, тайком, думка о нем спряталась. Может быть, оттого, что никому Вирка, кроме Васьки постылого, на ласковую душу не нужна. Та же Анисья из любопытства с ней хороводится. Разговору много про Вирку было, ну и занятно той проколупать: что за человек. А тот барин с первого взгляду на Вирку с большой лаской, как на желанную. И сейчас вот не забыл. Только и на Ваську тогда позарилась за ласковость... И сердито оборвала мысль:

«Ну их всех в болото, лешаков! На работе и не думаешь про мужика. Так проживу. Хватит с меня одного. И от того ни крестом, ни пестом не отобьешься!»

Больная баба отошла. С натугой, а вставать стала. И помаленьку по дому управляться. Хоть ничего жили, по-среднему, куска на Вирку хватило бы, но баба по-крестьянски прижимиста была. Зря кусков не

разбрасывала. Как продохнула, к печи доплелась.

— Ну-к, Вирка, отойди, я сама...

Виринея бабу поняла. Сама так же бы хозяйствовала. Приласкала одобрительным взглядом и сказала:

— Вызволилась? Вот и хорошо. Утре, как еще полегчает, дак я на вас и отработала. Уйду.

И на другое утро опять к Анисье ушла. Анисья что-то затуманилась. Побледнела, осунулась, и взгляд невеселый был. Сказала Вирке вечером, как коров доили:

— Что-то у меня на сердце гребтит. Давно писем от мужика нет. Либо шибко раненный, либо помер совсем. А то, може, у немцев мается.

Виринея отозвалась сдержанно:

— А може, прописали про тебя ему?

— Что с астрияком-то с моим путаюсь? Тогда бы еще скорей хучь через родню покор прописал. Нет, чую, плохое с им. Вот который день ем кусок без охоты, и все што-то маятно...

— Анисья, на што он тебе? Надругалась ты над им...

— Что надругалась? Дите, што ль, чужих кровей на его кусок привела? Сроду до этого не доведу. Двоих вытравила и третьего, коль с чижолости сейчас тоскую, изведу. У Мокеихи-то у твоей на это из всех бабок рука легкая. А так что ж? Кровь-то молодая, сам знает. Поди тоже без бабы не прожил. Еще хворь дурную принесет. Мало ль у нас мужьями порченных? Чего же, дело такое. А меня побьет, поувечит, а там

:дять вместе заживем. А и убьет коли сго-
**:яча,** дак потом пожалеет. На работу я спо-
:ая, телом крепкая. Чего надругалась? Ну
тпру-у, стой! Чего брыкаешься! Стой,
>:ооовушка, стой, матушка...

Подоила, перекрестила корову и сказала:

— К Магаре схожу. Пущай за Силантия
уоего помолится. А может, предскажет что.
Ты подомовничай тут. Молитву, которую
солдатам посылают, Г;Магара, сказывают,
::ставил. Шибко солдаты на ее надеются.
Хороша от смертной от пули. Нашински сол-
даты под рубахой на сердце ту молитву в
тою носют. Как у старосты старшого, Ми-
-рия-то, убили, Терехин Васька с тела с его
-у молитву снял. Прописал Митревым роди-
телям, что себе на охрану листок тот оста-
зил.

Виринея вздохнула:

— Дурной народ,— деревенски наши лю-
ди. Убили, дак чего же молчитва-то не оборо-
нила? Ни к чему она, выходит.

— Ты, Вирка, про богово дело не бреши.
Как веру человек сменит, ни к чему стано-
вится. Из кержачек перешла, дак и клеп-
лешь на наше православие! Не люблю таких
слов. Тебя молиться не заставляю, а ты ме*
ня не замай.

— Чего ты ощерилась? Не стращай, я не
пужлива. Не люби,— а ведь сама говоришь:
и с молитвой убили!

**г~** Ну-к што ж! Так бог схотел, закрыл
глаза на ту на молитву. Митрию так на роду
было написано, а другим помогает. Спиши
мне ее, ты хорошо грамотна.

— Не буду!

— А, сволочь ты, безбожница! Ну и наплевать. Без тебя найду, напишут. Домовничай, а то к ночи дело. Я схожу, отнесу чего ни то Магаре и помолиться попрошу.

Большая вера в Магару в жителях укрепилась. Из дальних волостей, когда путь был, к камню его приезжали. Подаянья доброхотные приносили и привозили. Но **без** корысти Магара перед богом старался. Даянья же у камня оставлял. Подаянья исчезали. Платок один жертвенный на бабе акгыровской, из беженок, видели. Но все же несли и везли. И Анисья полный узелок снеди набрала и ниток шерстяных моток.

— Подомовничаешь, што ль? Астрияк-то мой поздно придет. В барак к своим отпросился. А ребята прибегут, сунь кусок,, и пущай спят.

— Да ладно уж. За ругачку твою когда ни то взгрею я тебя. Не люблю этого. Ну, д^ ты не злая, спущу пока. Иди. Подомовничаю, некуда **Мне** и уходить-то.

В сладостном томленье расправлялась сбросившая снежную глухую покрышку земля. Было легким и в кротких красках сгасало вечернее небо. Будто грустило в беззлобье, безнадежности, что не ему, а земле дан час плодородья, сладость и горечь кратких земных радостей. От этого полегчавшего в кротости неба, от бережного тихого опусканья на землю темноты, от призывного курлыканья летевших отважно далеко журавлей входили в человечьи сердца радость и тоска.

Виринея стояла на огороде. Смотрела на журавлей в вышине, слушала вечернюю не-

~-:мкую суету дворов, жадно забирала в
.ль хмельные запахи земли и ветра. По-
г--танело лицо, тосковали глаза, а нарушать
- хорошую легкую тоску и уйти не хотелось.
:-.г:енер к изгороди огородной подошел.
]~:.:ьно вздрогнула, когда негромко оклик-

— Виринея...

И с промедленьем добавил:

—...Авимовна...

Все эти недели мыслями о ней маялся,
•ггпко забрала. Все про нее разузнал. Ду-
« 1. -. про дурное в прошлом ее те рассказы
-:оьют думу о ней. Но только пуще распа-
•-.::я. Сегодня только узнал, где живет те-
--гсъ она, и сегодня же сами ноги притащили
* -ей.

Виринея от испуга быстро оправилась:

— Вот напугал, барин! Откуда вывер-
--. "СЯ?

С лица же тихость не сошла. Говорила
-т сердито, устало:

— Вы чего-то меня спрашивали? Стару-
_ сказывала, к им приходили.

— Да я не знал, что вы перебрались от

— Ну, как, чать, не знать? В деревне
всех все знают, а про меня вы, слыхать,
в;е расспросы расспрашиваете. Может, толь-
vi избу не знали, где живу теперь, а про де-
-1 про мои с Васильем как, чать, не знать!
Зря только старуху расспрашивать пошли.

— Да я, честное слово, Виринея Авимов-

— Что это вы важевато как со мной?
Батюшкины кержацкие кости величаньем

тревожите. Мне чудно и ровно совестно. Мы народ к тому привычный, что старух только величают.

— Мне очень хотелось еще увидеть вас, Виринея, Вира... Знаете, так бывает: увидишь в первый раз человека, а кажется, что давно знал его — влечет к нему. Тогда вы сердито со мной разговаривали. И мало...

Тянул медлительные слова. Думал: «Не так... не так надо с ней говорить».

В этот час, кротостью вечерней напоенный, и у него не стало жадной хватки бурного желанья. Только и надо: вот так стоять поодаль от нее, смотреть усмиренными глазами и ощущать: удивительная, дорогая.

Виринея встретилась с ним глазами и чуть порозовела. Сказала негромко:

— Нехорошо, что вы тут стоите. И то про меня много болтают.

Он встревожился:

— Но почему же? Разве нельзя поговррить? Ну, просто так, по-человечески поговорить? Не уходите, пожалуйста! Ну, давайте вон туда, подальше, за село пройдем.

Виринея засмеялась тихим, грудным смехом. Покачал^ головой:

— Еще лучше удумал! Да я ничего, стойте, разговаривайте. Меня сплетками своими до сердца не проберут. Привыкла я. За красоту за мою бабы меня не любят. Чисто мне кажный мужик нужен, а им всех до единого жалко уступать.

Спокойно и просто о красоте своей. Не чванливо, не кокетливо, а правдиво. Умилился влюбленно: «Милая». Она, глядя мимо его лица тихими сегодня глазами, говорила:

— Вот и в городу: и стряпать по-гос-
-одски выучилась, и стирать, и гладить как
-:адо господское белье, а подолгу на местах
:-е жила. Не с того, что без паспорту. Это
для их выгодней, дешевле. А все из-за завид-
ки бабьей. Поглядят барыни, как ихние
уужья аль там кавалеры около меня, вот
как вы теперь, вьются,— сичас фыркать
зачнут. Ну, а у меня сердце на фырчок не-
-ерплячее, сама отфыркаюсь. Вот и с места
дэлой. Одна вот чудная больно...

Виринея фыркнула:

— ...так из себя, хуть господа, а с деньга-
чн не густо. По дешевой образованной долж-
ности с мужем жили. Все листы каки-то пи-
:=ли и в эту, как ее?.. Тьфу, уж забыла го-
годские слова... в редакцию каку-то ходили.
Книжки мне еще давали читать. Там, де-
скать, у их в этой редакции составляли.
Скучные книжки, про бедный народ... Я
брать— брала, а мало их читала. Ну, дак
они со мной так: все одно, дескать, люди,
что господа, что мужики. Великатно, стара-
тельно. Маленько муторно с ими было —
больно великатные. А ничего: пища — что
сами едят, и без ругачки. Только гляжу, ба-
рин чаще ко мне на кухню, как барыня из
дому. То да се, а сам мнется, вот как вы.
Ну, думаю, как бы барыня не осерчала. Да
и при Ваське тогда заходил. Васька сумле-
зался. А барыня — такая: по-городскому ни-
чего, стеклышки эдак на носу на шнурочке,
кудерочки реденьки. Ну, а по-нашему: сох-
лая да канючая. И барин с ей ласков, а,
видно, посдобней, повеселей чего захотел.
Ну, и она приметила. Не осерчала, виду не

дала. А только раз пришла ко мне и говорит: «Виринея, давайте обсудим». Ну, разное там говорила. Мещанки, говорит, которые за мужей держутся, а я нет. Если, мол, тебе нужен — бери. Я, дескать, сама уйду. Я говорю: он мне не нужен, а коли сумлеваетесь — рассчитайте. У меня, мол, свой, хуть плохой, да свой есть. Да и у тебя-то, мол, мужик не лучше. С Васькой парный, только что образованный. А она: нет, говорит, зачем расчет, давайте обсудим. И вот эдак раз двадцать все: обсудим. Ну, лучше бы она меня била, чем сусолить эдак! Плюнула я да тишком рано утром от их ушла. Вот эдакая завидка потяжельше фырчанья!

Оба весело засмеялись. Виринея со смехом закончила:

— Она меня, эта «обсудим»-то, и проняла. Затосковала я по деревне. Проще у нас. Двинут, дак без разговоров двинут. Айда, говорю, Василий, к своим подаваться. Уж терпеть, дак от своих. Вот когда обидно на баб нашинских станет, вспомню про тех образованных, обида-то и отмякнет. Эти злы, да без подвоху. А те прямо не покорят, а жалостными словами зашпыняют.

— А не скучно вам здесь? Все-таки вы уж привыкли к городу...

— Ничего я не привыкла. Легкому сердцу везде сладко, а коли в ем горько, дак где ни жить — все одно тошно. Да нам за работой скучать некогда. В девках я книжки читала, а теперь и к им охоты нет. Вот так постою, погляжу да спать пойду. И в праздники больше сплю.

— Книжки я вам могу прислать, если

--те. у меня интересные есть... И романы, -:зести.

— Вот я раньше до романов охотница ~i. От дяди таилась, а много перечитала, таботу какую ворочала, а читать находи- -2С0ЧКИ. В летни праздники в степи пря- Т *1* ~ь.

— Я пришлю... Я вам завтра же принесу.

Зиринея с усмешкой махнула рукой:

— Не надо. Я в их теперь и глядеть не Читала, читала, да вот с чахотным и .-алась. Чего смеетесь? Правда, так. •>:нжках все такие обходительные. Про :зь там всякое. Ну, а наши, деревенские, не займаются. С девками словами не -н-елят, а с бабой своей дак и вовсе :-г:»зоров не разговаривают. Корове когда ажут: «Краснушка, Краснушенька»,— г лошадь с добавкой слова ласкового на- =;.т. а жену — нет. Для работы взята, г роду, а не для ласковости. И на работе тину жалеют, а бабу нет. И все одно, в -атстве ли, в бедности — везде к нашим :ам так-то. Еще бедный-то лучше, из-за зяйства не ярится. Ну, вот я в книжках -: начитала, а нагляжусь на другое. И •:\ота мне ни с кем нашинским. На улицу ином часто бегала, охотливая в девках веселья была, а от себя всех отваживала, милы. На тех, в книжках, не похожи, -тот вот, Васька-то, и в обряде городской, : манером с городским. По-тихому, со сло- ми ласковыми обошел меня. И из себя сто не деревенский, худенький да ужим- зый. Вот и припаялась.

— А сейчас вы его не любите?

Виринея встрепенулась. Взглянула в инженеровы ласковые глаза и вдруг сухо оборвала:

— Разболталась я... Молчу много, а вот как накатит — и заговорюсь. Вы чего шли ко мне-то, с каким делом?

Затаился взгляд. И губы твердо сжала. Спугнул инженер легкий разговор. Сам избить себя готов был, но как поправить, как разговор затянуть, не знал.

— Я, видите ли... Не знаете ли вы, кого мне здесь попросить стирку белья моего на себя взять?

— А што же, я постираю. Я по-городскому могу. Только я задешево не возьмусь.

И опять деловито плату указала. Очень дорого по местным ценам. Но он уж не злился. Только жалел, что та, милая, с неуклюжей, но задушевной речью, спряталась. Другая Виринея точно. Расчетливая деревенская баба. Нелепым для произносимых слов печальным голосом сказал:

— Ну что ж, я согласен. Когда можно белье прислать?

— Куды прислать? У вас поди кухня есть. Да не то кухня, баня в этом двору есть. Я ведь знаю Силантьев дом. Вот в бане и перестираю. В чистой понедельник на страшной утречком приду. На этой у Анисьи отработаю. Мшло и подсинька-то у вас есть, ай купить?

Радостным стуком кровь в сердце, в висках: согласилась прийти к нему в дом. Сама предложила, сама захотела. В уединенной бане, за двором, целый день одна будет. Возможно что и для нее стирка — предлог.

Тянет к нему, только не хочет сказать отбыто. Не разбирал от волненья, что она говорит, отвечал торопливо, не вслушавшись:

— Да, да... Вот возьмите, пожалуйста... Хватит ли, нет?

Видела, что лишку дает, но сказала покойно:

— Пожалуй, что и хватит.

Взяла деньги, пошла с огорода. Не оглянулась.

V

Бог все разговорчивей с Магарой. Народу от того разговора предсказанье. От молитвы — помощь. И в моленье своем хорошо было утвердился Магара. Сердце отмякло, дых легче стал.

Но по весне опять отяжелело в груди. Руки по земному мужичьему делу затосковали. Перешибали молитву думы о пашне, о скоте, о зятевом хозяйствованье. Одну ночь, сколько ни старался, никак молитва не шла. Тоска такая накатила, что в голове мутно. И к утру,- стоя на коленях на камне, запросил Магара:

— Ослобони, господи, меня от земного дела! Навовсе ослобони! Лучше я в раю с угодниками твоими стараться буду. Ослобони от крови чижолой, от жилы человечьей, от костяку твердого. Сведи на меня смертный час! Оттоль народу способье подам, а на земле здеся не выстою. Хо-осподи!

Последнее слово с криком хриплым из груди вышло. И будто на крик тот в мутном

мареве рассветном появился от камня поодаль святой старичок. Тот, что в самый первый раз будить Магару приходил. Каким именем его окликнуть — все еще не знал Магара. Не видал с того разу. Застыл в ожиданье. А старичок не прежним зычным голосом, а в ласковости тихой заговорил. С ветерком вместе, с паром от вешней земли слова налетели:

— Помрешь скоро, раб божий Савелий. Жди часа смертного.

К похолодавшему в ночи камню в радости, до боли сердце стиснувшей, припал лицом Магара. А когда опамятовался, голову поднял, уж не увидел старичка. Взмолился:

— Смилостивец! Как по имени, по чину перед богом звать тебя? Ну-к, покажи еще лик немудрый свой. Страдатель божий. Сколь скоро, в какой день, в час вынет душу бог из мене?

Лика больше не видал и ответа не слыхал. Но к смерти стал готовиться. В тот же день неожиданно в дом свой пришел. Старуха с дочерью в избе убиралась. Вытерла фартуком мокрые руки, глянула на мужа. Обветренный, лохматый и грязный. Не прхож на угодников, какие на иконах. Сказала робко:

— Може, в гбаньке попариться, тело занудилось? Истопим, а?

Но Магара головой, как от мухи, отмахнулся:

— Смертну обряду мою, каку заготовила, достань из сундука! На дворе повесь.

И ушел. Слова больше не добавил. Старуха горестно вздохнула и заплакала. Вся

туга в святость Магары уверовала. А она
z :»рить о том боялась, но в себе Думала:
:т святости это в нем, а от хвори какой-то.
-. своего мужика-то знала — какая в нем
-тость? Так мается без ума, без разума.
. не сердилась, а шибко жалела. От той
угости быстро стареть начала. Ссутули-
;ъ. глаза стускли, и на лицо серый пепел
- Но приказанье мужнино в тот же час
-мнила. Когда вешала белые холщовые
гты и рубаху, Мокеиха пришла.

— Здравствуй-ко, Григорьевна. Поми-
.-.ъ хочет?

— Не знаю, веле-ел.

— Сказывал, Григорьевна, сказывал,
тйчас на нашей улице был. Открыто ему
дет. в какой день. Я и пришла, чтоб меня
-да кликнули. Потрудиться охота над мо-
•:тзекником-то над нашим. Нынче народ
путный стал: мало кому открывается, ког-
, смерть придет. И не от должного часу
ут. а все больше во внезапности. Пущай
доле повисит одежа. Солнышком нашин-
им прогреется, ветерком с земли провеет -
. На остатней обряде дух земной унесет,
ще об земле стараться перед богом будет.
\-ох-ох. Ну, дак гляди, не медли, кликни
гда. Савелий-то, батюшка, плывет через
чку...

— Куда?

— А по обычаю богову все сделать хо-
т. Не как нынешние вертуны. В церковь,
попу поговеть поплыл.

Обратно приплыл под самое вербное
скресенье. Уж затемно в окно постучал:

— Эй, открой-ко, Михаила!

Зять голос узнал. Подивился:

— Ай к нам перебираешься?

Но Магара, отмолившись в угол, сказал:

— Оповести завтра народ: помирать ложусь. Гроб-от сготовил.

Зять поскреб голову и грудь. Спросил:

— А где помирать-то лягешь? Там, у себя в землянке, ай на камне?

— Тут, в избе. По-хрестьянскому. На этом месте родился, на этом же и помру.

Зять постоял, подумал. Сказал с тягучей позевотой:

— А, ну да, правильну кончину ты себе у бога вымолил. Я маненько еще посплю. А? До утра-то еще долго. Намаялся я нынче.

— Ложись. Я на двор пойду свету дожидаться.

Когда ушел, зять старуху окликнул:

— Не спишь? Слыхала? А в избе не остался, отвык от человечьего духу. Бабу-то мою будить аль нет?

— Не надо. На свету обоих разбужу. Что ж, все под богом ходим. А ему все одно. Который год на земле не работник. Может, и правда час помирать пришел. Потрудимся, проводим. Ложись, поспи еще час какой.

— Ви-ирка-а! Ви-ир! Куды запропастилась?

— Ну, чего ты базлаешь? Отдохнуть под сараем я хотела.

— Отоспищься еще. Айда скорей Магару глядеть.

— Ну-у? Помирает?

— Да! Ну да! Давно уж зачал. Гляди не протолкаемся, не увидим.

— А я ведь, Анисья, думала: он врет. Крепкий, мол, не свалишь!

— Ну, айда, айда, не растабарывай. А то народ бегёт, а мы мешкаем.

Задыхаясь на бегу, сердилась Анисья:

— И как это я, на каждый слушок вострая, тут не сразу услыхала! Ой, баба, не увидим, а охота поглядеть, как кончится. В праздник и помереть угадал. Людям глядеть *йог* слободней.

Стекался народ к избе Магары. Со всей деревни накатной, разноцветной, веселой для глазу волной. На улице около избы, во дворе и в самой избе стоял несмолкающий гул людских голосов. В избе приглушенный. На улице и на дворе — как веселый жизни молебен.

Солнышко, по-вешнему легкая теплота дня, колыханье ярких женских платков и платьев, пушистая верба-хлест, игривая в молодых руках,— будоражили радостью. Оттого часто в толпе прорывались молодой ядреный смех и женский притворно-пугливый вскрик. Заглушали перебранку теснившихся у избы и охотливый старушечий провожальный плач.

Виринея и Аниоья, огрызаясь на ходу несердитым бранным словом, смешком коротким й взвизгом на щипки мужиков, протолкались вперед.

Настежь открыты окна избы. Но тяжело и густо пахло ладаном, богородской травой, елеем и дегтем от праздничных сапог. От этого смешанного запаха, от дыма кадильницы в руках старика Егора, от нудного тягучего его голоса, бормотавшего псалмы,

труднила дыханье людей духота. На божнице дрожали горестно хлипкие желтенькие огоньки восковых свечей. На скамье под окнами стоял открытый гроб. Старательно обструганные доски еще хранили свежий запах древесный.

На двух сдвинутых вместе скамейках, покрытых чистой холстиной, на подушке из сухой богородской травы, в белых холщовых портах, в поясе с молитовкой, в смертных мягких черных матерчатых туфлях лежал Магара. Большие узловатые руки в старательной тихости держал крестом на груди. Две черных старухи в мерных и низких поклонах качались у ног Магары.

Бубнил Егор:

— Обратись, господи, избави душу мою, спаси мя по милости твоей.

Народ входил, выходил, двигался, сменялся. Живое его движенье тревожило Магару. Он приоткрывал глаза. Вскрикивал глухо:

— Ныне отпущаешь...

Взбадривался Егор и громче вычитывал:

— Суди мя, господи, по правде моей и по непорочности моей во мне.

Магара снова глухим голосом перебивал:

— Пошли, господи, по душу мою!

Но трепетали свечи. Все скучливей и глуше голос Егора. Затомился Магара под участливыми, равнодушными, печальными, затаенно усмешливыми человеческими живыми глазами. Увидал, что даже семейные его из избы ушли. Только жена, надвинув низко на лицо темный платок, стояла у изголовья. Взмолился страстней и живей:

— Отпусти, господи, вынь дыханье. Помилуй, господи, раба твоего...

Виринея дернула Анисью за платье:

— Пойдем домой. Не скоро, видать, он кончится.

Та повела сердито плечом, но охотно за нею вышла. _Когда они вернулись снова к смертному ложу Магары, уже солнце далеко от полдня запало. Шестые свечи на божнице догорали. Отдохнувший народ снова в избу набился. А Магара все еще живой лежал. Учуял похолодевшее дыханье дня, задвигал в тревоге головой по подушке. На долгий миг задержал было дыханье в груди, но выдохнул его шумно и закашлял. Черная старуха наклонилась к нему:

—- Ты как нудишься-то, батюшка, перед смертью ай нет? Словно как быть не на смерть, а по-живому. Народ затомился ждать. Как у тебя по твоему нутру, скоро аль долго еще?

Магара покосился на старуху. Не ответил, только бровями досадливо шевельнул. Низенький, седобородый Егор прервал свое заунывное чтенье. Повернулся всем корпусом к Магаре, поглядел на него и посоветовал участливо:

— А ты крепше глаза прижмурь. На энтих\ на живых-то, не пялься. Думай об своем и дых крепче внутре держи, не пускай. Сожми зубы-те, зубы сожми!!

Безусый, веселоглазый парень в толпе фыркнул. Подмигнул румяной Анисье и сказал:

— Живой-то дух небось не удержишь! Не ротом, так другим местом выдет.

Смех прошелестел в толпе: Мокеиха впереди охнула. Егор поглядел на народ и строго оборвал:

— Кобелей-то энтих повыгонять бы отсудова. Вредный народ, беда-а. Кончиться человеку в старанье перед богом не дадут.

Загнусил живей:

— Окропиши мя иссопом, и очищуся, омыеши мя, и паче снега убелюся...

Но скоро опять к Магаре повернулся:

— Ну-к, полежи маненько без псалмов, Савелий. Чтой-то я заморился, разомнусь схожу. Полежишь?

Магара расправил затекшие руки. Пробурчал:

— Иди... Теперь скоро уж, давно маюсь.

Вирка взглядом с тем парнем веселоглазым встретилась. Не сдержала смеха. Сверкнула зубами и зазолотившимися от дерзкого веселья переменчивыми глазами. Крикнула громче, чем сама хотела:

— Дедушка Савелий, а ты бы тоже слез да поразмялся. Спину, чать, отлежал? А?

Заговорили со всех сторон:

— Закрой хайло, шалава!

— Двинь ее покрепше из избы, дядя Яков.

— Что же это такое, господи? Какие бесстрашные!

— А што? Хоть сдуру, а, пожалуй, правду сказала: встал бы, коль смерть не берет. /

— Ты прямо, мил человек, скажи: будешь помирать аль отдумал?

— Савелий, а ты помолись пошибче! Заждался народ.



\

— Рассердись да помри, Магара! Чего ж ты?

Мокеиха зло, не по-старушечьи звонко крикнула:

— Это Вирка народ всколготила. Блудня окаянная! Святой человечий час и тот испакостила! Уберите ее, старики!

Но смех и разговоры все гуще, вольней по рядам. И откликом с улицы мальчишки озабоченный голос:

— Васька-а! Он се не помират! Айда еще з бабки играть!

Старуха Магары от стыда совсем съежилась. Дрожащими руками платок на голове все поправляла, чтоб лицо закрыть.

«Страм... Чистый страм! Сам обмишулился и народ обманул! Чтой-та теперь будет? Что будет, коль не помрет?»

И жалко мужа было, и зло за сердце брало. Тужился в угодники выйти, дак выходил бы в настоящие, а то на смех на один! Заплакала и закрыла фартуком лицо.

Вернувшийся в избу Егор спросил ее облегченно:

— Помер, што ль? А я и не разберу, с чего народ шумит.

Магара приподнялся на скамьях, оглядел всех большими тоскующими глазами и снова медленно опустился и вытянулся. Смех смолк. Люди затаили дыханье. Лица у всех построжали. Долго стояло молчанье в избе. Магара прервал его. Снова хрипло вздохнул.' Опять приподнялся, сел на скамьях. Глаза, загоревшиеся огромным напряженьем страсти, жаркие до жути глаза уставил на иконы. Глазами молился и требовал. Опять

заговорили сзади. Приглушенный смех снова в уши Магары. Тогда он поднялся во весь свой высокий рост. Передохнул всей грудью и пробормотал невнятно:

— Отказал господь в кончине. Пообещал и не послал...

Забегал его взгляд снова по рядам. Будто мешался, искал снисхожденья или участья. Но всюду встречал смеющийся или злой глаз. Тогда двинул ногой сердито смертное свое ложе и крикнул зло и сильно:

— Чего глаза пялите? Мертвечину нюхать пришли? А? Не помру! Айда, чтоб все вон из избы. Говорят вам... мать, не помру!

Изрыгнул крепко забористую матерщину и посыпал часто крутые похабные слова одно за другим. Глаза покраснели, будто разбухли от гнева. Кулачищами крепкими замахал. Визгнула во дворе напуганная дочь Магары. С воем из избы к ней другая порченая баба кинулась. И с ахами, взвизгами, криком подались все бабы из избы. За ними мужики с гоготом, с ответными забористыми словами. Старики с укоризненной воркотней, но с веселыми от тайной усмешки глазами. Быстро пустела изба.

Обрывисто, будто давясь наплывом злых непристойных слов, ревел Магара:

— К чертовой матери!., бога!., богородицу!..

Сдернул со скамей холщовый покров, скомкал яростно, в угол закинул. Сильным рассерженным дыхом потушил лампадку и свечи.

На дворе еще шумел народ.

— Чисто матерится старый хрен.

— Натосковался в молитве по легкому-то слову.

— Господи, батющко! И как теперь отмолит? И чем экий грех перед богом отслужит?

Красный, потный зять Магары, выпучив глаза, во дворе народ упрашивал:

— Разойдитесь, православные! Богом прошу, уходите со двора. Уж такой нам страм! Уж такая обида! Лег бы тишком да попробовал, помрет ай нет. А потом бы народ уж скликал... Уйдите, старики, для-ради Христа. Лучше завтре придите нас страмить. Нынче не в себе он. Вам-то что? Отстрамили да ушли! А нас он вполне обязательно изувечит со стыду.

Молодежь свистела, приплясывала на улице около дома. Надрывалась в выкриках:

— Когда еще позовешь, Магара? А? Когда приходить?.. Кутью сварим, блинов на поминки напеке-ом...

— Только гляди больше не надувай, а то сами тебя за надувательство в гроб укладе*[1]!

**Как наш Магара, чертов зять,**
**Собирался помирать,**
**Да к вечеру отдумал**
**И начал свою мать**
**Крепким словом поминать...**

Магара стукнул кулаком по подоконнику так, что задребезжали стекла раскрытых рам.

— Убью-у!.. Уходите, сволочи... Ну-у?

Втянул голову в плечи, готовый к яростному прыжку. Взмахнул руками. Выставил в окно иссиня-багровое лицо с налитыми кровью глазами. Толпа от избы шарахнулась...

На улицу, на дворы, на окрестные поля и горы уже легла благостная ароматная темнота. Бабы тревожно выкликали мужей и детей. Со смехом и бранью расходились люди. Магара тяжело сел на скамью меж окон. Уронил взлохмаченную голову на руки и дышал тяжело и трудно.

С тихим медленным скрипом приоткрыла Григорьевна дверь. Старое сердце встревоженным голубем металось в груди. Слово с языка от испуга не шло. Но огромная жалость толкала к мужу. Вошла. Магара медлительно, с большой усталостью сказал:

— Дай мне другу-ую одежу... И... посто-ой! Вели Дашке самова-ар наставить.

Но чай пить не стал. Выпил жадно три ковша холодной воды. Спросил угрюмо и глухо:

— Где же зятья-то с бабами?

— Один-то уехал, а эти тут, во дворе, в телегах спать полегли. Боятся в избу.*.

— Ладно, пущай там переспят.

— А ты-то, Савелий, как?— Оробела и чуть слышно закончила:— За село-то к себе не пойдешь?

Не ответил. Сильно и слышно ступая по полу босыми ногами, прошел к старухиной постели. Деревянная кровать скрипнула, как охнула, под большой его тяжестью. Старуха, вздыхая, стала укладываться на скамье под окнами. Но Магара громко и отчетливо позвал:

— Ложись со мной.

И на шестом десятке лет, лютуя в грехе, как лютовал в молодые свои года, без слов, жестокой звериной лаской всю ночь ласкал

и тревожил развяленное старостью женино тело.

А на утренней заре вдруг заплакал без слез и без слов глухим маятным воем.

— Савелий... Савелий!.. Смирись, сжалится господь! От гордыни от твоей шибко уж тебя обида пробирает.

— Молчи!

Сорвался с кровати и встал \среди избы — большой, лохматый, нескладный.

— Молчи, баба! Не твоей мозгой понять!.. Молчи! В грехе доживать буду! В блуде, в пакости, в богохульстве!.. Душить, убивать буду! В большом грехе. Не допустил в великой праведности к ему прийти, грешником великим явлюсь! На Страшном суде не убоюсь, корить его буду!..

И бушевал опять до самого солнца восхода. Утром ушел из дому. До пасхи пропадал. На второй день праздника явился пьяный и буйный. С того дня в блуде, пьянстве, з драке первым в округе стал.

## VI

Третий год здешнюю степь все меряют. Второй год горы рвут. Землю, песок, дерево, железо возят. Роют, сыплют, насыпают, над дорогой железной колдуют. А езда по той дороге еще через три года не то будет, не то нет.

Постройщики-господа от войны здесь хоронятся. Не торопятся, видать, строить-то. Только и понастроили, что инженерам зсяким хоромы. Бараки унылые, плохо ско-

лоченные, да землянушки рабочей голытьбе из беженцев понаставили. Писальщикам, считальщикам своим готовые хорошие дома по всем деревням под конторы понакупали. Матвей Фадеев не зря теперь кряхтит:

— Станции да дистанции, а для мужика все одна надуванция!

Спервоначалу он постройкой доволен был. Крестьяне за продукты цену неслыханную брали с постройщиков, хорошо наживались. И не один Матвей тогда радовался. А теперь вот опять не только он, одноруким вернувшийся с войны и оттого нерадостным и на все плохое приметливым, а и другие, старики и молодые поосновательнее вздыхать начали. Деньгам от инженеров,— все постройщики повыше десятников под одним названием «инженеров» в округе ходили,— так деньгам тем, инженерским, не рады. Дурные деньги дуром и идут.

На участках дошлый приезжий из городов народ чайных понастроил. С граммофонами, с кислушкой пьяной в чайниках, с едой, по-городскому приперченной, в новинку для мужика приманчивой. С той еды с пьяной запивкой на бабу, такую же приперченную, позыв. Шлюхи с разных мест к тем чайным понаехали. Дурная деньга — вот на это и тянет. Мужики, даже из пожилых, степенных, позашибались. Польстились на образованность городскую. А от шлюх да от господ, дорогу строящих, хворь стыдная приметно по округе распространилась. Бабы в соку затомились в войну без мужьев. Девкам женихов нет. А лета им уж такие, что плоть своего дела требует. Пост-

ройщики с усладкой, с подарками, с охальством зазывным городским. И сменила баба не только обряду свою на городскую короткую, облипучую, а и поведение совести своей. Блудлива стала. На грех с мужиками чужими податлива. Иженеры у докторов своих подлечиваются. Деревенским, пока в лежку не лягут, этим заниматься некогда. Не разъездишься в больницу от хозяйства, от земли. Вот и гниют мужичьи костяки. У многих теперь, если посчитать. Солдаты тоже порченые из городу, бывает, приходят. Хиреет народ деревенский и от войны, и от постройки. Еще от блуда и от тревоги. А в других местах мужиков с корнем вытащили. Совсем :т дела мужичьего оторвали. Недаром в виденье Магара подводы видал. Чужой народ, оелесый, рыхлый, на поворот мешкотный, из дальних губерний сюда перебежал. Хоть и плоховаты перед здешними, а все на своей земле трудились, добывали. Теперь же по углам у здешних мужиков, в бараках да землянках на работе непривычной маются, перебиваются с воды на хлеб. Плохо кормятся :т постройки. Война крушит, и постройка зредит. Оттого у деревенского жителя, мужицкую невзгоду понимающего, к постройке, как к войне, одно отношение: скорей бы кончалась. И к инженерам, постройки начальникам, враждебное недоверие.

И Вирку оно от чернявого статного барина отшибало. Чужой и вредный им, мужикам. Здоровым желаньем своим тянул к себе. Тревожлива неродящая баба. И два раза во сне жарко с ним миловалась. По ночам всегда вспоминала, а днем на те

мысли ночные тайные гневалась. Противен инженер становился. Оттого, когда вышла за водой и близко к бане во дворе его увидела, сурово сказала ему:

— Ты, барин, не крутись тут. Нехорошо для мужчины, даже совестно. Какое твое дело тут?

Он обшарил загоревшимися глазами открытую в рубахе с рукавами короткими стройную шею редчайшей белизны и такие же белые выше грубых кистей тонкие руки, голые от короткой исподницы худощавые ноги. Сказал приглушенным, но жарким голосом:

— Я этой стирки твоей, как праздника, ждал. Люблю, хочу тебя, Виринея. Слушай...

И, протянув жадные руки, ближе к ней подался. Криком сердитым и резким оттолкнула:

— Ну-у!.. Не лезь!

И близко мимо него к бане прямая и строгая прошла. В дверях сказала:

— Ты меня не замай! Еще к бане подойдешь, кипятком ошпарю. Лежать под собой других ищи, сговорчивых. Мне ты не нужен!

И дверь в предбанник плотно притворила. Когда уходил шаткими, ослабевшими сразу ногами, во дворе двух баб хозяйских встретил. По глазам и поджатым губам узнал, что видели и весь разговор его с Виринеей слышали. Покраснел жгущим щеки румянцем. Сердито рявкнул:

— Где Петр? Лошадь мне надо.

С ночевкой на постройку уехал. Деньги за стирку Виринее через хозяйку квартирную передал.

Но на пасхе, когда кружился во хмелю

от кислушки, пьяного квасу и чрезмерной праздничной еды народ, случайно на улице встретил Виринею. Хотел мимо пройти, сама окликнула:

— Что мимо глядишь, не привечаешь? То больно прилипал, а то сразу засох? Айда на разгулку со мной, барин пригожий!

Поглядел и остановился. В светлом ситцевом, по-городскому сшитом платье, веселая и свежая, как березка в троицу. А глаза — будто хмелем затуманены. Лицо зарумянившееся, жаркое, грешное, и голос хмельной.

— Виринея... Вира-а!

— Ну, айда, айда на молоду зелену травушку в степь гулять, на пригорках отдыхать. Шибко желала я седни тебя повстречать, так по желанью моему и выпало!..

Одним прикосновением руки к плечу властно повернула его. Пошли рядом за село. Не смотрела, примечают ли люди. Легко шла, неумолчно, как в опьяненье, говорила:

— Я нынче бесстыжая и разгульная. И не от пьяного питья. Из стаканчика чуть пригубила. А так, от дню веселого, от духу вольного, от зеленой травы. Ходуном во мне жилочки ходют и сердце шибко бьет. Э-эх ты, думаю, все одно сгнивать, пропадать! Хорошие-то годы из бабьего веку своего плохо прожила, а теперь што?

— Виринея... Вирка моя милая! Красавица! Право, ты пьяная. Скажи, где напилась? По гостям, что ль, ходила?

— Ну да, пьяная, да не от питья. Я ж тебе сказываю. Зря брехать не люблю, а ты мне не>муж, не отец, чего мне тебя стыдить-

ся? Кровь во мне седни пьяная. Нет больше никого желанного, об тебе вспомнила. Третий раз мимо квартеры твоей иду.

— Милая!

Были уже за селом. Апрель дышал зеленой, радостно-молодой травой, пахучим легким ветерком, сладостной прелью ожидающей вспашки земли и юной синевой легкого, недушного неба. Заглянул в золотые, сегодня мутной истомной дымкой затянутые глаза, схватил за плечи, прижал плотно к себе и в долгом неотрывном поцелуе приник к неярким, но жарким губам.

— Подожди, отпусти на передышку. Ой, мутно в голове. Сладко ты целуешься, барин. Как звать-величать тебя, сейчас позабыла. А целоваться с тобой и без имя, без величанья еще охота. Н-н-ну... Пусти еще передохнуть!

— Вира, дорогая ты моя. Какое наслажденье! Ах, какая ты необычайная! Не первую тебя целую, а...

— Сядь, я у тебя на коленях полежу, вздохну. Вот эдак руку-то подвинь. Погоди, не томи, не гладь! Шибко сердцу тесно, дай отдохну. А-ах! Мужики, как мухи, знают, где сладость. Пусти-и!..

— Вира, Вира... Ну, почему? Виринея... одну минуту.,. Ну-у?.. Зачем ты... Ведь и тебе, тебе я не противен... Ну, дорогая моя, сладкая моя, м-милая...

— Не тревожь, говорю! Осло-обони!.. Все одно... все одно... согласна я... Седни люб ты мне. Не-ет... Вздохнуть дай! Шибко сладко, дыхну-уть невмочь... Выпусти-и, дай вздохнуть. Погоди, не це-елуй!..

И вдруг чужой, третий, враждебный, обидой, болью перехваченный голос:

— Вирка-а} Паскуда!

Сразу расцепились, поднялись, Василий с багровыми пятнами на скулах, в трясучке от боли и гнева, со сбитой набок старенькой фуражкой на голове;

— С барином! Паскуда ты, сквернавка! Средь бела дня, как сука!

— Постой-ко, гнусь дохлая! Не ори! Не жена венчанная тебе, а гулена. Отгуляла— и ушла. Пошто вяжешься?— побледневшая, строгая, в упор на Василия глядя, без испуга спросила.

— Пошел отсюда! Какое ты имеешь право за ней следить? Каждый шаг,..

— Помолчи, Иван Павлович!

И улыбнулась бледной короткой улыбкой:

— Видишь, как нужный час пришел, имя твое с величаньем вспомнила... Не кричи, не расходуйся. Иди-ка домой, а я с Васькой сама поговорю.

— Нечего тебе-говорить. Убирайся, мер* завец! А то я...

— Сама поговорю. Слышишь? Ты уходи. Я к тебе завтра ввечеру приду, не обману. А сейчас уходи. Надо с Васькой мне самой говорить.

— Не-об чем мне с тобой, сука, говорить! Пришибить тебя надо, погань, распутницу!

— Ну, коль сила да охота будет — и пришибешь. Уйди, барин. Гляди не послушаешь в этом, я совсем по-другому поверну.. Как с Васыюй.

— 'Я не могу тебя одну с ним оставить.

— Не можешь? Не хочешь, как я тебя по чести, по делу нужному прошу, так отваливай совсем. Василий, приходи в Анисьин двор. Слово у меня для тебя есть.

— Виринея, но это же не нужно, ты сама не знаешь...

— Уйдешь, барин, или нет?

— Я отойду. У села тебя подожду, только напрасно ты...

— Уходи! Право, хуже делаешь...

— Иду. Скорее только, прошу тебя. Вон там ждать буду.

Пошел вперед, оглядываясь.

— Иди, иди. Я скоро. Слово надо сказать.

Когда инженер далеко отошел, сказала провожавшему его волчьим, несытым и злым взглядом Ваське:

— Василий, ноги у тебя трясутся, спина гнется, не выстаиваешь, сядь-ко.

Усмиренный ласковостью голоса и жалеющих ее глаз, опустился покорно рядом с ней на траву.

— Васька, жалею я тебя, чисто ты не полюбовник, а сын мой роженый. Вот право слово, шибко жалею! И когда ругаюсь, кричу на тебя, все для того, чтоб полегче тебе от меня отлепиться было.

— Вирка, жалеешь, а зачем ушла? Зачем блудишь с другими?

— Ишь ты как из-за меня маешься! Аж словно дых перехватывает. Зря это, Васька. Ничего мы с тобой теперь не рассудим, не определим. Без твоей, да и без моей воли так сделалось, што в раздельности мы, и никак нам теперь вместе не быть.

— С барами в сладком житье баловаться захотела? А? С того самого...

— Барин этот — так... Под час подвернулся. Не серчаю я на тебя, что укорить хочешь. Жа-алею! С горя это ты, а сам знаешь, другого я хотела. Честного житья и деточек от мужа в род, в семью рожденных... Сейчас подумаю, сердце зайдется. Ну, не так мне пришлось, дак... Жалею я тебя! По частому делу об тебе думаю. Хучь плохой, да первый ты мой с девичества...

— Жалеешь, а жить со мной не желаешь... Разве так-то, с господами в блуде, лучше? Вирка, чать сама ихнее господское сердце к нам знаешь... И чего ты?

— Помолчи, Василий! Все знаю. Говорю, так, в бабий час, барин подоспел. А тебя жалею, шибко, часто жалею, ну, а к телу подпущать тебя неохота. Не серчай, не вольна я в этом деле.

— Дак чего ты меня мутишь? Чего еще разговоры разговариваешь?

— Васютка, родненький ты мой, незадачливый мой!..

— Ну тебя с присловьем с твоим! Схилел от простуды в грудях, а ты со мной, как с юродивым... Эх, Вирка, недоброе сердце в тебе живет!..

— Нет, доброе, только без обману, без лукавости! Всю думку выдает. Жалко мне тебя, крепко жалко, а не люб ты мне. Кабы тебя не было, я бы с этим барином еще раньше...

— А сейчас все слажено?

Усмехнулась невесело:

— Нет, опять ты помешал! Л сейчас думаю, што и совсем без него можно.

— Вирка, вернись к нам в нашу избу. Я слова не скажу.,. Ни словом, ни глазом не попрекну!

— Нет, невмочь мне, Василий. Я к тому говорить тебе стала: понатужься, забудь про бабью плоть, отдохни. Хилой ты, а жадный. Зачем? Отдохни. У меня бы сердце за тебя полегчало. От бога отшибло меня, а вот про тебя думаю: может, в монахи тебе податься, а?

— Ах ты, стерва, сволочь! Тебе блудить, а меня в молитву толкаешь — сушиться? Я тебе покажу-yL.

— Отдвинь! Убери, говорю, руку-то свою. Меня не осилишь. Видать, нету с пользой слова у человека, когда делом помогчи силов нет. Айда по домам. Не об чем больше говорить. Всяк по-своему, по-старому маяться будем.

Встала и пошла.

Взмолился:

— Вира... Виринеюшка! Одна ты желанная...

— Не канючь! Чего надо тебе — нету у меня для тебя. Жалости моей не принимаешь. Чего же размусоливать?

Пошла к селу быстро и легко. Васька было за ней кинулся, потом обзем ударился, лег в свежую волнующую землю лицом и затих.

Вирка у околицы инженера встретила. Быстро кружил, в жарком нетерпенье вышагивал. Сказала ему сухо:

— Иди домой, Иван Павлович. Неохота

мне сейчас с тобой миловаться. С Васькой растревожилась.

И холодными протрезвевшими глазами в лицо его поглядела.

— Вира... Но ты придешь? Ты обещала мне...

— Пообещала в дурной, нерассудливый час. Еще- такой накатит — может, и приду. А все-таки не жди. Облюбуй себе другую какую. Не ходи за мной, мне в другой конец.

Дома рвал и метал. Деревенская баба, и так им вертит! Невозможно, противно, унизительно! К черту, к черту ее!

Сел на коня, верхом в участок к образованным своим знакомым поскакал. Но и со свояченицей начальника участка, и с учительницей, молодой горожанкой, не развеселился. Сумрачен был, и сердце томилось нежной, тоскливой любовью к Вирке.

А Васька долго за селом лежал. Темнеть начало. Холодком проняла еще не распаленная, выстывающая к вечеру апрельская земля. Но встать трудно. На теле — как путы. Сердце будто в обруче тесном. Тяжело дышать и немило глядеть на божий свет. Подняться заставил густой хриплый пьяный голос:

— Это што за п-падаль валяется? А?.. Живой? А я думал...

— Это я, дядя Савелий... Отдыхал.

— «Я... я!» Вижу, что ты... Повитухин, что ль, отродыш? Ыгым... узнал. Выродила молодца ведьма ласковая. Ну, что стоишь? Проваливай.

Потом, вспомнив, крикнул отходившему Ваське^

— Кержачку твою с инженером видал... Вздуть за тебя хотел. Не за тебя, а за барина того. Не то вздую,— убью-у! Не ее, а барина. Вальяжный больно, а блудник. Мужик с тоски грешит, а эти с сытости. Н-не люблю! Убью-у!..

Васька вернулся, с тоской сказал:

— Дядя Савелий, дядя! Избей, ей-пра, избей когда-нибудь! Грех от них и обида. Большая обида! Я бы сам избил, да хворый я. Силы нет у меня в руках. Эх, что ж ты сегодня не поучил? Средь бела дня прохлаждаются всем людям напоказ. Э-эх!!

— Взгомозился как! Чужой силой отбиваться охочи. Ну и подлец человек пошел! Чего раскорячился? Уходи! Неохота мне тебя бить! Неохота... Тебя ногтем надо давить... Ну? Могу и побить! Уби-ить могу! А, бежишь, испугался!.. Тоже крепко за землю держишься! А я не держусь, она меня держит... Убью. На этого руки зудят!! Энтих бить буду! Не желаю их тут!.. Девок наших портят... Убью!

Василий бежал заплетающимися, слабыми ногами. Одним прыжком мог догнать его Магара. Но громко сплюнул и пошел в другую сторону.

Через неделю ночью возвращался инженер верхом с участка. Было уж близко село, и он ехал шагом. Поводья в руках чуть держал в тоскливой рассеянности. Не хотелось возвращаться в большую, пустую и скучную комнату свою при конторе. С утра сегодня томило его совершенно новое ощу-

-денье тоски. Не думал о Виринее, ни о ком, €: о чем определенном. А просто ощущал т:чти физически груз какой-то на себе: От :--ого груза нескладная тоска. До жути.

«Заболел я, что ли? Или с ума схожу... -.-ах, дышать трудно...»

Объезжал работы. Десятники дивились -^привычной его рассеянности и вялому, :гасшему взгляду. Дома один сидеть не мог. 5 гостях не отпустило томительное ощуще-нье. Гнал быстро всю дорогу, домой спешил. А подъезжать к селу стал, назад повернуть захотелось. Размяк как-то весь, опугтился.

Вдруг лошадь взметнулась на дыбы. Инженер вылетел из седла; на ноги встал быст-и легко. Лошадь неслась в сторону от до-:сги.

— Стой! Тпру-у!

Хотел кинуться догонять. Но вздрогнул дчльно, всем телом, сам — и остановился. Згромный лохматоголовый мужик вырос пе-гед ним. Будто внезапно родился из темно-

— Раскатываешь? Разгуливаешься? Гукин сын, сволочь! Для разгулки здесь поселен? Штобы девок портить, баб хороводить сюда прислан? А?

Услышав хриплый, страшный, но живой человеческий голос, инженер взбодрился:

— Убери руки, негодяй! Лошадь испугал. Прочь с дороги! Что тебе надо от меня?

И торопливо вынул из кармана черный, короткий, но крепкий револьвер.

— А ну вдарь... Пошибче вдарь! Стреляй! Я те кулаком дам острастку! Учуешь,

каково легко убить Савелья Астафьева Магару.. Ну?

— Пусти... Пусти-и руку, пьяный черт! Ну.у?

Выстрелил в воздух, но в тот же миг зашатался от удара в висок тяжелым кулаком. Покачнулся, взмахнул руками, заплясала темнота перед глазами. Но на ногах выстоял. Револьвер из рук выпустил.

— А, мерзавец! Драться вздумал?!

Вцепился одной рукой в бороду Магары, рванул с силой, вырвал вторую руку и с яростью стал отбиваться от ударов. Старался дотянуться до земли, чтобы поднять револьвер. Но Магара придавил его и свалил совсем на землю.

— Сильный... ч-черт! Отъелся на хороших харчах. А вот... вот... Еще получи! Отбиваться? Н-нет... от Магары не больно отобьешься. Что сердце; что рука... н-на! Получи!.. У меня чнжолые! А н-ну.,. р-раз!

Рукояткой схваченного с невероятной быстротой с земли револьвера Магара ударил с силой в затылок инженера. Тот дернулся в живом последнем вздроге; молниеносно и остро ощутил запах земли и какой-то близкой ароматной травы, без мысли, ощущеньем, ярко увидел или вспомнил что-то, о чем надо крикнуть, что надо выдохнуть. Но не крикнул и не дохнул. Остался лежать на дороге недвижный, невидящий, неживой. Опустошенный мешок человечий.

— А, готов! Убил... Еще убью-у! Не с того, што хилой тот просил... Д-да...

Крепко и крупно шагая от трупа, бормотал глухо невнятные слова. Не то каялся,

**е** то торжествовал и грозил. Но шагах в есяти вдруг остановился, застонал, швыр-.л с силой в сторону револьвер и бросился ежать. В степь, дальше от села. Бежал ыстро, но зорко видя все вокруг и слушая емноту напряженным ухом. Как убегают т неволи или от смерти.

### VII

В свой срок залегла зима. Деревня за-ернулась в снега, в короткие буранные или грозные дни, в долгие ночи с томительным чжелым сном в закупоренных избах.

Порядок зимней жизни мужичьей **был** гежний. Только мало свадеб играли.

По ночам, когда на высокой горе за се-:м, в степи за горой, на реке и в лесах тво->:лось холодное торжество сиянья белых ;-;егов и тишины, деревенская улица по-гежнему нарушала это торжество буйст-:м гармоники, песен, женских криков и -охновенно-яростной брани. Но совсем ма-: осталось на улице холостежи. Кружили ҕ ней в невеселом разгуле бородатые семей-ке люди в годах и прибывшие на побывку :-лдаты.

Было больше драк, лихого свиста, **Оабь-**-о визгу, но рано затихала гулянка, и дев-и возвращались домой нерадостные. Гуль-а **не** тревожила спящих в домах. Только в коле на выезде пугливо вскакивала с по-ели новая учительница, молоденькая горо-**анка.** Осматривала болты ставень, крючок двери и плакала. Да Мокеиха в своей избе

ругалась, вздыхала и молилась. Скорбь и боль отшибали у нее сон. Опять одна зимовала. В острог взяли Ваську, хоть в день убийства инженера и всю ту ночь разбитый хворью Васька лежал. Оправдаться легко было, но сам Василий в перепуге запутался. На Магару хотел подозренье высказать, а вышло, что сам Васька на убийство Магару подговорил. И чем больше допросов, тем хуже. Совсем запутался. В поклепе на Магару стало начальство сомневаться. Так и умер Васька в остроге завиненным.

Акгыровцы про Магару и верили и не верили. Но никто не хотел, чтоб его поймали. Тогда снова начнется канитель. Акгыровских и так замаяли допросами. Теперь затихло дело. У инженера родных, видно, нет. Никто, кроме начальства, разыскивать убийцу не старается. Как умер Васька, ничего не стало слышно ни про следствие, ни про суд. Только охрану на постройке усилили. Инженеры стали тоже опасаться. Зря в поздний час остерегались раскатывать.

Вирку скоро обелили. Из города прислали как беспаспортную под здешний надзор на родину. А теперь, слышно, и документы есть у нее. Родня, понятно, к себе ее не приняла. Да она и сама не охотилась. На постройке работать стала. Зимой постройка на многих участках остановилась. Но около Акгыровки гору пробивали, туннель проводили. В бараках с беженцами Вирка теперь живет. Шибко гулять начала. Каждый праздник пьяная и буйно веселая. Между бараками за деревней своя улица. На ней пляшет, песни поет и с мужиками разгульными и с рабочими

-уляет. Господ, на диво всем, не допускает >: себе, хоть многие из них любопытствовать пали. Сам земский приезжал в кухарки нанимать. Она к нему и разговаривать было не пошла. Силком притащили. Поглядела на него с усмешкой, пригладила растрепавшие-:я волосы и сказала:

— Ты — начальник, тебе сила дадена. Только не на меня. На меня, барин ласковый, -еперь управы нет никакой, потому что мне уж все не страшно. Не пойду к тебе. Не застращаешь, не желаю.

Это при троих мужиках да при уряднике. У земского краска в лицо пятнами кинулась. Гам себя в расстройстве за светлую пугови-_у дернул.

— Что за околесицу несешь? Я и не думал грозить или звать насильно. Мне кухарка опытная нужна, вот и указали на тебя. Прошу прекратить глупые эти... возгласы. Не хочешь наниматься, не надо! Я думал, •ь* нуждаешься в работе.

— Работы на наш горб хватит. Вашему брату из-за работников за столь верст коле-:ить не надо. Под боком найдутся, на слушок :зми издаля спину свою притащут. Не хо-*ит ведь хлеб за брюхом, сказывают. А я те->е не на работу, а на усладу...

— Пошла вон, дура! Такая дерзкая, скверная баба! Ты у меня смотри!..

Отозвалась от дверей. Не зло, а так — будто сама с собой говорила в раздумье:

— То-то, говорю, смотреть нечего. Ни тюрьмы, ни сумы, самой смерти теперь не боюсь. А тебя ославлю не по-хорошему. Заступников себе, коль захочу, найду. Вид-

но, медовую больно мать меня выродила: и городские начальники липнут. Не топочи, ухожу!..

В большом расстройстве уехал. Думали: конец Вирке. Сошло. Начальник и тот вязаться с ней побоялся. Или забыл. Слышно, докторицу молодую в больнице облюбовал, с ней утешился. А Вирку для услады в прислуги нанимать еще один барин приезжал. Из дальнего участка, над многими инженерами главный. Строгий, с сединкой, господин настоящий, чистей всех здешних господ одетый. Руки держит так, будто замарать о других людей боится, и голову высоко несет. А к Вирке ласково, с усмешкой в усах, подсыпался. Вирка сразу его не отшибла. Спросила:

— А сколь жалованья положишь?

— Я, право, не знаю... Скажите, какую сумму вы считали бы достаточной? Готовить вы умеете и вообще... Моим требованиям, кажется, удовлетворяете. Я люблю хороший стол и аккуратную, чистенькую, здоровую прислугу.

— Это уж как есть. Видала господ-то,— чую, что вам надо.

— Ну вот. Очень рад. Я не скуп. Вам согласен платить двадцать рублей ежемесячно. Ну, разумеется, на всем готовом. Только предварительно я вас попрошу сходить к врачу, нет ли у вас чесотки или еще какой инфекции...

— А семейство ваше сколько человек?

— Я один, без семьи на постройке. Вам не будет тяжело.

— Какая уж там тяжесть, одна сладость

*.аходит. А прежней-то своей стряпке столь-
•: платили?

— У меня повар военнопленный. Да вы
-Z беспокойтесь: я говорю, что не скуп. Ему
-.-пил десять, а...

— Мне, стало, за бабью мою плоть де-
:-ггку прибавки. Эх ты, лафа бабам! Ну, я
тяжу, у черного народу совесть потвердей
-о:лодской. Жидка она у господ, са-авсем
KJLiKa...

— То есть, позвольте... Я не совсем вас
т снимаю... Как?

— Из ученых ученый, а непонятливый.
Семейство у него есть, а бабу-гулену не для
:.туда, а для святости жить в свой дом зовет!
Нашинскому, из черного народу, совесть
~г дозволит про эдако дело голосом даже
-ахим договариваться. Вот с того и мутит
*гня от вас. Эх вы, господа! И в пакости —
^нсто в святости. Это только низкий
-1?од грешит, а вы и в грехе спасаетесь.
z. те разумытую харю твою разделаю. На-
влек отметины останутся! Я те приголублю,
~арый хрен! Не крича-ать? Эй, бабы, ай-
сзте в эту горницу! Скорее айдате, погля-
деть, как господа... Не бежи, растрясешься,
=азоняешь! Шкодить охота, дак ты так и
:>:азывай, а не сиди с хорошим лицом, чисто
прошей жизни старатель.

Господин после рассказывал, как он от
сумасшедшей спасался. С придыханием,
:разу теряя важеватую манеру свою:

— Это удивительно! Положительно буй-
ное сумасшествие! И притом эротомания...
Удивительно — в простой среде такая изо-
щренная... эротомания.

В деревню Вирка не ходила. И деревенские от нее сторонились. Баба такая, что лучше подальше от нее. Еще в какой-нибудь суд да следствие втянет. При встречах без разговоров и приветствий обходили. Только Анисья одна, бабенка отчаянная, раз из-за нестерпимого любопытства к Вирке в бараки в праздник прибежала.

В недлинные два ряда вытянуты бараки, похожие на кирпичные сараи. Маленькие слепые окна на самой земле. Теперь снегом чуть не наглухо забиты. Отрывать приходится, чтоб не сидеть и днем в темноте. Скаты у крыш крутые и остроребрые, как у скворечниц. Рухлядишка домашняя прямо на воле за бараками валяется. Дворов нет. А поодаль недостроенный высокий дом для будущего полустанка.

Пустыми, без окон еще, глазницами своими на норы человечьи пялится, крыльцом без дверей щерится. Около него на бревнах сбились кучкой мужики-беженцы и три военнопленных в чудных коротких шинелях, а поодаль — бабы. На солнце в нынешний теплый день из щелей своих повылезли. Анисью оглядели прищуренными от яркого снега глазами. Между баб живой говорок пробежал:

— Здравствуйте-ко, бабыньки! И где тут Вирка нашинская живет?

Молодая беженка, с головой, как колесо, от чудной нездешней повязки, из^ платка остренькое лицо выставила и засмеялась:

— За бараками, с той стороны пошукай. Где пляс да гулянка, там и живет.

Но Анисья зоркими глазами уже видала

далеко впереди Вирку. У барака стояла. Когда Анисья подошла, не услышала сразу. В сугробы, в степь смотрела. Лицо у ней было суровое. Бороздника меж бровей резко обозначилась. Будто искала глазами чего-то в сугробах тех. Не нашла и шибко оттого растревожилась. Шубенка на ней была старая и платчишко на голове потертый, замазанный. Анисье неласковым ответила голосом:

— А-а, здравствуй, коль не шутишь. Чего пришла?

— Ишь ты, как заспесивилась! Поглядеть пришла, как живешь в развеселом-то житье. Чего башку воротишь? Я к тебе с хорошим словом, как бывалыча, а ты рыло в сторону. Другие-то бабы плюются, как кто заикнется про тебя, а я...

— А у тебя слюней мало! Жалеешь? Чего ты, Аниська, прибежала ко мне? Поглядеть да потом языком чесать? Ну, гляди. Не впервой видишь. Какая была, такая и осталась.

— Нет, не такая. Поплоше и злее. Зря ты так-то со мной! Видно, девка, не сладко тебе и тут. Чтой-то ты обряду-то себе хоть не справишь? И в бедном житье ране почистей ходила.

— А кому обряда-то моя нужна? Да не больно много капиталу у меня, чтоб наряжаться. На харч достает, и то ладно.

— Вот, Вирка, с богом-то спорить как! Охальничаешь перед ним, не молишься, не каешься, он и забижает тебя. Нету тебе долюшки, так катает тебя по разным местам. Э-эх, горькая твоя жизнь, баба! Право,

горькая. Я позавидовать было шла, а теперь гляжу — плохо живешь.

— А ты больно хорошо? Все под богом плохо живут, Анисья. Каждого своя ржа ест. И который говорит, что хорошо живет, только топырится для веселости, об жизни об своей думку подальше загоняет, штоб не точила. Вот как ты.

— Чего это я плохо? Слава богу, в достатке и в своем угле. Без слезы, без хварьбы, знамо, живой не живет. Разве, может, господа, а наш брат не живет. Ну-к што ж? Я хорошо живу.

— И господа на таких же дрожжах, как мы, всходят. От бабьей да от мужичьей плоти. И у них печенка человечья тревожливая. Плачут и хворают. Как не плакать и не хворать? Только продовольствия себе много захватили, дак в сытом житье живут. Плакать-то плачут, да только от зряшного. Нам бы сейчас на их кус, дак мы бы не плакали.

— А что, Вирка, вот с того я и думаю: будто ты от роду и не дурочка, а по-дурьи все делаешь. Про господ вот... Ведь как сказать, слух у нас в деревне есть, что ты на гульбу охотлива. Дак, по крайности, гуляла бы с умом, достаток бы наживала. Вот и пожила бы в господском житье. Вот из Романовки Мотька-то в город подалась, в хорошем заведении живет, дак у ей платья шелковые, кольцо золотое. Приезжала на роздых, хвасталась. Да и здешние-то, которые около инженеров кормятся, погляди. Што тебе обувка, што одежа, — завидки берут глядеть! А ты... Посмотришь, и прямо жалко. Ей-пра, жалко. Все одно, коль на то дело

пошла, дак, по крайности, с пользой бы. Господа-то к тебе как льнут.

— А ты што же со своим австрийцем без пользы спишь? Тоже взяла бы да нажизала на этом деле.

— Ат сравняла! У меня дом, хозяйство не порушены, и на улке петь — пою и плясать — пляшу, а на гумно лежать с разными не хожу. Астриец што ж! Грех мой один. А так я венчанная мужу жена, детям мать а дому хозяйка. И всяк скажет: пакостлива бабёнка, а шлюхой не назовет.

— Зовут. Я слышала, да ты и сама слыхала.

— Дак то со зла когда, а все одно мир меня за мужнину жену почитает, кличет по мужу, и я вровень с другими бабами иду. Не то есть грех, не то нет, — еще бабушка надвое гадала. Никто меня за ноги не держал. А если я тебе сама што болтала, дак, может, так, для веселости задуривала. Подика докажи! А твое дело другое: все напоказ. И с Васькой, и с инженером с этим, и теперь. Не хочешь, да видишь. Одна такая во всей деревне, как бельмо на глазу. А на славу на такую шла, на страм перед людьми, дак уж за чего-нибудь, а не дарма. А деньги, да одежу, да домашность заведешь, дак и при твоей жизни другим глазом мы на тебя глянем. За спиной скажем потаскуха, а в глаза: Авимовна. Нет! Нет, Вирка, зря ты на меня косоротишься. Я тебе для твоего же добра советы даю. Другая так с тобой говорить не будет, а у меня сердце ласковое. Я никому зла не желаю.

— Ну, а у меня, Анисья, на эдакую ласку

сердце неохотливое. Не жалей и не советуй. Иди-ка, баба, домой, гуляй себе по-своему, а меня не замай.

— Нет, не будет тебе доли. Ох, не будет! Больно уж занозиста. Высоко себя несешь, а все в дерьме хлюпаешься. Стой, стой!.. Еще на словечко одно.

— Еще не все выболтала? Много их у тебя. Такой же дешевый товар, как и ласка твоя. Чего тебе надо?

— Чего ты от господ шибко отбиваешься? Вот я никак не смекну. Желанного одного и середь мужиков у тебя нет. Ай по Ваське мозглявому после время сохнуть зачала, ай тот барин чем шибко изобидел, а?

Вирка скривила губы, глянула в любопытные Анисьины глаза и крикнула злым высоким голосом:

— Уходи, трепалка долгоязыкая! Не тебе на духу буду выкладывать, кого жалею, с чего пропадаю. Ну, повертывайся! И дорогу ко мне забудь. Был час, когда и ты мне мила была, а сейчас никто не мил. Сдохли бы вы всей Акгыровкой, я бы возрадовалась. Черт меня привязал к вам!

Круто повернулась и быстро в барак ушла. Целый день в углу своем на тряпье ничком пролежала. Баба-беженка, по бараку сожительница, долго на нее глядела. Потом спросила удивленно:

— Когда же ты, красавица, напиться-то успела? Я и не видела, а?

Не дождалась ответа, сплюнула и из барака ушла. Все разбрелись, одна Вирка осталась да трое ребят. Назябшись на улице, на печку забрались, там шумели. Когда

Вирка поднялась, старшая из троих, восьмилетняя Грунька, спросила:

— Отрезвела, тетенька? Гулять сейчас пойдешь? Мамка сказывала—кузнец около барака вьется, все тебя нюхает. А мне чудно! Чего же это он нюхает? Ходит да нюхает!

И засмеялась звонким детским смехом.

Вирка вздохнула и сказала устало, врастяжку слова:

— Ты не слушай, Грунька, чего большие бабы болтают. Не пересказывай мне. Мала еще, чтоб ихними пакостными словами мараться. Ну-к, подвиньтесь, я с вами на печке посижу, погреюсь. Понастроили нашему брату хорому, со всех щелей дует, а от солнышка в земь запрятали.

Грунька подперла щеку рукой и сказала гго-взрослому, по-бабьи подхваченные сегодня на лету слова:

— А на улке-то тепло, солнышко нынче уж на весну, веселое...

И другим, живым, своим голосом спросила:

— А чего ты нынче не гуляешь? Ох, и чудно ты песни прошлый праздник играла. Пья-а-ная!..

Опять хохотом веселым залилась. И оба мальчишки, поменьше, вместе с ней. У Вирки тоска по лицу темным облаком, а глаза большие стали и нежные. Погладила осторожно пегую девчонкину голову. Самый маленький мальчишка в дреме детской, внезапно сморившей, к плечу ее привалился, передохнул и ровно задышал. Вирка, боясь шевельнуться, чтоб не стряхнуть доверчиво припавшего к ней ребенка, тихо сказала:

— Грунь, про «Золотую зыбочку» сказку слыхала?

— Ну-к, Вирка, тетенька... Ну-к, скажи.

И мальчишка постарше поближе придвинулся. У Вирки от горькой нежности сердце захолонуло. Ласкала детей несытым любовным взглядом и певучим, хорошим голосом сказку рассказывала:

— ...и скучно ей стало, и запечалилась, тишком слезу лила, тишком тую слезу рукавом смахивала, и вот спрашивает ее...

В эту ночь Вирка гулять на улицу совсем не вышла. Трезвая и сумрачная, рано спать легла. Но долго на тряпье своем ворочалась.

## VIII

Еще холодом бело и твердо дышали в степи снега. И в деревне, и в бараках за деревней еще глухи были навалы сугробов перед окнами.

Но дольше и горячей солнце в землю вглядывалось. И с теплой стороны ветер жаждущий стал налетать. Пил снега. Еще не опали, но раздрябли они. Веселей засуматошились воробьи. Меньше лежала, нетерпеливо двигалась в стойлах и слышней свой голос давала скотина. Охотней на волю из жилья выходил человек. Глаза человечьи к небу чаще тянулись. В набухшей облачной серости искали легкую синь.

В праздник сретенья тепел и весел день на землю сошел. Даже отдыхать после раннего обеда мало кто залег. Все на улицу выбрались. Но еще до полдня прокатила по Акгыровке пара тощих от частого разгона

з<мских лошадей. Колокольчик прозвякал. Эколо сборни замолк. Народ на улице затревожился. Староста, кряхтя, с завалинки поднялся.

— Не то начальник, не то из земства рассказчик. Сгонять поди опять в сборню на:од надо. Эх ты, зачастили, прямо роздыху не дают.

И, сердито стряхнув с тулупа налипший :нег, неохотно к сборне пошел. А через малое время мальчишки под окнами забегали. Зесело в стекла постукивали и звонко выкликали:

— Дядя Силантий, на сходку-у!..

— Тетка Матрена, посылай мужиков в школу на сход. И сама иди! Баб тоже оповестить наказывали!

— На сход, в школу-у...

— Айдате в школу! Из городу начальник зысказывать буде-ет!..

Даже к Мокеихе востроглазый, развеселый в рваной мамкиной кофте заглянул:

— Баушка-а! Не спишь? Айда на сход, я всякую бабу зову. Велели, дак чего не звать! И старух зову-у.

— Напугал, окаянный! Базлает дуром. Нешто опять наехал кто?

— А ну да... Чать, про войну-у высказывать будет. Может, с картинками. Сыпь, баушка, в школу скорей.

— Вот сейчас так и посыпала, дурак ты пучеглазый. Нужны мне твои картинки да пустобрехи городские. Закрой дверь, не выстуживай! Я вот те дам подзатыльника горячего. Нужен ты мне с оповещеньем с твоим.

Но оделась и пошла. И все с ворчаньем,

будто нехотя, но в школу шли. Много народу набилось. Дело праздничное, можно поглазеть и послушать. Кержаки пришли. Из бараков гольтепа в школу набилась. Виринея протолкалась молча к окну, в лица встречных не вглядывалась.

Топтались плотной толпой, ругали приезжего из земства, в **Старостиной** избе замешкавшегося. Но ругань вялая выходила без горячности. Привыкать стали уже к беспокойству наездов господ из города. В начале войны только по волостным селам ездили. А теперь стараются — ив такие деревни, как Акгыровка, наезжали уж не раз.

Только старик Федот настойчивей всех шамкал горькую укоризну:

— Сколь теперь начальников развелось! Беда! И все разного сорту, не подладишь никак. Ране-то знали станового да земского. У их с мужиком разговор хоть крутой, да недолгий. А теперь из этого из земству больно разговорчивый начальник пошел... И на всякое дело особый свой. Агроном там, скажем, скотий дохтур, бабы ездиют воспу ляпают... А мужик все вози, всех катай, ублажай... Што ни дале, то чудней. К чему делу какой над мужиком поставлен — и не разберешь. Теперь из книжки читать, про войну сказывать — опять отдельные начальники. Не вздохнешь, не охнешь без начальнику. Должно, от войны все образованные начальниками сделались.

И, покачав головой, на батожок свой потверже оперся. В тягучую старческую думу об изжитом, оттого уже больше нетре* вожливом, погрузился. Старые глаза тихо

• зут. Притушенные усталостью, новых ви-
-:нй не ищут. Дурное и хорошее, их взгля-
зидеть в жизни положенное, уж отгля-
тн. В бестрепетной тусклости успокоились.
сердце до конца, пока совсем не зале*
**-гет** в жилах кровь, тревожится. От но-
т забот и себя и всех вокруг оберечь
**-гг.** Оттого, когда пришел и стал громко
сказывать худощавый приезжий с вих-
гтым чубочком над озабоченным лбом,
.лот ухом слышал его слова, но думал о
**•ем** и часто тяжело вздыхал. Проще
**-ъше** жизнь в округе шла. Жили здесь
городских людей, от крупных начальни-
**5. от** царя — далеко. Горами, логами, буе-
•:ами, речушками без мостов, лесами низ-
гослыми, но густыми и верстами степны-
лукавыми от них отгорожены. Лихую
тсучку летних дорог, внезапную ярость
танов на зимняках только становой с
**УСКИМ** нечастыми наездами осиливали,
—ого разномастный, разноязыкий народ
здесь под начальством мелким. Под
уником, старшиной и писарем волост-
м. Правда, от мелкости своей оно было
арательно лютым. И даже беспечальные
шкиры твердо запомнили сроки, когда
***20*** в волость «темную» (взятку) везти,
эрая глазами мордва научилась издали
саря узнавать. Длиннобородый важеватый
~жак и тот по часу нужному сдавал,
бачное зелье, для староверского нюху
способное, в своем поселке на въезжей
юстному начальству разрешал. Только
лядом, в угол сердито отведенным, отме-
***1*** обиду сердца своего. Но без этого нель-

зя. Начальство над мужиком ставится не для услады, а для надсады. Но та надсада как старенький разношенный хомут, уже привычной была. А теперь, как царь на войну разохотился, во все стороны руког достал, мужиков на свое дело собрал, еще невиданная колгота пошла. А для той кол готы и начальников много понаставили Сходами замаяли. Докучают шибче стано вого. Тот дал в ухо, получил за старанье свое приношенье какое из мужицких за пасов и дальше ускакал. Дело свято. В голове позвенит или зубу не досчитаешься Что ж! Зато сразу отмаялся. А на этих и расход идет, и еще подолгу гомозят. Вот такие, как сейчас, все ездят, воевать уговаривают. Ишь вон нажаривает: Сербия да Бельгия. Своей докуки не скачаешь, а он про чужую зудит. Слово к слову ладно прикладывает. Ох-ох-ох, господи батюшко! Народу разного много ты, владыко, расплодил, а земли, видно, мало помастрячил. Все дерутся. Друг от дружки, один царь от другого, под свою руку землю отнять норовит. И мор на людей случается. На Федотовой памяти три больших навалки в могилы было, а все земли не хватает. И на войнах мужичья поубивали много. Считать коль только по своей волости, кто убит, кто от раненья преставился, кто без вести, в храбрых не сосчитанный, кончился,—длинно поминанье выйдет. А этот чубастенький разливается, как раз про храбрость русскую солдатью выкладывает. Ох, храбры, храбры, а поди храбриться тоже надоело! Смиловался бы царь-баткЯико, как ни то подладил

п там за замиренье. Нет, не высказывает, слыхать про мир!

И как бы в ответ на стариковы думы :н женский голос лектора прервал:

— Это нам уж сколь раз размазывали, со германский-то про плен. И картиночки _зали, как он лих. А чего же, как из пле* наш народ вызволять — ничем-ничего?

Лектор, перебитый на дрожащей душев- :^ ноте, смолк и растерянно взглянул на :.слу. Но быстро оправился и снова заду- езным голосом отозвался:

— Позвольте, я сейчас... Кто-то мне трое задал? Я сейчас отвечу. Вот видите, гатцы, сейчас меня женщина спросила... -росила с сердечной болью! Женщина, же- с Й мать, разумеется, несет на себе тяжесть coiefi священной войны. Но когда война • е?бходима для защиты...

Слушатели задвигались. Виркин вопрос ззбередил. Прошел в школе не то общий слитый вздох, не то гул от переговоров. глот ближе к лектору подался. Ласково -:ь его перебил:

— Бабенка-то энта глупая в час слово-то азала, ваше благородье! Бывает так. То- . мол, бывает. Сдуру ляпнет малолеток и баба, а оно в час и нужным то глупое эво выйдет. К тому я, к тому, не гневай- :ь, ваше скородье. Охотятся мужики нать: про замиренье не слыхать ли чего? суху нет ли в городу?

И смятенным разноголосьем надвину- сь на лектора толпа:

— Может, раздышку хуть какую • ъявят?

— У мене старшого, Митьку-то, убил? а сичас опять в письме: Васька шибко по: стрелен. Чижало дело-то обертывается.

— Слышь-ка, как называть-то, не знак скажи-ко, голубь, игде хлопотать? Способье то задержали в волости, а мужик-от от шибленный у меня. На войне то есть зава лило его! Руками, ногами не владает.

Худая, желтолицая баба с огромны*, страшным животом на лектора надвинулась Настойчиво и тоскливо спрашивала:

— Как приходил на побывку, адрес- прописал: действующая армия, двести седь- мого полку.,. А Гришка конопатый оттудова сейчас: нет моего-то... Где искать? Во все розыски писала. Игде теперь искать? Аг

Загудели тревожным, озабоченным гу- лом. Уж отдельных вопросов не мог лектор слухом уловить. В беспорядке врывались отрывочные слова:

— ...мир!

— ...нащет способья!

— ...ерманский город, не сказать мне, как его...

— ...посылку в плен надписать...

— ...сухари Ваньке посылали, не по- лучил...

Ни о победах, ни о пораженьях, ни о ходе войны, ни о численности армии, ни о мощи ее не расспрашивали. Говорили о ма- лом. Каждый о своем. Разбивали расспро- сами армию на Митриев, Иванов, Васильев. А большое целое, как чужое, совсем умом не охватывали. Это дело начальников и царя: война, армия, победы, отступленья. А у них — Ванькина смерть, Петрухины раны

юрей бы конец войне. Это свое, кровное, ~: отдано ими для войны и счет которому :-дельности ведут они. Лектор растерялся. • -ороде совсем другое настроенье. Там подают, что необходимо войну довести до Одного конца. А здесь тупо галдят: мир, считают изъяны только своей рубахи. ---- понес в это село! Предупреждали, что * :два... и вообще дикари. Вытер платком - -отевшее красное лицо и смущенно начал -госить:

— Подождите, братцы... Постойте, я не • •:гу сразу всем ответить. Вся страна сто-гт под тяжестью войны, но...

Не знал, как закончить сход, как к вы:ду пробраться.

В самое ухо ему звенящий Анисьин :,:ос:

— Эх, кабы цари один на один дрались! •"-о осилит, под того и мы. Нам все одно, <а не супротивимся.

Испугался. Вот до каких заявлений дело ::шло. Втяпался в историю. За такой сход -•: головке не погладят.

— Погодите... Прошу вас! Староста!.. ~де староста! Надо успокоить сход!

Но вместо старосты на подмогу рослый плечистый Анисим Кожемятов протолкался. Зыкнул:

— Потише, старики! Чего разбазлались? Диво бы — одни бабы, а то и мужичье без всякого порядку налезает. Дайте господину про дело рассказ кончить.

Привычная сдавать перед властным окгиком, сдала и сейчас мужичья толпа.

— Постойте, тише! Не напирайте!

— Чего ты орешь над самым над ухом

— А ну постой! Тише! Погоди!

— Да я разве что? Спросить у знающе го человека хотела...

— Уж извиняйте, ваше благородье, ко.:: что не так. Мы народ темный.

И в сникающем ропоте сгас шум искрен них и страстных расспросов и заявлении

Анисим Кожемятов, поглаживая *пол* праздничного своего пиджака, наставитель но закончил:

— Как посчитать, дак всякому война-тс не в сладость. А ничего не поделаешь, над: натужиться да одолеть врага. Нечего на доедать: когда мир да скоро ль отвоюют- Когда будет конец — объявят. Мужик для того и родится, чтоб землю пахать да на войне воевать. Богу надо молиться, на ар мию жертвовать, а зря галдеть совсем не хорошо.

И приободренный им лектор уже в по корной тишине закончил:

— Велики страданья наших солдат, не неустрашим геройский дух армии. И наша победа близка.

Когда распрощался, ушел, народ снова загалдел в школе и около школы на улице. Вирка сердито говорила на ходу беженкам из бараков:

— Намолол за три мельницы, да все не про нашинску нужду. Да еще про наше дело и не спрашивай! Ух, и зло меня забрало. Сгрести бы его тут да намять бока. Пущай хоть не под пулей, а под кулаками бы хуть помаялся. Небось сам в солдатах-то не был, в окопах не лежал.

Короткий мужской смех сзади всех че-
^тех баб разом оглянуться заставил,
зе^лоусый, с бритым подбородком высо-
• *k* мужик в солдатской одежде шел и смеял-
Спросил Вирку с незлой насмешкой:
— А ты лежала в окопах? Почем зна-
— может, там сладко лежать-то?
— Для таких, как ты, сладко, коль сам
-:е не лежал. Рожа-то гладкая! Видно,
-ороду в каких-нибудь сапожных аль в
суженье спасался. Чего-то и харю-то твою
т:тивную впервое вижу. Видно, не из на-
деревни. Пошел своей дорогой! Чего
**гзш** разговор влезаешь?
— Уж очень ты спесива да задорлива!
**2** только без толку. Я на тебя еще в школе
члел, как ты шумела. А чего шуметь зря?
-г мозгляк этот говорливый дело делает.
— А не он, дак пущай и не вередит,
его ездиют, народ тревожат, над мужиком
нляются? Эх, была бы моя воля...
— Ты бы сама царевать стала. А? Чьего
*zx* роду-то, я тоже что-то не признаю. Эти
Иы-то, видать, не нашинские, а ты ровно
гешняя, а не припомню тебя.
— Вот привязался, липучий черт! Иди
=оей дорогой! Да за мной гляди не вя-
:-:сь. Я эдаких вальяжных не люблю. Дру-
-г солдаты на войне маются, а вот эдакие
і теплых местах спасаются. Тьфу! Ноги
^ тебе переломать с разговорщиком с этим
->есте.
Солдат засмеялся и в переулок свернул.
Вирка всю дорогу до бараков ругала
о и лектора. Беженки, понурясь, не-
бычно молчаливо шли. Их своя забота

долила: скоро ль отправка на родину на-
нется?

Вечером тот солдат к баракам приходи.
Вирка с кузнецом акгыровским, плохой *слс*
вы мужиком, плясала и обнималась. С
поглядел и ушел. А Вирке сразу скучь
сделалось. Оттолкнула кузнеца:

— А ну тебя, рыжий черт! Надоел
Одно, лапает! Жена хромая, не совладае
с тобой, а следовало бы морду твою п\
чеглазую хорошенько набить. Чего к други
бабам вяжешься?

Тот еще больше глаза выпучил:

— Да ты же, Вирка, сама с охотой.

— А была охота, да пропала. Много вас
старателей под легкий-то под подол. Не **вя**
жись больше ко мне, краснорожий! Другук
игральщицу себе ищи.

Двинула под самые зубы кулаком, и:
объятий высвободилась и ушла с улицы
А в бараке у них, несмотря на поздний час
Анисья Вирку дожидалась. Глаза у ней
были наплаканы и лицо вытянулось:

— А я было за тобой на улку идти со-
биралась. Да сердце у меня не хочет сейчас
на веселье глядеть,— ну, замешкалась, по-
дождала...

Вирка взглянула неприветливо и нела-
сково спросила:

— Чего это ты сегодня расхлюпалась?
Аль сударик побил?

— Не говори ты сейчас мне про него, не
трави ты моего сердечушка! Ох, Вирка, го-
ре-то у меня какое! Мужик, шибко пора-
ненный, в городу в больнице лежит. За ним
приехать наказал.

— В каком городу? Откуда ты узнала?

— А Павел Суслов вернулся нынче, на-•.is передал. Вместе, говорит, с им в лаза-е^е в Москве их лечили. Павла вылечили, - ничем-ничего не видать, что больно ра-е^ый был, а мой-то Силантий чуть дышит, -азывает. Отпустили домой,— все одно по-. - рать! Пашку-то из города довезли, а моего •*1* отдельной на подводе надо. Приезжать *:-:е за им велел. Ох, головушка моя, ох, :ердечушко в лютой тоске! Дождалась, :: молилась! Може, только глаза закрыть • доведется мне...

Перешибло слова рыданьем. Но Анисья з^стро слезы вытерла, заглотнула плач и :-эва заговорила торопливо и сбивчиво:

— Завтра чуть свет выезжать надо, а на • :го спокину избу и хозяйство? Ребятишек-: куды ни то на время порастыкаю! И ко-: эва одна хворая, и за шараборой доглядеть надо. К тебе, Вирка, с докукой: айда -^домовничай. Работа-то на дороге у тебя, - слыхала, поденная.

— И вовсе никакой нет. Из бараку-то -:>нют. Теперь на работу мало народу тре-'уется, да и то мужиков, а баб не хотят. 2лыхать, не будут нонешний год дорогу-то достраивать. Силов из-за войны не хва-¯ает.

— Да то и я слыхала! Так, сразу-то не :казала, а знала, что тебе податься некуда.

— В чайную на участок прислуживать зовут...

— Ну, уж ты для-ради Христа мне уважь. Дурная ты, а на хозяйство сметливая. А ведь, как сказать, и в горе, а все

одно по хозяйству забота свербит. Подомов ничай!

— Мужики охальничать будут. Кабь окна из-за меня тебе не повышибали.

— Да я соседям всем поклонюсь, приглядят. Главно дело — корова хворая, а у тебя к скоту рука способная. Кузнеца-тс своего уж как ни то ублажи, расстарайся. Аль кто там еще у тебя? Приластись хорошень, попроси: они заступятся.

Вирка усмехнулась:

— Да ладно уж, не учи! Сама отобью, сумею! Ладно, приду завтре на свету, коль уж дело такое.

— Да ты нынче айда со мной. С тем шла. Айда, ластынька, шибко сердце у меня горе жмет. К Павлухе забегём, еще ладом расспрошу, как к мужику-то в городе доступиться. Айда собирайся скорей.

— А какие мои сборы? Добро не укладать, сундуков не запирать. Что мое, все на мне. Эй, Ульяна, слышь ты, я на деревню ухожу. Завтра на участок не пойду с тобой.

Шибко шли. Анисья на ходу плакала, слезы вытирала, вздыхала горестно и по хозяйству своему деловито распоряженья Вирке давала.

За два дома от своей избы Анисья в чужой двор свернула.

— Я сейчас у Павла поспрошаю. А ты иди в мою избу. Ребятишки-то одни. Не знай, спят, не знай, кричат. Астрийца-то ныне я со своего двора прогнала.

Вирка проводила ее взглядом и вспомнила. Так тот солдат Павел Суслов и есть!

'.зло и давно видала его, вот сразу-то и не гнпомнила. Царскую службу отбывал, а -т война. Четыре года службы да войны три без малого. Семь лет в своей деревне не был. Ну да, он же и есть. Баба у него ттом померла. Ребятишки одни, слыхала, Е избе отца дожидались. Вон что! Здешни, и с бедного двора, а несет себя высо• : как. С неожиданной злостью подумала: «А от войны, видать, все одно в спо-ое хоронился. Уж не знай, где это он раненный был. Шибко вальяжный».

## IX

Неделя к концу доходила. Анисья из ~орода все не возвращалась. Виринея и во лзоре и в избе одна убиралась. К вечеру :.чльно уставала. Тяжелели ноги, и ныла мина. Но засыпала с горькой усладой: хоть чужим детям матерью эти дни была, хоть в чужом хозяйстве привычный крестьянский труд, как в своем углу, одна, без хозяйки, справляла. Первые ночи, правда, тарни около двора охальничали. Непристойными словами Вирку на улицу выкликали. Одно окно камнем разбили. Но на вторую ночь Павел Суслов вступился. Не за Вирку, а за Анисью.

— Мужик на войне маялся, теперь помирает, а вы его хозяйство, сволочи, зорите. На сход вызову, старики в волости вас проучат! Чего? Меня послушают! Ты, конопатый, тут песни орал да с девками занимался, а мы с Силантием кажный день встречали:

не последний ли? Не сметь у двора его похабничать! Надо вам эту бабу,— ловите на улице, а тут не срамите. Других солдат подговорю, и без стариков проучат вас за Силантия.

Парни, отругиваясь длинными матерными ругательствами, от избы Анисьиной ушли. Больше по ночам не тревожили. А кузнеца Вирка сама отвадила. Он ночь у избы Анисьиной пошумел, а наутро она в кузницу к нему пришла. При людях, не постыдилась, голосом громким и твердым сказала:

— Я, Нефед, гулящая. Кажный хороший человек может меня срамить всяким словом, где ни попадусь. В глаза в мои бесстыжие плевать и смехом похабным бесчестить.. Хорошему я всякую обиду спущу, перетерплю, еще поклонюсь да отойду. Только не видать хороших-то! Все больше пакостники, блудники да злыдни. Дак нечего и от меня хорошего ждать. Пока охота была блудить с тобой, блудила. А сейчас на дух не надо тебя. И ты меня не замай! Горло зубами перегрызу, морду ногтями изнахрачу. Смерти не побоюсь, а тебя от себя отважу. Отвяжись лучше добром! С топором сплю, и топор рука подымет, вот тебе слово мое. Я бесстрашная. Пущай все вот тут будут свидетелями. Как пообещалась, так и сделаю.

Глаза у ней стали ярко-золотыми, жаркими. А лицо и губы побелели. Кузнец было радостно ощерился, как ее увидал, а теперь попятился. Сроду слуху не бывало, чтобы баба такие слова при людях мужику без опаски говорила! Чтоб стращала так му-

-ика. В большом и сильном теле у Нефеда читалась робкая душа. Куражилась тольо над слабыми, а от грозного напора сживалась. Сплюнул и сказал сумрачно:

— А на кой ты мне нужна! Без стыду :зма притащилась ко мне среди бела дня. Убирайся, покуда цела!

— Я уберусь, только слово мое помни.

— Уходи, тебе говорят! Лезет сама на всякого мужика! Спьяну, может, и был каой грех с тобой, дак я об этом и думать :>абыл. Н-ну, проваливай!

Вирка тряхнула головой и ушла. Мужики загалдели:

— Воротить ее, стерву!

— Избить хорошень, чтоб не грозила. Ла-аскудница!

— По старому обычаю как с такими ране поступались: избить до остатнего дыханья, заголить подол да на кладбище привязать к кресту. Пускай сдохнет в своей срамоте.

— Ну и выродили себе отродье кержаки со старой-то молитвой!

— Эдакой стервы во всей волости днем с огнем ищи, больше не найдешь.

Но Виркино бесстрашие такое, когда даже цепкости за самую жизнь нет в челозеке, невольно смиряло. Обезоруживало мужиков смешанным чувством боязни и восхищенья. Никто догонять ее не пошел. Никто больше в Анисьиной избе ее не потревожил. На улице ночами Вирка больше не показывалась.

С Павлом встретилась на речке. Из проруби воду несла, а он к той проруби шел.

Посмотрела равнодушно в его лицо и мимо было прошла.

— Стой-ко, спросить я тебя хочу.

Вирка приостановилась и спросила равнодушно и неспешно:

— Ну? Чего надо?

В эти дни отдыха от тяжелого хмеля, от ругани и шума барака, от радости труда, который считала своим, Вирка о мужиках не думала. И про Павла совсем забыла. Оттого и отозвалась без злобы, без привета и без вызова.

— 'Анисья приедет, ты как? Опять назад в барак уйдешь?

— В бараке-то место у меня, видишь, не откуплено. Рассчитали с работы. Может, в участок, где господа есть, служить. Может, в город подамся. Запрет-то с меня снят теперь, и документ есть у меня. А тебе что?

— А ко мне не поохотишься жить прийти?

Вирка посмотрела прямо и пристально в его светлые, спокойные глаза.

— Хорошей бабы-то разве не найдешь? Жениться тебе надо. У тебя дети, свое хозяйство.

— Женюсь еще, коль пригляжу для себя. А хозяйство невелико. Лошадь и корова. У людей кормились без меня. За прокорм заплатил, пригнал. Вот и все хозяйство.

— Дак и один с девчонкой управишься. Не такой достаток, чтоб работницу кормить.

— Без бабы нельзя. Женюсь, тогда и без работницы обойдусь.

— Девчонка у тебя большенька. Поди уж двенадцатый год аль боле? С ней упра-

вншься. Эдакая уже вполне схозяйствует.

— К тетке в город отправлю ее. Учить точу. Два парнишки малолетних со мной -олько останутся.

— Ишь ты, тороватый какой! Денег, видать, много нажил? Девчонку учить! Уж хуть бы мальчишку, а с девчонки какой толк? Учи не учи, все одно под мужа пойдет, не сама голова.

— А уж это я по своему разуму. Как хочу, так и поставлю. Ты про себя говори. Неохота, что ль, ко мне? Так трепаться-то лучше?

Вирка сердито сдвинула брови.

— Не больно зарюсь на нежирный-то твой кусок. Поди-ко я баба бывалая. Знаю, что жить в избу к себе не на одну денную работу зовешь. А ночью, чать, ублажать себя заставишь. Ну, а я гулять—гуляю, когда захочу, а за кусок аль за подарки — на это дело меня не укупишь. Не пойду. Ищи другую.

Поправила коромысло на плечах и пошла.

— Погоди!

— Ну, чего еще?

Павел помедлил, поглядел на нее и сказал просто, хорошим голосом:

— Зря ты, баба, все назло себе делаешь. Где лучше — не надо: я, мол, возьму да в самое худо нырну. Слыхал я все про тебя. Говорить много неохота мне, а вот: ты работящая, не вовсе истаскалась еще. Живи и работай по своему природному делу. Даром кормить не стану, я не купец, не барин. А за работу накормлю. Тем, что и себе по-

есть добуду. Насчет приставанья, ночного дела,— не зарекаюсь. Я молодой еще, ты молодая, рядом жить будем, как чать не распалиться? Но только говорю тебе: не снасильничаю. Не захочешь — не надо. Только уж, это тоже не совру, с другими мужиками, пока в моей избе живешь, тоже чтоб греха не было. Живи тогда сухо, спасайся. Для себя неволить не буду.

— Своя пакость не пахнет, чужая смердит.

— А уж это так. На другое я не согласен. Не стерпишь — уйдешь, не привязанная. А все хоть отдохнешь. И мне без бабы никак нельзя. С детями ты ласковая, я видал. Ты срыву эдак не отказывайся. Подумай нонче, а завтра скажешь.

Вирка мотнула головой. Потом тихо сказала:

— Люди смеяться над тобой будут. Много тут шумели про меня.

— Ас того, что сама ты того боле шумишь. Поживешь тишком, дак люди к тебе потише будут. Я вот гляжу да думаю, что и об грехе своем ты больше шумишь, чем грешишь. Много трепалась-то?

— Нет. С беженцем с одним, так на людях только со зла, а к себе не допущала. А с кузнецом вот правда. Только много я охальничала: пьяная на улице валялась и перед народом... нехорошо с мужиками озоровала. Да ты что меня, чисто поп на исповеди? Тьфу! И я-то расслюнявилась... Убирайся от меня, кобель ласковый! За тем же за делом ко мне, как и все, а с присловием с каким! Тьфу! Тьфу! Тьфу! Провались,

жаянный, хуже всех стервецов ты стерзец!

Шибко крутым подъемом от речки шла. Тяжести полных ведер не чуяла. Сердце колотилось в груди, и редкие у Вирки слезы глаза застлали.

И ночью плакала.

Анисья вернулась домой с побледневшим румянцем и непривычно тихая. Лошадь зо дворе распрягла сама, покупки в избу внесла. Вирку про хозяйство расспросила. И только тогда села на скамью у стола и подозвала детей. Стала их обнимать, гладить и голосить с положенным причитаньем:

— А и деточки, сиротинушки, да и на кого же спокинул вас родитель ваш, светик ясный Силантий Пахомович! Ой-й-ойошеньки, не ждала, не гадала, отколь и копц напала на сердечушко темна ночь. Голубь белый, желанный, соколик мой, дорогой супруг Силантий Пахомович! Ходят ноженьки мои, глядят глазыньки, а до тебя не дойдут, не увидят тебя боле, не приспокоятся. Ушел от супруги от своей, ушел от родимых малых детушек, ушел — и не будет назад. Залег в сыру землю-матушку, во чужом во далеком месте и на погосте не на нашинском. Накрепко залег, принакрылся землей, призаперся крестом,— не встанет, не взглянет, не покричит боле, не приластится. Отходили его резвы ноженьки, отработали рученьки, отглядели ясны глазыньки. Ой, тошно мне, тошнехонько и не мило глядеть на божий свет. Закрутите и мене в саван смертный белы рученьки, призакройте глаза, положите с им в

землю-матушку. Не березынька в поле одинешенька трясется-качается, ветру жалится, а супруга твоя, вдова горькая, оземь бьется бедной своей головушкой, кричит, выкликает тебя, соколика, а твово голоса не дождется, не выпросит. Замолчал навек, успокоился...

Долго голосила. В ярких цветистых словах, в заунывном вое, в обильных слезах растворила скорбь, всю печаль и заботы вдовьей жизни высказала. Бабы в избу набежали. Когда иссякли слезы и слова, Анисья подробно рассказала про смерть Силантьеву, про город, слухи про войну. Потом тесто для поминок ставить стала. Хлопотливо закружилась по избе.

Виринея во дворе поила скот. Подумала о смерти Силантьевой. Вздохнула:

«Каждого ждет час, и никто не знает когда. Может, завтре вот я...»

Вдруг необычайно отчетливо, будто по-новому услышала мычанье коровы, живую возню свиньи рядом в хлевушке, ощутила запах навоза и снега и свое живое, горячее тело. Черным, холодным крылом в мозгу вдруг мысль: как же, как же это? Сразу застынут жилы, остановится кровь и уйдет все живое из глаз? Будет мычать корова, будет ворошиться свинья, в свой час согреет всех солнышко, а она, Вирка, будет лежать в земле...

Сильный страх встряхнул дрожью все тете. Бросила ведро и на свет, во двор быстро выбежала. Дышала так жадно, будто правда от смерти сейч^Ь высвободилась. Й до конца дня ощущала ясно и радостно крепкое тело свое. Думала ночью:

«И скот, и люди, и трава — все на земле •л смерть родится, ну те хоть думой не -гаются. А человек обо всем думает, из-за в:его старается, чтоб крепко да надолго. И короток живой час у людей, а мы еще :ами себя тревожим, неволим, сердечушко :зое травим».

Утром рано постучала в окно Павловой чзбы.

## X

Павел вошел в избу как хмельной. На лице улыбка растерянная и глаза как пьяные. Вирка удивилась. Месяц доживала о бок : ним, ни разу пьяным не видала. И от людей слышала: непьющий.

— Ты что, Павел? Выпил, што ли, у кого?

— Староста из волости вести такие призез, что все мужики, кто слыхал, чисто пьяные. Царя отменили!..

— Отмени-или? А как же? Другой, што-ль, какой?

— Вовсе отменили, совсем без царя живем.

Вирка опустилась на скамью:

— Ровно на шутки ты, Павел, не охоч...

— Да никакие не шутки. Пакет староста из волости привез. За учительницей послали, сейчас на сходе вычитывать будет! Никакого нет царя! Один отрекся, другой отказался, а глядеть — посшибали их всех. Завтра в город поеду, все хорошенько разузнаю...

И вдруг добавил, будто невольно в радости открылся:

— Я-то знал... Ждали мы этого. Там, в городе, еще унюхали. Ну, здесь с двоими тишком разговаривали. А слушай, Вирка, мужики-то не испугались. Право, я диву дался! Нисколько не испугались, сдивились только: как же это, царя осилили?

— Да у нас глухо, все одно под кем жить, а по другим деревням поди воют и боятся. Ты нашему народу, вот мне хоть, лучше не про царя скажи, а становой как? Останется? Нашинское-то начальство прежнее будет?

— Да нет! Становой-то сбежал, а урядника в подполе сгребли.

— Вре-ешь?! Ну, вот это диво! Павел, это как же? Ну-к, где платок-то мой? На сходе-то когда вычитывать станут?

Народу в школу столько набралось, как никогда еще не бывало. Стояли на окнах, в сенях, у школы густой толпой.

Молоденькая белесая учительница слабым и дрожащим от волненья голосом читала:

— «...признали мы за благо отречься от престола государства Российского...»

В толпу доносились неясно только обрывки слов. Мужики задвигались. Один крикнул:

— Не слыхать! Не разбираем ничего. Мущине отдай!

И в толпе подхватили:

— Пускай мущина грамотный какой прочитает!

— Ну, знамо дело! Какой у бабы голос! Только визгать может. А ятно, громко где ей выговорить!

— Да кабы еще деревенская. А у этой сти-ти»...

— Городской жидкий голосишко!

— Айда, который у нас грамотный?

— Солдатов, солдатов вперед! Где солдаты? Они разберут!..

— Да и то впереде! Где им теперь стоять! Впереде и стоят.

— Пущай Пашка Суслов. Он шибко грамотный.

— Павел! Павел! Игде Суслов-то?

— Айда вычитай. Ну, от этого услышим, глотка широкая.

Павел, приподняв плечи, со строгим лицом, зычно и отчетливо стал читать запоздавшие в Акгыровку манифесты и газеты. Долго читал. Все время напряженная тишина стояла в классе. Плотной молчаливой стеной больше часу стояли мужики и бабы. В такой тишине в церкви никогда не стояли. Расходились тоже необычно тихо, с приглушенным разговором. Только молодой безбровый солдат с девичьим лицом перебегал от одной кучки людей к другой и захлебывающимся голосом говорил:

— Названье «нижний чин» отменяется. Теперь почетное званье — солдат! Нижний чин — нельзя! Какой тебе нижний? А хто верхний? Нету больше нижнего! Эх-х, я в Романовку съездию. Энтот, Ковыршина Алексей Петровича сын, в прапорщики вышел, в офицеры. Вместе на побывку в одном вагоне ехали. Я ему говорю: «Степа, дай закурить». А он мне: «Я тебе не Степа, а офицер теперь, а ты — нижний чин, дисциплины не знаешь!..» При всем при вагоне

я как скраснел тогда! Нарочно съездию. А ну, скажи, мол, я теперь хто? Нижний чин... твою мать, на-ко, мол, выкуси! Был нижний чин, да весь кончился.

В эту ночь Павел с Виркой долго не спали. У них была общая постель. Тогда, как пришла жить к нему, спросил он ее, как спать укладываться собиралась:

— Ну, как ты? Хозяйствовать только пришла аль совсем, как к своему мужику?

Вирка помедлила ответом. Потом просто и тихо сказала:

— А ничего. Поживем вместе и поспим вместе. Только нехорошо как-то перед Анюткой. Большая уж она.

— Она уж спит.

— Все одно нехорошо. Я вот девчонкой в первый раз как мать с отцом заприметила, с чего-то совестно и туго так дышать мне стало. А я совсем чужая, и слух про меня нехороший. Обидно ей за отца будет. Первые-то обиды живучи. Погоди, приобыкнет малость ко мне.

Но на ласку Виркину Анютка не поддавалась. Враждебными глазами за ней следила. На вопросы Виркины или совсем не отвечала, или бранью отзывалась. Когда увозил ее в город отец, она повернулась на дровнях и посмотрела на провожавшую их Вирку. Таким недетским, ненавидящим взглядом посмотрела, что у Вирки долго сердце щемило. И Анюткину детскую злобу как самое больное, как кару за грех своей жизни в сердце приняла. Пятилетний Семка и трехлеток Панька скоро привыкли цепляться за ее юбку, как раньше за мать цеп-

лялись. Она их холила на диво другим базам. Анисья при встречах смеялась:

— Мы и то толкуем, чтоб все вдовцы -:е женились, а гулену неродящую в матери детям наймали. Старательные попадают!

Издевались над Виркой недолго. Словами зря не сорил Павел, но слова знал веские. Эборвал одну, другую бабу — и притихли. У Вирки взгляд спокойней стал. Но как-то точно сблекла она в тихости. Говорила мало и часто подолгу задумывалась. С чего сердце в человеке такое несытое живет? Что ни лодай, редкий-редкий раз взрадуется. А то зсе не то, все недохватка, горчит чем-то радость. Павел спокоен, на работу не ленив. Большой грамотности человек. Оттого, хоть беден, а люди не помыкают им. Побаиваются. И Вирку жалеет. В ту первую ночь, как Анютка уехала, с ним спать Вирка легла. Он так ласково с ней обошелся, что Вирка сдивилась. Даже Васька не смог так бережно и как-то чудно с нехорошим по-хорошему подойти. Словами Павел не нежил. Только и сказал тогда с горячим вздохом: «Милка ты моя!» А все же как-то, как с женой, прошеной, моленой, к первому к нему в постель легшей, а не как с гуленой залапанной. Вирка и обрадовалась, и смутилась както. Смущенье радость съело. И с того самого дня — как виноватая. Будто чужую обряду надела тайком на себя. Увидят — со стыдом, с поношеньем сдерут. От этого между Павлом и Виркой все будто что-то стоит. Обозлилась раз, взяла напилась, как бывало. Пьяная ночью долго кричала:

— Чего ты себя перед всеми, как царь,

носишь? Думаешь, я не вижу? Думаешь больно я уж обрадела, что при себе держишь? Противна мне харя твоя зазнаистая повадка вся твоя тихая. Уйду завтра! Глядеть на тебя не хочу.

Он спокойно расстегнул ремень и погрозил ей:

— Замолчи, а то выдеру, как собаку. Глядеть на пьяных баб не могу, блевать охота! Ложись на печку и больше не верещи. Отрезвеешь, тогда поговорим. Может, и сам выгоню.

Голоса не повысил, но сурово и отчетливо сказал. Глаза встретились. Светлые его глаза потемнели. Но не разгорелись жаром, как у Вирки, а будто отвердели, без блеска сделались. И Вирка первая опустила свои. Наутро долго маялась, собиралась уйти, но не ушла. А Павел, как обычно, говорил с ней, о чем дело говорить выходило. И ночью в первый раз на плече у мужика Вирка плакала:

— Я и сама не знаю, как мне с тобой жить... Вот когда так, как сейчас, согласна ноги твои мыть да воду эту пить. А когда тошно мне с тобой, скушно, и убежала бы я от тебя, только бы не видеть.

Он отозвался тихо:

— Не мудри да не дури. Живи и живи. Работу справляй, детей моих обихаживай и об себе старайся. Ну, спать я хочу. Хватит разговаривать-то! Сроду с бабами так не валандался. Спи!

Так и жили. Будто дружно, а не вплотную. Долгих разговоров не разговаривали. А ночью и вовсе. На поцелуи горяч и ласков,

а на слова скуп. Но сегодня, лежа рядом, долго проговорили. И Павел больше, чем Вирка. Про город, про царей нехорошее, что узнал в городе, рассказывал. Про всю жизнь. Отчего трудный век человечий для бедного, для низкого на земле и совсем лих. О мужиках говорили. Вирка слушала его слова, как песню на близком, родном, но все же не на своем языке. Звуком, напевом трогает, а слова не все поймешь. Оттого еще слушать и слова понять охота. Но днем# опять мало с ней разговаривал. Потом в город поехал и целых две недели проездил. Прохарчился в городе. Пришлось овцу, которую было завели, продать. Вирка сердилась, но ему сказать не посмела. Не жена — на срок взятая хозяйка! Пусть как хочет. Опять друг от друга будто подальше подались.

## XI

До самой весны суматошился по-новому народ. Сходы стали «митингами» называть, а мир «товарищами», а то «граждане». Слова новые по новости звонки выходили, как звякали: инструкции, резолюции. Учредительное собрание. Сперва охотно собирались, с горячности шумели. Потом уставать мужики стали. Выборы да съезды, а земля к посеву готовиться велит. Мало-помалу отставать от сходов начали. Да на деле, кроме выборов на всякие должности, ничего не переменилось. Товары в лавке на участке еще вздорожали. Еще меньше стало в продаже нужного для мужика. Гвоздей во

всей округе не достать, и дорога соль. Земля, как была, в одних руках густо, в других маловато, а то и совсем пусто, так и осталась, а от колготы на сходах голова трещит. Старик Федот, постукивая батожком, сказал на одном сходе:

— Чего мы кажный праздник, чисто обедню, сходы собираем? И в будни почасту гомозимся на собранья на эти. Телеги ладить надо. Земля-то уж повылезла из-под снегу. У правильного мужика об земле на сердце-то зудит, а мы то да се, да епутатов выбираем. Солдатье в деревню навалило, а про мир не слыхать. Кабы опять не угнали перед самой перед пахотой. Айда слухайте, старики, мой совет: понавыбирали мы тут всяких комитетов. Пущай этот за старосту-то прежнего Пашка Суслов один на все отписывает. А насчет солдат старается, чтобы опять не забрали. И епутатов всяких на съезды сам назначает из зряшных из каких. Кому об земле да об хозяйстве заботы нет. А дельные-то руками и ногами отбиваются!

И взвалили все на Павла. Целыми днями в школе был. Господ из города еще больше наезжать стало, но сходы собирались жидкие. Только солдаты на короткий час замиренья требовать к разъяснителям из города, которых «ораторами» звать стали, приходили дружно. Но до конца разъяснений не дослушивали. Беженцы в бараках и Нижней Акгыровки беднота без сходу и без уговору каждый праздничный день у кузницы собирались. Галдели долго, бестолково и глухо о земле, о самосильных жителях с большим хозяйством, о том, что в других

местах хоть у помещиков землю бедняки отобрали. А тут ничем-ничего! Земского начальника хутор — и тот трогать не велят. Охрану прислали. На Павла Суслова косо глядеть стали, хоть вровень с ними достаток у него. А побогаче люди, кержаки, с почетом, с зазывом к нему заходить начали. Он похудел, потемнел, домой возвращался злым. С Виркой сквозь зубы разговаривал и к ребятам неласков стал. В одно воскресенье очень рано поднялся, собрал мальчишек и велел на сход скликать:

— Не отставайте до тех пор, пока не пойдут. Павел, мол, нужное дело выскажет.

И когда собралось хоть не полно, а порядочно народу, громким и решительным голосом объявил:

— Вот вам, мир честной, товарищи граждане, все бумаги, разъясненья, положенья всякие. Вот и сельский писарь нашинский с ними, как и до революции был и при мне состоял, остается при деле. А меня увольте. Нет моего хотенья на это дело.

И сколько ни галдели, ни просили, твердо на своем выстоял:

— У нас с солдатами другие мысли.

Старый кержак крякнул и громко спросил:

— С ружьем землю отбивать будете?

— А это уж там поглядим, только я всем здешним не коновод. Поближе которые мне, к тем подамся.

Кержак зло отозвался:

— Какая ни есть суматоха, а за порядком следят. У кузни гляди не нагалдите себе чего на шею. Слыхал я. От войны согласни-

ки твои здесь хоронятся. Знаю, многим срок отпуску кончился, а которы и совсем без отпуску.

Солдаты загалдели:

— А ты над нами доглядчиком?

— Сам, старый хрыч, подайся на войну, коль охота больно.

— Мы проливали кровь! Хватит с нас!

— Коль навредишь — гляди, мы тоже острастку найдем.

Долго шумели. А потом все солдатье сразу ушло. На место Павла Суслова кержаки своего поставили. Павел со светлым лицом домой вернулся. Ласково Вирку по спине хлопнул:

— Разделался с одним мирским делом — за другое примусь.

Виринея засмеялась:

— Не терпит печенка! Шуметь охота. А я как глупым разумом гляжу, да думаю — какая тб свобода? И войну не кончают, и земли не дают, и богатеи пузом нашего брата все зашибают. Уж трясти, дак до корню трясти. Я радельника-то своего, дядю Антипа, ветрела, дак не удержала слово: готовься, мол, дядя. Добро забирать к тебе придем. Равнять, дак равнять.

— Ну? Он чего?

— Выругался нехорошо, и глазами — как волк. А тронуть не посмел. Тут, я гляжу, хоть больно перемены жизни у нас не видать, а все время не то. Ране бы сгреб дак гляди и душу вытряхнул бы. А теперь шибко от меня подался.

Оба засмеялись. Павел ласково, по-новому как-то Вирке в глаза заглянул. Сказал:

— А ты мне, пожалуй что, не только по хозяйству, а й в других делах хорошей помощницей будешь.

Все чаще наезжали из города учителя, агрономы и даже ученые барыни высказывать про Учредительное собрание и про всякие партии. Книжечки, листики раздавали. Мужики к Павлу с теми книжками заходили.

— Ни хрена не поймешь! Ну-к, гляди, как тут про землю обозначено.

Павел горячо за дело взялся. В партию большевиков стал народ приманивать. Порядочную кучу сбил. Солдаты почти все. Даже из богатых дворов мужичьих. С постройки народ гуртом. А мужики акгыровские бедного состояния разбились. Которые за Павлом, которые в школе у учительницы в социал-революционеров записались. Тоже много вышло, больше даже, чем большевиков. У Кожемякина состоятельный народ собирался, к господской партии тянул. Кадетами называли. Споры большие между народом пошли. До большой драки даже дело дошло один раз. Социал-революционеры с большевиками у кузницы подрались. С уханьем, с тяжелой кулачной надсадой бились. Троих в лежку уложили. Но отдышались, ни один не помер. А раззадорила на ту драку Виринея. Отход от Павла мужиков, которые раньше около него сбивались, приняла как личную Павлу обиду. Вгорячах прибежала в школу, когда там кое-кто из них был. И с большой страстью, сильным голосом стыдить начала:

— Куды лезете? Воевать не надоело?

Солдаты чуть передохнули, а сколь накалечено! Вояку-то главного, Николашку, сдвинули куда следует, а вы дуром в тот же тугой хомут, только с другой шлеей. Э-эх, мало вас нужда, видать, забирала! За землю держитесь? А кто на земле хозяевать будет, коль война не скончится? Кто войну кончать хочет? Большевики, только они одни и стараются. А вы... до победного конца! Гляди, дадут вам конец. Расшеперились, а сами на смерть лезете.

За больное зацепила, но оттого еще больше разгневались. К ученым бабам, мужикам, про общественные дела разъясняющим, примыкать уж стали. Но чтоб своя деревенская, да еще с зазорной жизнью недалеко за плечами, учить пришла...

— Ах ты, стерва... Чего еще разбирать-то могёшь?

— У большевиков все общее. Бабы, сказывают, общие будут, дак вот и охотится по прежней закваске!

— Чего с ней долго растабаривать! Сгребай, поучи!

Трое наскочили бить. В ярости с необычайной силой от троих мужиков отбилась. Царапалась, кусалась. Хоть с разбитым в кровь ртом, с подбитым глазом, с ноющими боками, но живая и некалеченая вырвалась. А мужики, раззадорившись, к кузнице пошли. Там и произошла жаркая схватка.

Павел ругал Виринею, плевался, а потом смеяться начал:

— Вот дак оратор! Шибко ладошами били... только по ораторовой по морде. Всеем собра-анием...

— Не хайли! А то я хоть и подбитая, а и на тебя кинусь! Что ж, что баба, у меня тоже в голове-то теперь не только об домашности дума. И сердце кипит. Дураки-то какие, ах! За войну с другими...

Долго на деревне Вирку бабы дразнили, как она мужиков учить ходила. Анисья даже плюнула с сердцем при встрече:

— Думала я все-таки, што толк в тебе есть, не вовсе дурная. А теперь гляжу: порченая. Совсем порченая. Не то, дак это, а никак не живет в лад с правильными людьми.

Виринея засмеялась:

— Что били меня, это, правда, зазорно! Вспомню, краска лицо жгет. А все одно: за что били, то еще попомните. За правду били, за жалость к нашему мужичьему положению, У меня сердце распальчивое, но тут я не шибко долго гневалась. Не от ума били, а от темности от нашей. Вот погоди, венчаться на красной горке думаешь, мужика к себе в дом берешь. А не осилят большевики, опять и другого на войну сдашь.

— Не каркай, ведьма! Не стращай! Солдаты все приходят домой. Один за однИхМ разбегутся, и без твоих горлопанов дело исделается. А то поровну хочут. От одних отца с матерью ровны-то не родятся. А которы получшай живут, поболе работали. Тьфу! Заплевать бы тебе все глаза твои бесстыжие. Смеется, пялится... И куды лезет. И мужики-то поумней ни про какие партии слушать не хочут. Так, пустельга озорная занимается. А тут баба влезла. Наше вам.

И на ходу все плевала в Виркину сторо-

ну. Но что Вирка ведьма — сама уверилась. Вскорости после разговора с Виринеей новую полицию из городу прислали. Солдат в волость сгонять, чтоб назад в армию отправить. Полиция-то ни с чем тайком ночью обратно выбралась. А все же волненье пошло.

Пришел час, земля к себе мужиков затребовала. Сгасли в Акгыровке споры и разговоры. В жильном мужичьем труде про всякие перемены забыли. И малоземельные и батраки на чужом поле по-старому со всем соком, со всей силой в землю ушли. Брошенным без засева малый его надел только у Павла остался. На крестьянский съезд в уездный город согласился. От волости послали. И до самой осенней уборки жизнь в Акгыровке старым порядком шла. А осенью взбаламутились снова. Про выборы в Учредительное собранье шибко загалдели. Павел надолго в волостное село перебрался. Совсем отшибся от хозяйства, и лошадь продали. Последний запас хлеба доедать стали. Вирка по людям работать опять ходила: ребят надо было кормить. Хоть корили ее, но на работу брали. Коль хорошо для хозяйства старается, и сатану наймешь в жаркую пору. Павел опять в выборные пошел. Листки принимать для Учредительного того собранья в окружную комиссию. И это новое слово уж почти все в деревне узнали.

Поржавели листья у деревьев, стала стынуть земля. Солнце ласково тужилось, давало тепло, но уж чуялось, что не то оно, как летом. Смирное, без жаркости. И в воздухе

печаль. Снимали хлеба. В осенней стрижке своей печальными стали поля. Павел из волости в Акгыровку приехал, листки с номерами привез. Много номеров, всех и не упомнишь, даже башкирский русским дали. В волость в назначенный день везти, в ящик складывать. Сначала шумели мужики, что не будут те листки отвозить, мытариться. Но опять суматоха за сердце забирала. Война все не кончалась. Из-за земли спор с башкирами пошел. Акгыровка на арендованной у башкир земле. Оттого и под названьем нерусским, под башкирской шапкой, ходила деревня. Ак-гыр — белая лошадь. Белолошадовкой надо бы звать. Аренда кончалась. Башкиры грозили землю отобрать, меж собой делить. И деревню русскую обещали совсем уничтожить. Жатву с горем и с боем снимали. И про войну, и про землю, мол, решит Учредительное собранье. Оттого, как близко время ко дню выборов подошло, затревожились. Стали списки разбирать, какой к чему. Один только можно опустить—выбирать надо. Бабы к Вирке забегали, чтоб разъяснила, какой листок опускать:

— Уж скажи, касатка! Как ни то помоги! Сперва было ровно совестно. Куда бабам лезть? А теперь мужики сами заставляют, а што к чему — не рассказывают.

— Вирка, какой из этих листков на конец войны? Ну-ка расскажи!

— Слышь-ка, мужик велел мне перьвый опускать. Мы, мол, с хорошим достатком, наш номер перьвый. А я к тебе тайком: сын у меня еще не вернулся. Ты мне скажи, какой большаковский-то. Я его тишком суну.

— Пятый, тетка! Суй пятый. Против вашего брата он, а все одно — суй! На конец войны он.

— А пускай против, там разберемся. Сынок-от бы хоть вернулся. У отцов сердце твердое, а мать как замается, дак не то листка — ножа вострого не побоится. Пущай что хочут делают, только бы живой воротился.

Бабы горились, что цифирь разбирать не умели.

— Какой он тут пятый, разве упомнишь с непривычки. Другие-то изорвать бы, мужик ругается. Он за третий. Ну-к, Вирка, капни маслицем, который пятый. Я его и положу.

— Павел сказывал, выкидывать будут меченые-то.

— А небось не выкидают. Много ль грамотных? Все пометят. А ты легонько, чтоб сгоряча не увидали. Вот игде-нибудь в уголочку.

И Вирка капала. Помечала малой отметиной.

Ясный, ведреный, весь прозолоченный день выдался, когда подводы из Акгыровки в волость двинулись. Длинной цепью по дороге телеги. В них мужики и бабы в праздничных полушалках. Детные с грудными на руках.

Волость — деревянный дом с высоким крылечком, на выезде села, почти в поле, окружен подводами был. Как табор цыганский, шумливый и пестрый. Крыльцо серело солдатскими шинелями.

В большой горнице, где на стенах висели пустые рамы от портретов царя и царицы, большая пыльная икона и новые приказы, стоял длинный стол. Сбоку около него деревянный крашеный, из города присланный ящик. За столом, с деревянными от напряженья и важными лицами, сидела комиссия. Посредине председатель, учитель волостного села. У него был тик и прыгала левая бровь. Но разговаривал он внушительно. Все время делал указания, как подходить, опускать. Лишние расспросы обрывал:

— Раньше надо было на собранье хорошенько слушать.

Павел, красный и потный, но с уверенным и спокойным взглядом, у самого ящика сидел. На улице и на крыльце стоял шум разговоров, восклицаний и смеха. А в горнице, где ящик, стояла тишина. Нарушали ее только подходившие к урне. Мужики подходили поспешным шагом, супили брови, опускали листок в молчанье. Бабы со сконфуженным смешком, с присловьем. Сначала молились в угол на икону, потом уж оглядывали ящик и дрогнувшей рукой долго толкали листок в отверстие. Почти каждая спрашивала:

— Куды класть-то? В этот в самый? А как класть-то?

Разбитная, смешливая солдатка опустила листок и, сверкнув смеющимися глазами, сказала:

— Баба и та в счет пошла. А ну, бабы, не подгадь, клади за пятый!

Учитель сердито крикнул:

— Агитация у ящика запрещена. Опустила и уходи.

— Чегой-то? Ты больно-то не ори, отошло ваше время орать-то. Пятый самый правильный.

Крепкотелую, но слепую старуху ввели под руки две молодые бабы. Она, шаря кругом невидящими, неподвижными тусклосиними глазами, спросила:

— Где икона-то? Чтой-то сбилась я в углах с перепугу-то.

Перекрестилась истово и громко, торжественно сказала:

— Помоги господи, не в зло, а в добро. Допусти постараться в дело!

Поклонилась поясным поклоном и позвала:

— Ну-к, Марька, веди, где тут ящик-то? Куды совать, направь руку-то мою.

Председатель завозился на стуле и крикнул:

— Нельзя, нельзя! По закону лишена права голосовать. Слепые не допускаются...

Старуха властно оборвала:

— А ты что за человек, и какой такой закон? Бог обидел, и люди обидеть хочут? Я листок за десять верст пешком несла... И я сыновей для войны родила, и я над землей тужилась, а мне нельзя! Кажи, Марька, куды опускать. Не может он не допускать меня!

— Но я не имею права. В законе ясно сказано...

И за столом, и в дверях, даже за открытым окном на улице начался шум:

— Пусть опускает! Для бедного народу будто бы стараетесь, а она из бедных бедная.

— Правда, пешком шла. Лошади не достали нигде, а на чужую подводу некуда.

— Сами семьями приехали. Чать, не виновата, что ослепла!

— Опускай, баушка, не слушай! Теперь слабода, а они все с издевкой!

— Опускай, опускай! Покажи ей щелку-то! Эй, востроносая, покажи, говорю!

— Энтот там расселся посередке-то! И вытряхнуть недолго, коль бедным запрет делает.

Суслов привстал и громко утвердил:

— Опускай, баушка! Всякому закону по делу да по нужде должно быть послабленье. Не старые времена. Теперь для человека легкости хотят, а не обиды.

Председатель развел руками, еще сильней задергал бровью и смирился:

— Ну, опускай, только чтоб мне в ответе не быть.

Старуха опустила листок и опять помолилась:

— Господи, помоги.

Бабы увели ее.

В горницу ворвался косоглазый мальчишка в черном бешмете, в порыжевшей тюбетейке на бритой голове и с длинным кнутом в руках. Прямо к столу кинулся.

— Тебе чего, малайка? Куда лезешь?

— Башкирскай листка номер втарой айда давай. Отбирай мужикам. Ваша ни нада, наша ни хватаит. Ваша вота.

Вынул из-за пазухи кипку смятых листков и бросил на стол:

— Айда атбырай, пыжалыста, скарей, наша волость ждут. Вирхом скакал, шибко лошадь гнал!

Председатель выругался и замахал руками. Писарь сбоку на стуле сидел. Быстро встал, достал со шкафа пачку листков и сунул башкиренку:

— Дуй!

Тот блеснул косыми глазами, взял листки и убежал из горницы.

Учитель вздохнул, потер лоб и покачал головой. Народ подходил. На улице шум все сильней становился. Солдаты смотрели в окна с улицы и громко определяли:

— Этот краснорожий номер первый. Эй, Павел, садани его от ящика.

Злой мужичий голос с улицы крикнул:

— А за пятый — самая прохвостня! Конокрад битый нашинский пятый номер понес, я видал.

— Прошу без агитации. Где милиционер?

Солдат, стоявший у ящика, громко и наставительно объявил:

— Когда мы на фронте выбирали, дак у нас так-то было постановлено...

Председатель завопил:

— Послушайте, товарищ, уходите от ящика! Вы не имеет права второй раз голосовать. Чертова окраина! Выбираем не в один день с другими, а с запозданием, вот и... Я вам говорю, вы не имеете права! Я сообщу — все выборы пропадут. Опротестуют.

— А тебя кто тянет сообщать?

— Да ведь я же обязан!

— А ты для нашего брата старайся, а не против нас! Мы кровь проливали, да не смей в своей волости.

И потянулся к ящику. Но Суслов удержал его за рукав:

— Не скандаль, нельзя. Еще, правда, всем навредишь.

— Так и ты против солдат?

— Говорю, не скандаль. Уходи!

Тот сплюнул, но Павла послушался, скомкал листок и бросил его на пол.

А у стола новая заминка. Кривоногий, встрепанный мужичонка совал председателю штук шесть листков.

— Который тут третий? А? Я заспешил да спутал. Ровно отдельно клал, а на же поди, сбился. Ну-к, покажи.

— Да понимаете вы, тайное, тайное! Нельзя показывать.

— А какие тут тайности! Все знают. Я сперва-то за пятый хотел, да на третий меня сбили. А какой лучше-то?

Председатель безнадежно схватился обеими руками за голову:

— Совершенно невозможно! Разъясняли, все деревни изъездили. Да что же теперь делать?

Суслов засмеялся, встал, взял мужичонку за плечи и вывел его из горницы. Дальше гладко дело шло. Только шум с улицы мешал.

Вдруг опять зычный голос на улице шум покрыл:

— Макрушкин со своего хутору целу подводу с первым номером привез. На тройке приехали. Не пущай его!

Но толпа привычно расступилась перед Макрушкиным. Он, сверля встречных черными острыми глазками, сладким голоском теноровым отшучивался:

— А кто видал, что первый? Я второй привез. За башкир, они — народ покладливый. Они мне больше русских по душе. От них, можно сказать, жить начал. Я за башкир. Второй, второй номер.

Угрюмый длинный солдат зло оборвал его:

— От их награбастал землю-то под хутор, обжулил! Знаем, мертвые под приговором о продаже-то подписаны.

И кривоногий мужичонка поддержал:

— Погоди, дай срок, все начистоту выведем, а землю-то для трудящего подай. У тебя отберем... Пятнадцать работников, на-ко.

Но Макрушкин, не смущаясь, пробирался вперед с длинным хвостом приехавших с ним на двух тройках и поодиночке на пяти подводах. Ответил опять шутливо:

— А я к башкирам подамся, в их веру. Теперь свобода вероисповеданья. А они еще землицы мне удружат. На наш век простачков еще хватит. К башкирам, к башкирам я...

Два дня тянулись выборы. Во всей округе разгорелись страсти. В день подсчета солдаты тесным кругом сдавили стол с комиссией. Щупали листки глазами, орали, ругались. Но подсчет все-таки удалось закончить. Ящик провожали конные доброхотцы, разного настроения. Все опасались, чтоб подвоха не вышло.

С тех выборов разгорячился народ. И каждый день все больше будоражливым приходил. В Акгыровке загалдели те, кто раньше голосу не подавал. Беднота, с пост-

ройки рабочие. Требовали землю и мир. Павел Суслов их коноводом стал. В конце зимы, когда большевистское начальство над зсей страной власть взяло, и он главным в золости утвердился. Колгота по разноплеменному уезду большая шла[г] Вирка говорила Павлу:

— Не сносить тебе головы. На такую линию вышел. Нет, чую, не сносить.

— Что ж, на печку забиться да закрыться юбкой твоей?

— А я бы тогда тебе сама мышьяк в пирог запекла. Коли взялся — выстаивай. Уж такое дело твое. Только так, сердцем я скучлива когда, дак опасаюсь за тебя.

— А ты не опасайся. Детей моих береги. Теперь, видно, и стариться вместе станем. Привык я к тебе. И к первой жене, ни к одной бабе так не прилипал. Все одно — жена теперь ты, баба моя до старости, а там и до смерти. Одно только — родить тебе надо. Чего ты не тяжелеешь?

У Вирки сгасли глаза. Опустила голову, как виноватая. С тяжелым вздохом сказала:

— Неплодная, видно, я. Ваську-то винила, а знать, сама неплодная.

И долго сидела молча с поникшей головой.

Тревога в уезде все ширилась. Казаки в сторону от большевиков линию гнули. Соседей-башкир под свою руку сбили, обещаний им всяких надавали. На волость даже нападение было. Отбились. Но зимой война настоящая разгорелась. В сорока верстах от Акгыровки бои начались.

Павел Суслов с фронта один раз сумрачный приехал на день домой. Всю ночь с Виринеей тихо и долго говорили. Встала с постели она с прожелтевшим лицом, но с твердо сжатым ртом. Морщинка у губ обозначилась. И не пропала даже тогда, когда объявила среди дня тихонько и боязливо Павлу:

— Слышь, я затяжелела. Боялась верить, а выходит — правда.

Он посмотрел в большие тревожные глаза ее, в молящее лицо и усмехнулся:

— Ну, рожай! Отобьемся от казаков, на сынка порадоваться приеду. Ну-к, собери, чего кусать мне даешь. Ехать надо.

Уж выезжать собрался со двора, как вошел во двор совсем седой, ко все еще лохматый и дюжий Магара. Вирка вскрикнула и побелела, Не луглива была, но неожиданное появление Магары напомнило ей о прошлом. И сразу, как дурное предчувствие, в сердце ударило. А Магара прямо к Павлу.

— Айда забирай меня с собой. В силах я еще, постоять за правду хочу. Где вашинско-то войско?

Про Магару Павел слыхал и знал его. Усмехнулся.

— А тебе чего в нашем войске, божий старатель, делать? Айда зятя с добром, тобой нажитым, застаивай. Откуда ты?

— Из тюрьмы. Теперь вот выпустили.

Вирка дрогнувшим голосом спросила:

— За этого... за инженера отсиживал?

Магара даже не оглянулся на нее. От Павла воспаленных глаз не отрывал. Но ответил ей:

— За богохульство и кощунство сцапа-

ли. Еще до перевороту до этого. В церкви на икону плюнул и изругался. Святой там один нарисован, схожий с энтим, кто меня спервоначалу на молитву-то...

И добавил глухо:

— Замаялся я с богом. Теперь опять для него за правду стараться хочу. За бедный народ стоять пойду, за мужичий за весь род. Растревожили мужика, а ходу ему нет. Богатый в торговцы лезет, а бедному нет земли, чтоб в правильности... С вами постараться хочу. Для бога за вас пойду. Для бога грех принял, человека убил. Такое он на меня возложил, дак я и пойду для правого дела убивать.

Павел вздохнул.

— Мозга у тебя повреждена. Уж правда, что богом ушиблен. Ну что ж, айда. Долго с нами вряд ли пробудешь, а сейчас пока нужен. Дюже сражаться можешь. Сейчас тебе лошадь раздобуду.

И уехали они вместе с Магарой.

Убили Магару скоро. Дуром с гиком один на казачий разъезд кинулся. Как приезжал Павел в последний раз к Вирке на короткий час, то сказал про это. Вирка вздохнула:

— Знаешь, Павел, а много народу у нас в деревне по-разному повредилось. Сидели, сидели сидняком-то: видно, от просидней гнить начали. Кто вот ругается, какой страх и беспокойство пришли. А я думаю — час такой. Нельзя больше было мужикам постарому.

Павел не ответил. Поднялся и собираться стал. Поцеловал детей. Вирка припала к не-

му и замерла. Он быстро, будто укусил, поцеловал ее, легонько отстранил и к двери пошел. Но у порога задержался. Не поворачивая головы, стоя спиной к . ней, сказал:

— Себя блюди, шибко я к тебе привык. Не распутничай. Дите родишь, жалей, обихаживай. Я об нем что-то думаю. Жалко, не дождался, не поглядел.

И потом, повернув голову, усмехнулся невесело и нежно:

— Дело наше тоже справляй. Через тебя слух давать буду. Ну, ладно. Давай еще поцелуемся. Прощай.

Уехал. Она глядела ему вслед. И вдруг ярким, редким для слеповатых человечьих глаз светом будто осветилась перед ней вся ее жизнь с Павлом. В короткий миг,вся перед глазами прошла, подлинно такая, какой она у них была и какой она еще не видела. Как жили вместе — часто сердилась, томилась недовольством каким-то, враждой к нему. Считала его желанным и даже привыкать стала. Но ни разу с таким захлебнувшимся болью и восторгом сердцем, как сейчас, когда смотрела ему вслед, не обняла его. А вот, когда он не слышит и ей не догнать его и, может быть, свидеться больше им не дано,— ощутила, как он дорог ей. Как один только может быть дорог одной.

— Павел... Пашенька...

Целый день как в чаду ходила. Терзалась: слов своих, вот тех, что сейчас сердце жгут, не высказала ему. Воротить бы его!.. Хоть бы на недолгий час... Сказать бы только ему!..

## XII

Всю свою жаркую страсть и тоску по Павлу Вирка в заботы и хлопоты по его делу вложила. Акгыровка стояла в стороне. Казаки расправу чинить в ней еще не появлялись. Но властно наложили руку на всех Павловых пособников кержаки с горы — Кожемякин и еще пятеро богатеев. Ездили с возами в казачий лагерь, оттуда привозили приказы. Десять мужиков из акгыровской бедноты и восьмерых из бараков отвезли в город, в тюрьму. С десяток в волости пороли нещадно. Вирку тоже в волость таскали на допрос. Она отвечала сдержанно и покорно, чтоб Павла не подвести. Только глаза прятала:

— Ничего не знаю. Невенчанная ведь жена, так... полюбовница. Взял и уехал. Теперь, может, с другой тешится. Где — нету слуху. Я вот тяжелая, да еще двоих на меня кинул. Кабы знала где, сама бы хоть за себя наказала бы его. Не смолчала бы, выдала. Все одно он со мной жить не будет.

Вновь поставленный председатель волостной управы кулаком ло столу стукнул:

— Врешь, потаскуха! Как провожала его, видали люди.

— Провожала, просила не бросать одну с детями, без всякого запаса. А куда уехал, не сказал.

Три дня в холодной при волости отсидела. Потом опять пытали мужики. Уж не про Павла, а про пособников его и про то, кто к большевикам сейчас льнет. Вирка упорно отзывалась незнаньем, только все на обиду

от Павла жаловалась, что с детьми без помощи всякой бросил ее. Помаяли и отпустили. Тяжелевший с каждой неделей Виркин живот не мешал ей в потайных углах со своими видеться, быстро ходить и еще работой себе пропитанье добывать. А тут еще Павел два наказа в тайности выполнить велел. Один: за десять верст в деревню письмо верному человеку отнести. Другой: мужика одного целую неделю прятать. Когда первый наказ передали ей, вздохнула она. Потом сказала худощавому старику в беженской одеже:

— Сама пойду. Кого пошлешь? Сноровку надо, а главное — чтоб без страху.

И ходила сама за десять верст будто бы в больницу. В том селе как раз больница была. Обратно чуть ноги тащила'по неровной снежной дороге. Но дотащила и концы чисто схоронила. Другое было трудней. Но все-таки уберегла в подполье. Даже соседские бабы ничего не унюхали. И чем больше старалась, тем дороже становилась ей ее вторая, тайная, жизнь. Теперь с подлинной верой говорила своим при встрече:

— Хучь мы и пропадем, а тем помогать надо. Совсем задавили маломощных.

Видеться было трудно. В деревне каждый вздох слышен и каждая новая щепка на дворе заметна. Но вот пришел слух, что Павлов отряд к Акгыровке подвигается. Павел на словах с парнишкой безусым, но строгоглазым передал:

— Хорошо, кабы вы с затылку их нажгли. Какое-нибудь восстанье бы наладили.

Вирка с этой вестью пошла в бараки. Постройку давно забросили, но беженцы

и бездомовые, работавшие раньше на дороге, в бараках жить остались. Шибко шла, но чутко ушами и глазами за дорогой следила. Никого не встретив, дошла. В большом бараке жило трое одиноких мужиков и четверо семейных. И все были одного, большевистского, толку. Оттого Вирка без опаски вошла. Но разговор не сразу начала:

— Здравствуйте-ка! Тетка Дарья дома, что ль?

Дарья от печки отозвалась: *

— Здесь, дома. Ты чего, Вирка?

— Да вот к тебе, пощупай-ка ты меня... В повивалках ходишь, знаешь. Что-то больно одышка замаяла. Скоро ль разрожусь?

Дарья усмехнулась:

— И щупать нечего. Так видать,— не боле недели носить. Да ты говори дело-то. Тут никого чужих нет. Сейчас мужиков со двора позову.

Когда собрались, Вирка дрогнувшим голосом сказала:

— Ну, мужики, зачинать драку надо.

И, откашлявшись, уж спокойно и ровным голосом рассказала, что Павел передал.

Мужики не сразу отозвались. Долго раздумчиво молчали. Первый, белесый и хлипкий, Васька Дергунцов заговорил:

— Нет, товарищи, нам это дело не сделать. Напуган сейчас народ, не подобьешь. Мается, а молчит.

И другой, с седоватыми, коротко и неровно стриженными волосами, подтвердил:

— И думать нечего! Как блох переловят.

— Падоящахь-'-шдо, Может, *шм.* совсем

близко наши к деревне уж подойдут, тогда. А сейчас никак нельзя.

Вирка поднялась. Глядя хмуро, исподлобья, спросила:

— Это и весь сказ?

— А дак чего же?

— Больше ничего нельзя.

— Дело не выйдет...

— У наших там войско. Пусть уж стараются как-нибудь к нам пробраться, тогда подмогнем. А сейчас ничего не сделаешь.

— Ах вы, собаки! Мне ли, бабе, да еще какой — дурной бабе, учить вас али там корить? А вот приходится. Словами только блудили, а как до дела час дошел, дак слюни пускаете! Нельзя так, мужики! Нельзя, братцы вы мои, товарищи! Какая жизнь-то у вас, долго еще протянете? Кто говорил: стоять до последнего? До чего жидка в страхе душа у человека. Сволочи вы! Не хотите, не надо. Еще людей наберу. Мне не поверят, жизни своей поверят, что нельзя боле ждать.

Глаза у ней жгли и молили, а голосом твердым говорила:

— Придет час, вернутся наши. Тогда опять к ним лицом, а не задницей повернетесь? Ну, дак ладно, я одна, баба, вот в тягости, одна пойду дело заводить. Охота дале в голоде да в побоях жить — живите. Вот этот кобелишка-то хилой тявкал: сердце чешется против кержацкого насильничанья. А теперь еще казаков ждать будут! Все одно не помилуют, хуть вы им ноги все излижите! Давно косо глядят, чуют, какая дума-то у вас. Наши подходить станут, все

одно с вами расправятся. Ну, ладно, нечего мне с вами, видно, и разговаривать.

Пошла было к двери. Но мужики опять загалдели. Ругали Вирку, спорили, а все же порешили сделать, как Павел указывал.

Вирка со светлым лицом уходила. Будто на большую радость спешила идти, а не на трудное дело. Седоватый стриженый сказал ей со смехом:

— Ты, баба, выходит, у нас и за командира, и за попа полкового. Ишь ты, начесала сколь. Целу проповедь высказала!

А командир чуть домой дошел. По дороге схватки начались. Но все же сама за бабкой Козлихой зашла:

— Айда скорей! Рожать, видно, я наладилась.

В избе у себя Вирка долго не хотела лечь. Ходила по избе, крепко стискивала зубы.

Козлиха прикрикнула на нее:

— Чего ты молчком? Кричи, кричи! Легче будет. Первый раз эдаку каменную бабу вижу. Без крику рожать собирается.

Вирка улыбнулась коротко и тускло. И опять, сморщившись, сказала прерывисто:

— Пускай с радостью-то на све-ет выходит. Шибко долго я его ждала... Не хочу кричать, хочу в легкости родить его.

И крикнула только раз. Коротко, сильно. Будто не от боли, а от восторга. И тогда несказанная легкость усладила тело, услышала на диво звонкий крик рожденного.

— Ишь ты, какого орластого выродила. Да большой. Отцу поглянется. Ты чего? Не сомлела?

— Не-ет. Покажь... Сыно-ок!

— Откуда узнала? Ишь ты, дошлая. Ну-к пущай полежит, потружусь околи тебя.

Недолго Вирка на сына радовалась. Через пять дней, когда ждала от своих извещенья, как у них там наладилось, ночью в дверь тревожно и тихо кто-то застучал. Вирка к двери, спросила шепотом:

— Кто?

Бабий напуганный голос сказал:

— Открой скореича, впусти.

Но в избу Дарья не вошла, из сеней тихо спросила:

— Козлиха-то у тебя?

— Тут, сегодня пришла, заночевала. А что?

— Где она?

— На печке спит.

— Буди скорей, пущай возьмет ребенка, а сама айда, беги немедля. Через огороды, туды, к речке, а там тебя Парфен ждет.

— Дак ты что? Ребенка-то я как?..

— Ребенка! А коль саму прикончут? Павлу надо успеть слушок подать, а то втяпается. Да собирайся ты, буди Козлиху. Чего стоишь?

— Да чего ты сразу...

— Казаки приехали, у Кожемятова сейчас. Кожемятов батрачишка-то с им ездил. Слыхал, что пронюхали. Анисим дознался про "<зше дело. С доносом в станицу ездил. Ну \ко называл, что тебя да мово мужика -то схоронился, айда беги. Ой, кабы М: г не застаян. Дак огородом-то... Огородим к реке; «

И нырнула в темноту. Вирка взяла ребенка из зыбки.

— Баушка, баушка... На-кось.

— Ну чего ты взгомозилась? На печку его? Ко мне? Ну, давай.

Сильно вздрогнула, будто от тела оторвала теплый живой сверток и подала старухе. С лицом настороженным, без слез, без вздохов быстро накинула платок и полушубок и выбежала из избы.

— Вирка-а! Вирк, ты куда? Что это, осподи, попритчилось, что ли, ей что?

Поняла только, когда в дверь, оставленную после Вирки без запора, ввалились казаки и мужики. Поняла, поглядела спокойно и стала унимать заплакавшего мальчишку:

— Ну-у, ну-у, распелся на ночь глядя. Ш-ш-ш!

— Ты, старая хрычовка, где баба?

— Убегла куда-то. Я не спрашивала. Мне на **што?** Думала, скоро вернется. Мне чего? За ей не побегу, не молодая.

Рыжеусый казак шашкой пригрозил:

— Сказывай, а то не удержишь башку на плечах!

— Она и то плохо держится. А чего я скажу? Убегла, слова не сказала. Хуть кишки выпусти,— чего я скажу боле? Не налезай на дите-то, злыдень. Задавишь неповинную душеньку.

Анисим Кожемятов сказал чернявому офицеру:

— Ничего теперь, ваше благородие, не добьешься. Она правды старухе-то це скажет. Следить за избой надо.

А седой, худощавый и строгий, похожий на святителя с иконы старого письма, Антип-кержак сказал:

— Пущай ребенок с бабкой тут остаются. Сама придет. Молоко ее к дитю приведет.

На том и порешили. Караульщики во дворе в хлевушках запрятались. Днем искали, не нашли. Три ночи караулили. На четвертую, уж за полночь, в самый глухой и темный час, насторожился под навесом рыжеусый кержак и шею вытянул. С огорода темная женская фигура двигалась. Дыханье, как охотник, видя зверя, затаил. И Вирка шла легкой, сторожкой поступью зверя. Как волчица к волчонку своему, пробиралась. Будто след нюхала, выгнув шею и влекомая своим запахом,— запах крови, из ее жил взятый,— шла кормить или выручить детеныша своего.

У самой двери в сенцы была, когда крикнул резко рыжеусый другим, укрывшимся темнотой:

— Имай! Держи ее! А-а, поймал! Беги, Сычев, зови его благородье!

Вирка закричала пронзительным, долгим криком и забилась в дюжих руках приземистого казака.

— Стой!.. Стой!.. Увертливая какая! А, ты кусаться, стерьва! Стой!..

Вирка рванулась, высвободила руку и с большой силой ударила казака в переносицу. Выгнулась всем телом, ударила ногой его в пах. Казак взвыл от боли и выпустил ее. Но подоспел рыжеусый, скрутил ей руки за спиной. Она билась, качала казака во все

стороны. Он неловко повернулся, зацепил ногой за ступеньку крыльца и упал. Падая, увлек за собой Вирку. Она закричала еще раз резко, пронзительно и смолкла. Затылком ударилась об острую железную скобку для отскребанья грязи, вбитую на доске около крыльца. И тогда же из избы донесся живой и требовательный плач ребенка. Виркины глаза встрепенулись в последнем трепетанье — и погасли.

# КАИН-КАБАК

*Повесть*

В окружении нищих башкирских деревень глухо засел в овраге малый русский хутор. От местности получил то же названье — Каин-Кабак. По-русски значит Березовый овраг.

Никто из старожилов не помнит времени, когда росли здесь ласковые березы. На крутых боках оврага лишь густой, жесткий и в расцвет невеселый кустарник. Убогий шум дремучей человечьей жизни мало нарушал нежить здешних унылых ущелий и каменистых горных взъемов. Волки даже летом, в сытости, его несильно опасались, зачастую рыскали по взгорью близ жилья. Сырт, гряда гор, внезапно пресекших степную равнину, отделял Каин-Кабак от большой дороги. Но маленький уединенный хутор через все преграды издавна был прославлен большой нехорошей славой. Прежде и в своем уезде, и в соседних широко разносились рассказы о каин-кабакских конокрадах, о разбойных нападениях на дорожных людей, о возведенных на крови хозяйственных дворах, о домах с тайниками, заговоренными крепким заговоррм. Теперь, после германской войны и четырехлетнего м^жицкбто боя на своей

земле, стариковская побаска о давнишних разбоях-грабежах оказалась слишком бесхитростной, давней-давней, может быть тысячелетней, нежуткой былью. Нынешнее племя, закоптевшее в своей жаркой жизни, вовсе перестало внимать дремотным этим рассказам. Но Каин-Кабак не затерялся в глухоте окрестных хуторов и селений — он стал становищем красных партизан. В зиму тысяча девятьсот девятнадцатую наладили они самодельные окопы из снега и льда и крепким отпором отбились от казенного белого войска. А в тысяча девятьсот двадцать втором в Каин-Кабаке устроил себе логово для запойных дней шумливый человек Григорий Алибаев, партизанский командир, ныне председатель волостного Усерганского Совета.

Но местные органы ГПУ получили достоверное известие, что Алибаев — враг Советской власти, участник большого против нее заговора. От этих тщательно проверенных сведений у заведующего секретно-оперативным отделом Степаненкова на смуглом апатичном волосатом лице ожили и потемнели в тревоге белесые глаза. Взять Алибаева — задача нелегкая. О нем ходят цветистые легенды по всему уезду. В каждой деревне найдутся его почитатели, задаренные им бедняки, башкиры и русские. Если арестовать шумно, с большим конвоем, могут возникнуть вредные осложнения.

Степаненков выехал на дело сам. От города до последнего подъема в гору перед Каин-Кабаком были устроены секретные подставы: оставлены вооруженные люди и

подводы. Только троих надежных товарищей Степаненков взял с собой на хутор. Уговорились, что на хутор подмога явится только на следующий день утром, если ночью не дождется их обратно.

Хорошо объезженные кони замедлили шаг. Осторожно спускали с крутой горы. Вся до конца видна кривая загогулина единственной улицы. Недружно, зато широко разметались по ее сторонам два ряда дворов. Падал некрупный ласковый снежок. На крышах изб и надворных построек налегло его свежее пуховое руно, но было оно без блеска. Солнце притаилось. От набухшего облаками неба в этот час, еще ранний, сумеречным сделался день. Под белыми пухлыми крышами серые деревянные дома и облупившиеся землянки казались темными, глухими. У самого въезда на улицу торчал длинный шест. Чуть покачивался на нем в затишье лощины заиндевевший в складках красный флаг. На другом конце хутора снежный скат горы чернел живыми малыми точками. Шумно катались на салазках дети. Улица же была тиха и пустынна. В ближайшем дворе недужно залаял дряхлый пес. Щурясь от яркого снега, Степаненков подвернул было к нему, но издали донесся окрик:

— Сюда езжай! Куда воротишь?

Степаненков голос узнал. Сонное лицо его не оживилось, но, как всегда, у него в волненье на правой скуле зардело красное пятно, зачесалась волосатая щека. Он буркнул:

— Встречает. Черти ему служат, уже донесли!

Низкорослый человек в желтом дубленом полушубке и белой заячьей шапке-ушанке махал руками, указывал на большую саманную избу близ себя. Когда подъехали, он подошел к передним саням, к Степаненкову, широко расставляя в шагу кривые ноги. Раскосые сизо-черные глаза его с желтыми белками светились усмешливым огоньком. У Степаненкова остро екнуло сердце. Черт узнает по этой образине, как смеется? Приветствует весело или издевается? Все же улыбнулся в ответ, открыв белые широкие зубы, остро сверкнувшие на темном лице.

— Не ждал гостей? Назад не завернешь?

Алибаев протянул для рукопожатия небольшую, сильно загрубелую желтую руку.

— Добрый для хозяина гость не бывает не в час. Айдате заезжайте, может, и сумею приветить. Давненько с тобой, товарищ Степаненков, повидаться случая не выпадало, я об тебе даже заскучал, право! Въезжайте, въезжайте.

Хитрогубый, плосконосый, с кожей дымчато-желтой, всем обличьем нерусский, Алибаев выговаривал слова тягуче, просторно, теплым голосом. Всегда охотливо, любовно приснащал их одно к другому. Степаненков знал Григория давно. Суховатый в словах сам, любил его привольную речь. Но сейчас, заслышав Алибаева, насупился.

«Разговором одним задурит, шельма!»

И нежелательно для себя угрюмо отозвался:

— Заедем, не торопи.

Ни во дворе, ни позднее за чаепитьем в

дальней горнице Алибаев ни словом не выразил удивленья или любопытства. Степаненков сам пробовал объяснить свой наезд.

— Запарились в городе. Катнули на передышку к тебе. Ну, как раз тут близко от тебя маленько щупали кой-кого.

Алибаев спокойно спросил:

— Щупали? В нашей округе народ нехорош — худой жизни народ. Не земледелец, а гуляка. Эй, дружки, я вам больше не стану чай наливать. Хлобыснули по чапурушке на закладку, хватит!

Подмигнул, пригнулся приветливо к Степаненкову:

— Сейчас холодного кипяточку подадут. Послаще, покрутей этого парева.

От его дыханья ударил в лицо скверный запах винного перегара. Степаненков укоризненно качнул головой:

— Слышу, несет.

Алибаев скривил рот.

— А тебе надо, чтобы ладаном от меня шибало, что ли? Шалишь, лучше спиртом. Много народу в могилу посшибал, все без ладана, ладан не уважаю.

Степаненков перебил:

— Своего заводу водка? Не боишься, что выпьем, а по должности тебя тряхнем?

Алибаев сухо, коротко усмехнулся:

— Ну, из-за этого с Гришкой Алибаевым шуметь не станете! Самогонкой не занимаюсь, у меня старая, царской варки. Михайловский завод, чать, я громил, не выпил еще.

Снова добродушным ласковым говорком прибавил:

— Настоящий спирт, лечебный. Я им от своей хвори лечусь. Городской доктор один мне обстоятельно обсказал, что я больной — алкоголик. Без выпивки тебе, дескать, нельзя терпеть. Это он правильно, не могу без водочки. Дошлый господин, я за это ему три пуда крупчатки отвез, хоть не жалую господ. Вы там, в городу, что-то шибко цацкаться с ими зачали. В Москву меня возили, поглядел — опять господа в большом числе меж нашими шныряют. И друг дружку все «гражданинами», не «товарищами» кличут. А один так прямо залепил: «господа». Попался бы в нашей волости, я бы ему, сукину сыну, на спине господина бы прописал! Закаялся бы в трудящей республике барина кликать.

Степаненков хмыкнул в ответ что-то невнятное и встал. Заходил по горнице. Алибаев головы не повернул, но Степаненков учуял:

«Слушает мои шаги, собака».

Злобно взглянул на остроконечное алибаевское ухо. Вернулся к столу, постоял, огляделся исподтишка вокруг. В чеке известно: добра много Алибаев хапал, а в жилье у него скудно. Грубо сколоченный стол даже домотканой мужицкой скатерткой не покрыт. Облупившиеся стены давно не белены и пусты, ни единой картинки не наклеено. Пол земляной и неприбитый, корявый. Печка-голландка дымом закопчена. Скамейки некрашеные, узкие, для сиденья неудобные. На широкой деревянной кровати вместо всякой постели один черный тулуп

мелим вверх раскинут. На подоконниках махорочные окурки поспримерзли. А на протемневшей, давно не мытой божнице под самым потолком потрескавшаяся старая икона без стекла. Чуть мерещится черным виденьем худущий лик какого-то узкоглазого, как сам Алибаев, угодника.

Неожиданно распахнулись обе половинки некрашеной двери. Степаненков едва удержал вздрог. Из первой от сеней половины избы, где широко расселась русская печь, вошли двое. Пышнобородый, но лысоголовый высокий старик с выправкой старосолдатской и сухощавая узкобедрая женщина. Степаненков внимательно оглядел ее короткую коричневую шерстяную юбку, щеголеватые, по ноге сшитые, высокие сапоги и старый офицерский пояс, туго стянувший тонкое тело. Сухощавое темнобровое лицо от коротко стриженных прямых пепельных волос казалось молодым, не женским, а мальчишечьим. Но виски желты, покороблены тонкими, как паучьи лапки, морщинами, углы бледных губ устало опущены, и острый блеск слишком широких черных зрачков в синих глазах нехорош — нездоровый.

Старик поставил на скамейку около Алибаева четвертную бутыль и ведро воды с ковшом. Женщина опустила на стол большой тр,актир1ный поднос со снедью: холодную вареную свинину, квашеную капусту с огурцами, жареные пельмени, свиное сало и запеченные круто яйца с полопавшейся желтой скорлупой. Все в деревянных крашеных киргизских чашках. Алибаев взглянул на женщину, и усмехнулся.

— Вернулась, краля? Смиловалась? А я-то сдуру верхового в Александровку погнал, благодарственный молебен попу заказал. Навяжется вот эдакая холера, дак ни крестом, ни пестом не отобьешься!

Женщина сердито тряхнула головой, покраснела.

Алибаев ласково хлопнул по плечу молодого чекиста.

— Ты как, братишка, тоже охоч до баб? Глаз-то у тебя бесоватый. Вот слушайся моего совету, толстых облюбовывай. Не столь горячи, зато и не так пакостливы.

У кареглазого хмельно стукало сердце, ярко светился взгляд. Как молодое сильное животное, он весь трепетал от запаха врага, рвался к схватке с ним. Что канитель с желтоглазым тянуть? Еще с веселым разговором лезет по-свойски, а ты сиди рядышком да поддакивай. Он сердито отодвинулся, резко ответил:

— Советы давай тому, кто их у тебя спрашивает.

Алибаев тихонько засмеялся нутряным, затаенным смешком. Совсем сплющил узкие глаза. Степаненков перестал кружить по горнице, подсел к столу. Высоколобый, лысый со лба, немолодой чекист с аккуратно подстриженной бородкой подвинулся на скамье, давая ему место. Глуховатым приятным баском сказал Алибаеву:

— Во вкусах, видно, вы с Шуркой не сходитесь, он рассердился.

Чалыми глазами, бестрепетными, как у выхолощенного коня, глянул на Шурку. Четвертый гость, латыш, низколобый, с тя-

желым подбородком, мало вступался в беседу. Он выпускал слова с натугой, будто аккуратно выкладывал увесистую кладь. Выговаривал их отчетливо, но неправильно. Казался очень голодным или жадным. Настойчиво наблюдал, как Алибаев наливал чай, смотрел ему в рот, будто завидовал каждому глотку, внимательно рассматривал чашки, медленно передавая их другим.

Алибаев ничего не ответил высоколобому.

Вдруг налегло недружелюбное молчание. Оно длилось одно мгновенье, но все, кроме латыша, облегченно задвигались, зашевелились, разминаясь, когда женщина его нарушила. На нелепом мешаном наречье она сказала:

— Бис ее знает, куда пбсуду заховалы. Ты, Григорий, мабуть, усю поразбывал, тильки твою чарку знайшла. В чому водку питемо? В чашкйх?

Несловоохотливый латыш неожиднно торопливо с неуклюжим задором отозвался:

— Одним чарком водку можно. Это не чай, скоро сглотается.

Все засмеялись, даже Шурка нехотя улыбнулся. Алибаев визгливо крикнул:

— Ну, гости дорогие, хлеб-соль на столе, руки свое! Кларка, садись, пес с тобой, займа йся с гостями. Со свиданьицем, дружки!

Из четвертной *он* полно калил в крупный, лпотемневшего серебра стаканчик, закинул голову, быстро выплеснул спирт себе в глотку, зачерпнул ковшом из ведра, запил его водой.

Солдат, принесший четверть, с рассыпчатым льстивым смешком одобрил:

— Вот правильно! Глотку цельным прочищает, скус не портит, а разбавляет в брюхе. Ну-ка, господи благослови, хватану и я.

Степаненков, поскребывая пальцами волосатое лицо, заявил решительно:

— Как хочешь, Алибаев, нам по-твоему не по силам. Сердись не сердись, а я для себя разбавлю.

Алибаев на удивленье равнодушно ответил:

— Пес с вами, пейте по своей кишке.

Сглотнул еще стаканчик спирта, опять запил водой и не закусил. Узкие желтые глаза заблестели, как янтарь. Латыш недовольно дернул челюстью, встретив его взгляд. Григорий выговорил с насмешливой ласковостью:

— А ты, приятель, подцепляй закуску, меня не поджидай, отравы никакой не подмешано. Этого дела я не уважаю.

Степаненков быстро перебил:

— Мало выпил, а уже чепуху мелешь. Подвинь-ка нам капусту, дамочка. Не знаю, как вас по имени, по отчеству.

Алибаев засмеялся.

— Прежде, по-хохлацки, Гапкой, по мужу Ковальчук звалась, теперь товарищ Клара Артуровна, а фамилию без кашлю и не скажешь.

Он подмигнул.

— Ты на ее не зарься. Бабешка вредная и в уме попорченная.

У стриженой под пепельным клоком волос еще шире и жарче, как в лихорадке, разгорелись зрачки. Светлого ободка почти не видно стало. С суматошным приды-ханьем

она быстро заговорила, пристукивая ладонью по столу:

— И у ранци, и у вечери нема у его до мене доброго слова, одно — грызе мою голову. А найдужче — перед добрыми человеками. Как партейные товарищи в беседу со мной, он сичас ну выставлять меня у во всяком грязном лице. Що ты, человиче, робишь? А? Чи найпуще хто мене лает? Чи добрый чоловик? Гришка Алибаев, вот и хто!

Алибаев замотал головой.

— С утра нынче, стерва, визгает, уши заболели.

Старый солдат, склонившись к высоколобому, тихонько пояснил:

— Кликушей раньше была. Как в Александровке с мужем до перевороту жили, кажную обедню за херувимской по-собачьи скулила и корчилась. Два раза духовенство бесов из нее выгоняло.

Клара услышала, сильно побледнела, сжалась,^ как кошка перед прыжком, но вдруг совсем неожиданно засмеялась и успокоилась.

Повернула к Шурке лицо, очень похорошевшее, точно изнутри осветившееся чудесным, высоким волненьем. Пожаловалась кротко, певуче:

— Оце ж, чуешь, хлопец, як псы, як волки надо мною зубами стукотять. Ты же добрый, ще молоденький, послухай. Я все повидала, с ими и в сражениях з белыми була, як нужниш, и в беде, и коло смерти, и на митингах волостных за оратора — усего бувало. Эх! Ус§ то мынулося! В одной воин-

ской части за политрука служила. В подполье у колчаковским документ на Клару мне выдали. Не злякалась в подполье, работала, из-под самого из-под расстрелу утикла. Вот с этим-то документом на офицерскую вдову Клару Артуровну Стжибровскую. Так як же мини Гапкой Ковальчук, как при старому режиму, зваться? а?

Она всплеснула руками, молящим взором ловила Шуркин взгляд.

Шурка сильно покраснел, потом побледнел, растерянно оглянулся вокруг. Степаненков поставил перед женщиной стаканчик с водкой. Угрюмо и брезгливо сказал:

— Пей и замолчи.

Алибаев со смехом поддакнул:

— Правильно, помолчала бы. Все брешет! Выкрала у какого-то офицера женины бумаги. С нашими таскалась и на войну. Это правда. Эй, Шурка! Ох, чисто ножиком глазами пырнул. Не злобись, паренек, мы с тобой еще, дай срок, по-душевному разговоримся. Знаю я, с чего ты волчонком на меня. Правильно! Мой сынишка Сергунька так же на отца глядит. Кларка, брысь! Не приставай к парню.

— Ах, злодияка, злодияка ты, Григорий, свит мий завьязав. Лихо — та и годи. Ну, почекай, почекай!

Опять всплеснула руками и, положив голову на стол, жалобно запричитала:

— Чи зна хто таку брду, як моя? Чи е ж такый ще бесщастный на свити! Диточек своих покидала, порастеряла. Не всмихнётся мене дочечка, Горпынко зозуленька, не вздывытсяттриятненько Левко, хлопчик мий...

Старый солдат хрипло засмеялся:

— Детей вспомнила, упилась, значит. С утра с Григорьем наливаются. Клара! Клар... Ну-к, пропустите, я ее в ту избу унесу, отойдет, а то блевать еще зачнет.

Он легко поднял худенькую женщину и понес к двери. Клара с визгом забилась у него в руках. Ее сапоги били старика по коленям. Он громко выругался, но из рук ноши не выпустил. Шурка проводил их быстрым блеснувшим взглядом.

Вернулся старик скоро и подсел к латышу. Сообщил ему охотливо:

— Кларку в баню унес, верещит нестерпимо, по детям убивается. Худущая, а плодовита, сука. Четверых с мужем еще прижила, да безотцовских двое. Всех по чужим дворам раскидала. Как напьется, скорбит.

Латыш нетерпеливо махнул рукой. Он не сводил глаз с Алибаева. Степаненков ястребом кружил по горнице, а тот сидел на стуле, широко раздвинув ноги, твердо упираясь подошвами в пол, с корпусом, наклоненным вперед, будто готовясь к прыжку. И хоть говорил не умолкая, спокойно растягивая слова,— зорко следил за Степаненковым, уже не таясь.

Шурка отвернулся к окну. Плечи у него скучливо сникли. Старику хотелось беседовать. Он выпил спирту, закусил пельменем, не обращая внимания на Алибаева, заговорил одновременно с ним. Алибаев рассказывал:

— Да, в Москву свозили. Чешутся у начальства на меня руки, да колюч еж, голыми руками *т* возьмешь. А рукавичек на

меня с моими партизанами еще нету, да к чему прицепляться... к пустякам. «Донесли, говорят, про твои жестокости. Мирные жители тобой ребят пугают». А пусть, говорю, пугают. Все одно этими руками детей тютюшкать неловко, и своих-то не касаюсь. «А зачем мертвецов расстреливаешь? Это нехорошо»,— говорят. Живому-то оно больше, чать, нехорошо, а вы мертвяков жалеете. Да я мертвых и не расстреливал, брешут, я пули жалел. Заводов-то у меня, чать, нет, на стрельбу в живых пуль не хватает. А трупами мы окопы загораживали, чтоб вражьи пули не на нас, а на мертвецов расходовались. Родне разрешили эту мертвую стражу хоронить. Там нашлись какие-то мастаки-доктора, распознавали, насколько глубоко в живое тело пуля входит, насколько — в мертвяка. Не хватает, дескать, мерки. Ну, жаловались на меня.

А старик солдат с другой стороны — высоколобому:

— Алибаев в нашей округе торговать не дает, а в городах уже опять свободная торговля. Конечно, зря он это. Слышь, Григорий, я говорю — зря торговать не даешь. Я сам, как на военной службе отслужил, торговым делом шибко завлекся. Оренбургские пуховые платки, самое, в нашей станице вяжут. Я не казак, ну станичный житель. Забрал, значит, партию платков, в Златоуст повез, на казачьи шашки наменял, а шашки домой продавать привез. Маленько дело в убыток вышло, проторговался дотла. Ну, все одно, сам не нажился, а повидал, как другие наживаются.

Им внимал и даже ухитрялся их слышать сразу обоих один высоколобый. Степаненков прислушивался к нараставшему за намерзшими слепыми окошками избы шуму. Скрип полозьев, неясный гомон. Кажется, подъезжает народ. Что такое? Шурка у окна тоже сел прямей. Повернул голову к окну и латыш.

Алибаев вдруг крикнул:

— Эй, служивый, айда, лучше споем любимую!

Затянул неверным, диким голосом:

**Сто-ит гора-а высокая...**

Старик, молодцевато подбоченившийся среди избы, не успел подтянуть. Алибаев оборвал пенье, засмеялся, вскочил легко и упруго, как резиновый. Совершенно трезво, отчетливо сказал старику:

— Подводчики приехали.

Выскочил из избы как был, без шапки, в засаленной солдатской гимнастерке без пояса. Старик кинулся в другую половину избы. Чекисты подались друг к другу — посовещаться. Но служивый снова появился в дверях в наброшенной на плечи дохе дорогого черно-бурого меха, очевидно господской, и, сдвинув лихо набок свалявшуюся баранью папаху, позвал настоятельно:

— Пожалуйте-ка, товарищи, и вы с нами. Айдате, айдате, Григорий зовет.

Гости переглянулись. Латыш вышел первым, вытянув шею и наклонив голову, как собака, нюхающая след. Степаненков на ходу сказал Шурке чуть внятно:

— Ты продышись на дворе хорошенько, дураком вперед не вылезай. Я сейчас с Краузе посоветуюсь.

Старик покосился на них живым несердитым взглядом и зашагал в ногу с высоколобым. Охотно, без всяких расспросов, сообщил:

— Подводы с провиантом прибыли. У вас в городу и по другим по волостям запрет на реквизиции, а у нас разрешено. Раньше поп филипповками шерсть и пшеницу собирал, а теперь Алибаев заместо него к рождеству богатеев стригет. Это дело нехудое, это я согласен, вся бедняцкая населенья в волости разговеется и одежонку кое-какую получит к празднику.

Высоколобый, слегка отстранив старика плечом, поспешно кинулся в дверь.

Только здесь, на воле, приезжие поняли, какой спертый дух давил на них в алибаевской избе. От первых глотков свежего воздуха кровь застучала в виски. Грудь задышала, как из тисков высвободилась.

Двор и видная в распахнутые ворота улица, тихие, когда приехали чекисты, теперь кишели народом.

С десяток сонно^ицых башкир в заношенных теплых мйлахаях, в пятнисто-грязных кафтанах, стеганых или на меху, сидели на корточках под навесом.. Трое, часто сплевывая, курили, слаженные собачьей ножкой вертушки с махоркой. Один со сморщенным, будто испеченным лицом покошачьи сладко жмурился, забивая нюхательным табаком приплюснутые ноздри. Ос-

тальные долго, не мигая, блескучими желто-черными глазами следили за табачным дымом. Перекликались время от времени короткими гортанными, как клекот хищных птиц, словами. Лобастому чекисту все башкирские лица, скудноволосые, малоподвижные, обтянутые тугой кожей, показались одинаковыми по виду и по возрасту. Он подумал, как всегда не просто, будто вспоминая текст прочитанных книг:

«Ни одного молодого. Все древние зверолюди, замедлившие на стезе вымиранья. Если попадемся, узнаем: «Виновны ль мы, коль хрустнет ваш скелет в тяжелых нежных наших лапах».

И в тусклых стылых его глазах затеплился огонек, отблеск чужого вдохновенья, слабосильный и минутный. Латыш искоса глянул, быстро и точно определил количество башкир. Степаненков мысленно нехорошо выругался. Шурка засмеялся, с любопытством оглядывая двор.

На приступках амбара сидело человек пять чубастых немолодых казаков. Они рассматривали старинное с широким дулом одноствольное ружье. Плечистый казак с выпирающим широким подбородком встал, примерил на плече его тяжесть и глухо, нутром засмеялся. Но лицо его не задвигалось, не полегчало от смеха.

Старый служивый выстроился было начальственно, картинно в дверях, но, завидев казаков, ссутулился, поспешно зашагал к ним с заискивающим подхохатываньем.

Трое крестьянских дровней с поклажей, увязанной кошмами, стояли у ворот. Ма-

ленькие взъерошенные степные лошади замерли понуро, как в дреме. Но верховые, под казачьими и киргизскими седлами, беспокойно переминались под сараем, тянулись мордами друг к другу и косили глазом за загородку, где тревожился с густым ржаньем рослый жеребец.

Тяжело топтались по двору и галдели мужики в тулупах, туго подпоясанных, в пимах — будто в дальний собравшиеся путь. Похоже на съезд у волости или деревенское торжище в базарный день. В широко распахнутых воротах, как в раме, стоял малорослый Алибаев. Он размахивал руками и неистово орал кому-то вслед:

— Проходи, проходи мимо, не задерживайся! Да язык в другой раз придержи, а то я сам за тебя примусь, отучу к партизанам с указкой лезть. Полгода раскорякой проходишь, коль сам проучу! Такой декрет пропишу, что не встанешь!

Степаненков подошел поближе к воротам. Испуганная гуденьем алибаевского двора, пронеслась мимо запряженная в дровни молодая лошаденка. Она смешно нырнула в глубоком ухабе и вынесла дровни боком на пригорок. Молодой парень-седок, франтовато одетый в пальто на городской фасон, в длинном пуховом шарфе, замотанном три раза на шее, вывалился из дровней, зацепился концом шарфа за дровни, поднялся и опять кувырнулся в снег из-за шарфа. По улице раскатился смех ребятишек, и они дружной черной стайкой . пронеслись вслед за дровнями. Мелькали цветистые юбки баб, выбежавших из

дворов. Мужики в овчинных тулупах и в полушубках, наброшенных на плечи, усмешливо щурясь, приподнимая шапки, с неторопливой разминкой, в одиночку и кучками, подходили к башкирам, казакам и наезжим крестьянам. Точно мелкая рябь пробежала по глубоким сугробам улицы. Сквозь падающий снег окружные горы казались зубчатой грудой плотно сгустившегося тумана. День уходил. Вечерняя зимняя серость налегала тяжело и тоскливо на сугробы, гася их белизну, обволакивала избы и дворы, сгущалась в закоулках и под крышами в зыбкую темноту. И люди, их движенье и гомон показались Степаненкову недействительными, неясными, точно приснились во сне. Пил он мало, но от духоты и волненья голова слегка кружилась и телу не хотелось двигаться. Мысль: «Надо торопиться»,— в мозгу проползла медленно. Встряхнулся только, когда с ним заговорил низенький красноносый старик. Он легонько стукнул батожком об ворота, остановился около Степаненкова, оглядел его внимательно, зевнул, перекрестил рот и, счищая сильно трясущимися корявыми пальцами снег с бороды, спросил:

— А вы, городские, с чем наехали?

Степаненков повел плечами и ответил, не глядя на него:

— В гости к приятелю.

— Ыгым... Издаля гости только на свадьбу иль на похороны ездиют. У Алибаева ровно ни того, ни другого во дворе не деется. Ну. что ж, с гостями и мы за гостей сойдем! Тоже стаканчик, глядишь, поднесут.

Он усмехнулся и вопросительно посмотрел на подошедшего служивого в дохе. Тот отрицательно помотал головой, потом луказо прищурился, показал Степаненкову глазами на низенького старика и щелкнул пальцами себе по кадыку:

— Любит.

Низенький спокойно кивнул головой в подтвержденье:

— Около Гришки только и дышу, часто пользует, спасибо ему. У нас в Каин-Кабаке мало кто есть нестарательный на выпивку. Только во хмелю да в драке и радуются. Теперь драка-то, слышь, позатихла, а у нас не хочут. Вовсе отбились от тихости, не знай, куда теперь привернемся. Хозяйство поразмотали, так вроде дворни при Гришке. Он шаперится, и мы с им. Беспокойно, а ничего. Куды же мы от его? Никуды мы, Григорий, от тебя.

Алибаев оглянулся. Короткая, очень черная жесткая щетина его волос помягчала от пота, закурчавилась. Он был сильно взбешен чем-то. Злобно крикнул на старика:

— Ты чего здесь толкешься?! Тебя кто сюда звал? Восьмой десяток землю гадишь. Хорошие-то люди почету себе требуют в этакие-то седые годы, а ты все холуем под руку лезешь. Тьфу!

Старик понурился, легонько вздохнул и быстро отошел к сторонке за ворота. Алибаев сумрачно глянул на чекистов и круто повернул от них к дровням с поклажей. Спросил широкоплечего суровоглазого мужика в старом, выношенном тулупе:

— Чего привезли?

Тот, лаская возы загоревшимся жадным взглядом, ответил:

— Овчины, шерсть, пшено, пимы и баранье сало. И гуси есть, и свинины туша. Нынче, что ль, распределишь? Чего откладывать!

Широкоплечий мужик был богат. Спасая добро, один из первых прозорливо примкнул к алибаевскому войску. В годы обнищанья односельчан приумножил и скот во дворе, и запасы в закромах. Но от избытка сам в теле не потучнел, а схудал, прожелтел в лице, помрачнел. Приумножая, все больше распалялся алчной тоской. Алибаев, поняв снедающую его заботу, сухо ответил:

— А ты загребы-то свои шибко не расставляй, малость какую-нибудь уделю. Не для этаких, как ты, для бедноты реквизовали.

Служивый в дохе льстиво под руку Алибаеву сунулся:

— Правильно! Для бедноты права в бою отбили. Для кого же мы и старались!

— Ну... ты еще, старатель!

Алибаев больно ткнул его кулаком под ребро. Служивый подавился словом, отскочил, но, передохнув, снова молодцевато выправился. Григорий, глядя на него сумрачным взглядом, сплюнул и очень искренно сказал, порывисто повернувшись к Степаненкову:

— В бою-то люди бились рядом со мной, а теперь погляжу поблизости—погань одна, на поживу тянется. Что ты скажешь? Чисто вши меня обсыпали. Тварь малосильная, а шибко вредная.

Казаки прислушивались. Один крикнул:

— А ты, Алибаев, от этих от вшей, что ли, и сам заплошал? Дружок-то твой, Пантюшка-грамотей, что сейчас высказывал? То нельзя, да это запрещается. Кому запрет? Нам? О-го! Какой ретива-ай! А ты послухал, отбрехался, как собака хилая, у своих ворот ему вслед. Это чего же? Не хочешь, да засумлеваешься. Ветерь-то теперь, видать, не по нам дует.

— А ты с твоими станичниками против ветру не умеешь?

Алибаев в ответ выругался длинной фразой, замысловато прибирая одно к другому непристойные слова. Мужики восхищенно переглянулись. Казаки густо захохотали. Алибаеву мастерская брань тоже будто сердце облегчила. Он повеселевшим голосом обратился к Степаненкову:

— Вот так-то, друг! Это вы там в городу худо поворачиваете.

— А по-моему, у тебя нехорошо.

— Да уж там хорошо ли, нет ли, а правильно. Кому в восемнадцатом годе кишки выпускали, того теперь застаивать? Эге, шалишь!

Степаненков покачал головой.

— Ой, зарвешься, парень. Надо бы маленько с властью считаться.

— Мне Москва не указ. Власть на местах, за что бились? Пускай там господам потакают, мы буржуям не потатчики. Заново брюхо отрастить не дадим, ша-а-лишь!

И, уже совсем повеселев, подошел к чекистам. Шурка быстро отвел в сторону загоревшиеся глаза, круто отвернулся.

Степаненков, тоже глядя мимо него, сказал:

— Ты, чем бахвалиться, шел бы оделся. Застудишься.

— Эге! Ни начальством, ни застудой не запугивай, товарищ! Пуганы, пуганы, до того уж перепуганы, что и пугаться разучились. У вас там во все щели баре повыперли, а мы на господ не согласны. У нас как постановили, так и не сменяем: мужичий верх, *а* не господский. Вот поспрошай мое воинство. Недавно господин учитель один запрекословил...

Степаненков сердито махнул рукой:

— Ну тебя! Муторно от бахвальства твоего. Ты мне лучше объясни, что это у тебя — съезд, что ль, какой во дворе?

Алибаев, уставясь ему в лицо желтыми глазами, охотно объяснил:

— Это вроде как моя личная охрана. Всякой твари по паре. Как в Москву на вызов выезжал, они на станцию понаперли, чуть поезд не задавили. Я сам их назад отослал — своей, мол, охотой еду. А все-таки нет-нет да нежданно соберу, чтобы всегда наготове держались.

— А сегодня зачем собрал?

— Говорю — проверка, непонятливый ты какой. Ночью надумал, нынче на заре слух с нарочным подал, и вот, гляди, чуть за полдень — они уже все тут из разных мест. Коль надобности не объявится, пошумят на дворе и разъедутся. И с реквизиционными подводами в час угодили. Вот дележку мою поглядишь, справедлива ли. Ай не хочешь?

Глаза их встретились. Степаненков глуховато сказал.

— Большой охоты не имею. Ссориться с тобой придется.

Высоколобый издали осторожно вставил:

— Да, пожалуй, нам и собираться пора. Как бы ночь не застигла в пути. В Александровке ночевать собирались.

— Здесь заночуете.

В голосе его не прозвучало никакой угрозы. Неподвижный взгляд косых глаз тоже остался спокоен, но чекисты поняли, что Алибаев без боя не выпустит. Вся надежда только на подмогу. Высоколобый соображал:

«Жизни моей, пожалуй, пока ничего не угрожает. Может быть, еще торговаться с нами будет. Надо выжидать».

Выжиданье оказалось нестерпимым не только для Шурки, но и ддя Степаненкова. Шурка весь побелел, у него тряслись губы, он сделался сразу сам на себя не похож. Его возмущала унизительность их бессилия. В такой переделке он еще не бывал. Если бы можно было им отбиваться с оружием, а то нате — сами приехали и сдались в «плен». Чего же старшие-то думали? Надо было сразу с отрядом весь хутор окружить, запалить, занять, смирить. И он ненавидел теперь не только Алибаева, но и Степаненкова, и латыша, и высоколобого. Степаненкова мутила злоба от другого. Здешние люди, вся окружающая Алибаева непростая обстановка претили его здоровенной, цельной, как плоть, душе. Он не мог поручиться, что, если еще Алибаев обратится к нему с

каким-либо словом, он не ударит его, отметая всякую осторожность, с чувством огромного душевного облегченья. Латыш ощущал схожее со Степаненковым бешеное отвращенье к врагу, но знал, что гнев свой обуздать может. Он обдумывал возможность нападенья на Алибаева. Высоколобый один мог продолжать разговор с Григорием. И он начал было его расспрашивать о партизанских боях, но Алибаев отвернулся. Он услышал за сараем, на задах, пронзительные женские выкрики.

Алибаев засмеялся, крикнул служивому:

— Лизарыч, принеси мне одежду. Кларку шугнуть надо. С Пантюшкой, видно, спорить сцепилась. Не в свое дело лезет! Я ее сейчас! Шку-ура!

Лизарыч быстрым скоком, хлопая полами дохи, сбегал за полушубком и шапкой. И одновременно через задние ворота под сараем вбежала Клара. Она теперь была в папахе, в солдатской шинели и с револьвером на боку. Возбужденно сообщила:

— Оце ж, сучий сын, як лается! Пальнуть бы, як в Кирбасове того смутьянщика!

— Я тебе, стерва, пальну! Иди в избу, ну?!

Алибаев сильно толкнул женщину в двери сеней. Она стукнулась головой о притолоку, визгнула, кинулась к Алибаеву с криком, с вытянутыми вперед руками. Он ударом сбил папаху с ее головы, сильно рванул за волосы, пинком втолкнул обратно в сени, притворил дверь и накинул ее на щеколду. Клара стукнула раза три в дверь, потом жалобно заплакала и затихла в сенях. Алибаев

подошел к Степаненкову, что-то хотел сказать. Тот, хмуро глядя в сторону, не слушая, перебил:

— Где же наши кони? Я чего-то их не зижу. Мы ночевать не останемся.

Алибаев пристально посмотрел ему в лицо, прищурил глаза и, явно издеваясь, проговорил:

— Ой? Не желаете больше гостевать? Не пондравилось? А мне вы глянетесь, не отпущу. Погостюете с недельку, а может, и поболе. Сколь хозяин захочет.

По лицу у Степаненкова прошла, как мимолетный взблеск, судорога бешеной ярости. Он сильно сжал челюсти, сдержался, продохнул и с усильем, но спокойно и твердо выговорил:

— Не блажи, Алибаев. Хватит. Где наша подвода?

— Ишь ты, строгий какой! От прежнего дружка рыло в сторону. Чтой-то? Не выпущу, поживете в моем монастыре по моему уставу.

Степаненков круто повернулся, хотел отойти. Высоколобый не понял его движенья. Поторопившись предотвратить беду, вызвал ее. Ему показалось, что Степаненков наступает на Алибаева, хочет ударить его. Он сзади крепко обхватил Степаненкова. Шурка наскочил на Алибаева, уронил его на землю, стал бить кулаками и сапогами. Алибаев, ловко извиваясь, вырвался. Шурка выстрелил — промахнулся. В ответ выпалил из ружья казак, тоже не задел ни одного из чекистов. Сзади башкиры налегли на них. Алибаев заорал:

— Не наваливайся, чтоб живы остались! Эй, слышь? Живыми оставить! У меня с ними еще разговор будет.

Стрельба прекратилась, но началась свалка. Чекистов обезоружили, связали, внесли в каменную кладовую, положили на кошомный ворох. Громыхнул на дверях тяжелый замок.

Трудно было определить, сколько времени пролежали. Со двора вначале доносился неразборчивый говор, людская толкотня. Потом вдруг шум возрос, послышалось движенье, похожее на разъезд. И после этого сразу за стенами кладовой сделалось очень тихо. Через промежуток времени, мучительно долгий для запертых в кладовой, замок за дверями кто-то осторожно принялся тревожить.

Освободила их Клара. Она с прерывистым дыханьем сбивчиво жаловалась на жестокую обиду от Алибаева, кляла какую-то Марьюшку, приставала к Шурке с тихим причитаньем:

— О, боже ж мий милесенький, та який ты горячий. Хиба ж можно? Полон двир, а ты стрелять.

Степаненков сердито дернул ее за плечо.

— Некогда. Народ где?

— Да никого нема. Григорий затоскував, усих по домам разогнав. О, який же скаженный! Я б его свома пальцами задушила, шайтана! Избил меня, а жалкует над сукой, забув все, хочь с пушек палы — не учует. Слова не промовит, тильки ее разгляда. Та колы бы вона не подлянка була... Тикайте, тикайте швыдче! Ото ему

будет мий подарочек на утре. Отчинит кладовку, а положенных нема.

С ночного неба густо падал снег. Ветер налетал порывами, ударялся в стены, в ворота. Клара пояснила:

— Нема ваших коней. Мабуть, казаки угнали. Да запряжите Бурку. Ну! Идыть суда. Да ничого, не лякайтесь. Вин не учуе, с Машкой сопыть.

Высоколобый спросил:

— А где же этот... Лизарыч?

— В горнице с дидкой Козырем сплять. Воны же пьяны, не проснутся.

Шурка жарким шепотом спросил:

— Где Алибаев?

Латыш, не дожидаясь ее ответа, пошел к избе. В окне виднелся свет. Высоколобый решительно приказал:

— Шурка, иди с этой бабой за лошадью. Запрягите пару, если найдешь. Жди во дворе.

Клара нетерпеливо крикнула:

— Да тикайте вы! Чего не бачили в оконце? Намерзло, не видать и ничуть ничого.

Степаненков легонько оттолкнул ее.

— Иди, баба, покажи, где лошадь. Запрягайте скорей. Мы сейчас.

Окрепший ветер ударял в стены избы, взвывал в трубе, но Алибаев шорох в сенях услышал. Приоткрыл дверь и крикнул:

— Кто там?

Ленивый, очень мягкий женский голос в избе позвал его.

— Да не тормошись, беспокойный ты какой! Ветер шумит. Ладно, как раз по ноге.

Алибаев двери плотно не притворил. В небольшую щель латыш острым взглядом разглядел избу. Створчатая дверь в горницу была плотно притворена, и в ручку засунут ухват вместо запорки. У маленького скосившегося деревянного стола с водкой и закуской стояла невысокая, тяжеловатая телом, белолицая, чуть курносая женщина в бумазеевом капоте. Она внимательно разглядывала новые блестящие резиновые галоши на ногах.

Алибаев подошел к ней вплотную, шумно дыша, припал головой к пухлому плечу.

— А песню, Марьюшка, не споешь нынче?

— Ай, да ну тебя. Уж тебе нынче пели-пели.

— Это пьяные-то?

— Да здешний народ и не поет, когда не пьяные.

— А пьяные частушку отстукают, как дятел носом по дереву. Разве это песня — без разливу? Они расейских не могут, а ты протяжно поешь. Я за то и залюбил тебя. Баба ты плохая и хапаная, гулящая, за что бы я тебя больше залюбил?

— Ну-к, пусти, я сяду. Спать мне уж охота, а не петь. Айда лягем.

— Ох ты, лапынька моя...

Дверь распахнулась, чуть с петель не слетела. Латыш сзади схватил Алибаева. Круглолицая женщина взвизгнула негромко. Степаненков быстро повалил ее на скамью и скрутил веревкой. Быстрым говорком просила, вертя головой:

— Не затыкай мне рота, голубчик. Я не закричу, не крикну я, товарищ. А то задохнусь, у меня дых шибко крепкий, задохнусь. Я не буду кричать, миленький! На кой он мне сдался, кыргыз страшнючий! За калоши я, на калоши позарилась.

Алибаев сдался без малейшего сопротивления. Услышал слова женщины, дернул головой, и лицо его исказилось не то испугом, не то тоской.

Своего оружья не нашли. Дверь в горницу, чтоб шума не поднимать, не открывали. Латыш захватил большую железную кочергу. У Алибаева в кармане оказался револьвер.

Степаненков сказал:

— Ладно, до подставы недалеко, едем скорей.

Крепко скрученного веревочными вожжами Алибаева с глухо заткнутым ртом завернули в большой овчинный тулуп, нахлобучили шапку и вынесли на двор. Григорий завертел шеей, вбирая ноздрями воздух, но не дергался, не извивался в руках несущих. Высоколобый даже сочувственно попенял ему в мыслях:

«Удивительно недальновидный, даже глупый человек. Дал представленье, пошумел, а в нужную минуту остался сир и беспомощен».

Очевидно, думая о том же, латыш сплюнул и сказал:

— Дырявый башка. Старики, если дверь заломают, не помогут, испугнутся. Ну, скорей клади!

Запряженная в широкую кошеву не-

складная пара, длинногривый гнедой жеребец в корню и пристяжка — молодая пугливая вороная колыбка, беспокойно топтались, чуя дыханье людской тревоги. Жеребец заржал. Из-под сарая выскочил Шурка. Бесшумно, по-кошачьи опередила его Клара. Она наклонилась над кошевой.

— Это хто? Ох, лыхо? А чому ж ее так!.. Та хиба ж я вам его отдамо?

Крикнула отчаянно, страстно:

— Ратуйте, люди!..

Шурка схватил ее за плечи, закрыл рот рукой, она вырвалась, бешено плюнула ему в лицо и снова яростно завопила:

— Э-эй!.. Помо-жи-ите-е!

Латыш с силой ударил ее кочергой по голове. Папаха слетела вбок, Клара, не согнувшись, повалилась около саней. Густо падающий снег быстро запорошил ее.

Тревожно прислушались. Никакого отклика на Кларин крик. Ветер бился в стены строений с гульливым высвистом и унылым гуденьем. Под напором его глухо постукивали ворота об засов. Покряхтывал плетневый хлевушок около избы. В студеном мраке, пересекаемом белым мельканьем снежинок, жутко чернела их подвода и четыре настороженных фигуры. Степаненков скомандовал:

— Садись.

Латыш схватился за вожжи. Степаненков придержал его за плечо.

— Пимы надо бы, пожалуй, захватить.

Шурка перебил:

— Кати! Некогда. На подставе запасная одежа есть.

— Ну, ладно, поворачивай к задним воротам. Через гумно выедем на дорогу.

В воротах жеребец заупросил. Круто задрал морду, поднялся на дыбы, сильно рванул кошеву вбок. Пристяжная задрожала, замельтешила ногами, метнулась в сторону, чуть не оборвала постромки.

Латыш соскочил с козел, перебросил вожжи Степаненкову, схватил корневика под уздцы, два раза ударил его кулаком под морду и дернул вперед по дорожке к гумнам.

## II

На сырту, на горах крутил лютый буран. Со всех сторон неслись, налетали, свивались, кружили ветры. Сугробы, скрытые тьмой, гудели, шипели, стонали от ветрового разгула. Сверху скупо падала мелкая твердая крупа, но снизу большим белесым облаком без конца и краю вздымалась, вихрилась в студеной страсти колючая поземка. Застилала зыбкой непроницаемой мутью все вокруг. Шурка и латыш с козел видели только чуть чернеющие крупы лошадей и взвиваемую ветром, побелевшую длинную гриву жеребца. Холод жег лицо. На бровях и ресницах настыли льдинки. Лошади бежали уверенно и шибко. Люди на подводе, ныряющей в ночном буране, не сразу учуяли, как продирается под одежду стужа, как устают не видеть глаза. Они не слышали стенаний метели и не пугались их.

Сильно разгоряченные удачей, еще пере-

живали радость ее в короткой отрывистой перекличке друг с другом, в мыслях.

Связанный Алибаев неподвижно лежал в кошеве между Степаненковым и высоколобым. Казалось — спал. Вдруг он яростно дернулся, сильно зашевелился. Высоколобый сообразил:

— Эх, забыли! Рот освободить надо, еще задохнется.

Озабоченно завозился над арестованным. Алибаев шумно продохнул и выругался.

— Ну, смекалистые! Разве пьющий человек может долго носом дышать? От запоя дыхание напорное. Закурить нет ли у кого у вас?

Ему никто не ответил. Степаненков напряженно всмотрелся вперед, оглянулся и тревожно приподнялся в кошеве.

— Краузе, что-то долго нет спуска! А? Што?

Не разобрать, что ответил латыш. Шум вьюги разрывал, глушил слова. Забеспокоился и высоколобый. Сразу ощутил, что ноги у него одеревенели от холода, а большой палец правой ущемила острая боль. Закричал, преодолевая напор ветра:

— Не сбились ли?!

Но в этот миг сбоку в белесой стонущей темноте выросла черная тень. Вешка! От сердца отлегло. И боль в ногах будто не так уж сильна. Латыш тоже весело взмахнул кнутовищем, указывая на вешку. Она, мелькнув, тут же затонула в буране. Алибаев громко зевнул, передернул от холода плечами, лениво спросил:

— Степаненков, а вы куда меня везете?

— Довезем куда надо, не беспокойся.

Дорогу сильно замело снегом. Она становилась все трудней, и лошади пошли уже не быстрым бегом, а трусцой. Почувствовав сильно забиравшую его дрожь, Степаненков выскочил, пошел, держась за грядку кошевы. Следом за ним выбрался из саней высоколобый. Спрыгнул и Шурка с козел. Холодный ветер швырял в лицо обжигающую снежную пыль. От напора студеного воздуха трудно дышалось на ходу. Полы тулупов хлопали по ногам, мешали. Шурка, одетый щеголеватей и легче других, двигался быстрей, но скорей других иззяб, и ходьба его не согревала. Он начал дрожать и пристукнул зубами, как в сильной лихорадке. Чекисты часто срывались с твердого наста дороги, увязали в снегу, с трудом высвобождались. За сапоги набился снег. Затревожился латыш. Повернулся с козел к саням, громко спросил:

— Сколько верста до первой спус под гора? Слышь, Алибаев? А?

Алибаев, стараясь перекричать метель, громко взревел:

— Какой спуск? Мы вдоль по сырту шпарим.

— Этот не в город разве дорога?

— Да я вас ведь спрашивал, черти дубовые, куда везете? Зачем в город по сырту ехать? Сразу, как на гору поднялись, не по той дороге ударились.

— Куда-а?

— «Куда»!.. На кудыкину гору, вот куда! Чего я, лежа, разгляжу в этакой темнотище? Не знаю — куда, только не в город.

— Тпру-у! Стой-ой!. Че-орт!

Латыш, резко дернув, натянул вожжи. Пугливая пристяжная, подавшись назад, больно ушибла о скалку задние ноги, взбрыкнула, бешено рванула вбок. Жеребец взмахнул гривой, захрапел, тоже сильно дернул кошеву. Сани накренились, латыш не удержался на козлах, упал, протащился на вожжах и выпустил их из рук.

— Сто-ой! Стой! Тпру! Стой! Дер-жи!

Шумно дыша, сразу согревшись, чекисты, увязая в снегу, падая, поднимаясь, все же не отбились от лошадей, добрались. Кони тоже с огромной натугой преодолевали вязкие снежные валы наметенных сугробов, бежали недолго, с размаху угрузли в лощине. Жеребец надрывно заржал. Этот близкий живой зов просек взвыванье метели, помог людям в бесноватой мутной тьме собраться вместе у подводы. Шурка выбился из сил. Обхватил руками козлы, припал к ним головой и никак не мог отдышаться. Высоколобый тоже изнемог. Дрожащими руками нащупал край кошевы, грузно ввалился в нее. Незадолго до этой поездки у него обнаружилось нехорошее состояние сердца, и сейчас ему показалось, что он умирает. Непередаваемая физическая тоска во всем теле, стесненность в груди и особая, пронизанная колючими искрами темнота, видимая или, вернее, ощутимая закрытыми глазами. О, так мучителен может быть только чудовищный, явственный уход живого в небытие! Он застонал, скорчился в санях рядом с Алибаевым. Степаненков и латыш топтались, тяжело месили снег около лошадей,

громко перекликались смятенными обрывистыми фразами, перебранивались. Алибаев, с силой вздернув голову, яростно заорал:

— Гусем надо было запрячь! Недоумки, дьяволы безголовые!

Латыш в сердцах замахнулся на него кнутом, Степаненков схватил за руку, удержал.

— Постой... Алибаев, назад повернуть далеко?

Шурка звенящим испуганным голосом крикнул:

— Да не ври, проклятый бандит! Все равно, хоть самим пропадать, тебя из рук не выпустим!

— Э-эх, ублюдки безмозглые! Всадили сами себя! Разве в буран можно коней с путя дергать? Теперь чего разберешь — куда далеко, куда близко?

Кругом со стенаньем и визгом качалась белесая бредовая муть, закрывала все пути. Степаненков попробовал искать их собственные следы с дороги сюда. Но они уже истоптали снег около подводы. Подавшись шагов на десять подальше, он сразу перестал видеть кошеву и лошадей, с трудом уловил голоса, закричал:

— Где вы-ы?!

Ветер озлел или изменил направление. Отстав от убегающих коней, они все же слышали ржанье, теперь отклик Алибаева чуть долетел до Степаненкова:

— А-а! Сюда-а!

Закудрявившаяся, запорошенная снегом шерсть взъерошилась на лошадях. Молодая кобыла дрожала мелкой дрожью вся — от

гривы до хвоста. Кони вытягивали шеи, напрягались и не могли высвободиться, стоя по брюхо в снегу. Латыш неистово хлестал их кнутом, ударял кулаком по хребтам и в бока, чтобы они сдвинулись с места.

Степаненков мрачно и неуверенно выговорил:

— Что ж, надо кричать. Может, кто с дороги услышит.

Закричал первый:

— А-а-а!.. Помоги-те!..

Высоколобый завозился в санях, напряг все силы, продохнул, с усильем слабым, неверным голосом простонал:

— Сюда-а! Помо-о-ги-и-те!

Шурка крикнул отчаянно, очень громко, захлебнувшись криком, как захлебываются плачем дети. Латыш вспомнил, вытащил револьвер, выстрелил вверх три раза подряд.

Вглядывались, прислушивались, мучимые надеждой. В беснованье зыбкой мглистой тьмы почудился Шурке отклик, чье-то живое спасительное приближенье. Он взволнованно попросил:

— Подождите!

Но сам не мог ждать, сейчас же снова закричал:

— Сюда-а!.. Э-эй!..

Слышали, ждали. Все то же взвыванье, гуденье, шипящее шуршанье снегов под налетами ветра и неживое жуткое колыханье студеного мрака. Вдруг ясно выделился унылый вой, непохожий на метельный. Он нарастал, креп, доносился все настойчивей и чаще. Высоколобый исступленно взвизгнул:

— Волки! Краузе, стреляй!..

Латыш выстрелил вверх три раза, потом завозился, отыскивая запасные пули. Долго заряжал плохо сгибающимися пальцами револьвер и хрипло, отрывисто бормотал проклятья, уже не по-русски, на своем родном языке. Стояли, топтались, кричали долго. Прислушивались, совещались. То один, то другой порывались идти на поиски дороги, но скоро возвращались обратно к саням. Шли часы. Им показалось, что ночь должна была быть уже на исходе.

Вой затихал, потом снова вздымался совсем близко. И высоколобый не знал, мерещится ли ему, или он действительно видит огненные точки волчьих глаз. И справа и слева, здесь и там — всюду в окружающей их жуткой темноте. Снова подступила к горлу дурнота, затомила страшная телесная тоска. И он отчаянно, неожиданно громко взмолился:

— Господи!.. Господи, помоги!!! Господи-и!..

Алибаев опять сильно завозился около него, закричал:

— Эй вы, дьяволы! Шурка-то никак упал? Растирайте его, тормошите. Да развяжите вы меня, собаки!

Степаненков наклонился над Шуркой, разметая по снегу полы тулупа. Позвал латыша:

— Краузе, надо его в кошеву... или в снег... Слышишь, давай снег разгребать. Всем нам надо в снег закопаться. Теплее.

Латыш рванулся к саням, остановился, плюнул и хлопнул себя рукой по лицу. Вспомнил, что захваченную в алибаевской

избе кочергу бросил на дворе, пристукнув Клару. Иззябшие пальцы плохо повиновались. Мерзлый снег трудно им поддавался. Они разгребли яму только для Шурки, чуть прикрыли снегом его одного. Высоколобый, уткнувшись головой в угол саней, стонал уже без слов, часто содрогаясь всем телом. Шурка совсем затих около кошевы на снегу. Алибаев невнятно и злобно бранился, перекатываясь в кошеве, С огромными усильями удалось латышу вздуть спичку. Степаненков, широко распахнув тулуп, защищал слабый огонек от ветра и мокроты. Латыш разглядел на часах время. Только девятый час вечера на исходе. Краузе решительно сказал:

— Искать надо дорога.

Попробовал выпрячь пристяжку, она жалобно замотала мордой, осела еще глубже в снег, точно у ней подогнулись ноги.

Алибаев скрипнул зубами:

— Ухайдакали коней! Жеребец застывает, а кобыленка совсем сквелилась. Эх, паршивцы! Из-за вашей дурости животная гибнет! Нет ли дерюжки какой в санях, прикрыть бы.

Латыш махнул устало рукой и пошел вправо от саней.

— Краузе, не ходи от подводы. Пропадешь, болван!

Латыш не отозвался на окрик Алибаева. Отважно шел, увязая в снегу по колена. Скоро его не стало слышно. Алибаев, окликнув его еще два раза, раздумчиво сообщил:

— За ветер зашел, пиши пропало. Нель-

зя непривычному в буран от подводы отдаляться.

Степаненков уже перестал дрожать от холода. Почувствовал, как все его тело словно затекло, налилось большой, трудно преоборимой усталостью, как огрузнели над его глазами веки и ослабели губы. Он испугался. Закричал, с усильем ворочая языком:

— Краузе-е! Наза-ад!

Будто подымаясь на крутую гору, зашагал он около подводы, превозмогая тяжесть своих плеч и ног. Временами принимался опять кричать все слабеющим голосом:

— Эй! Кто живо-ой!.. Помогите-е! Кра-а-у-зе-е!..

И в час тяжелого топтанья, беспомощных криков в неживое, во тьму, в бездушное злодейство стихии он впервые в жизни ясно и строго думал о нелепой неверности человеческого существованья. Не один раз смерть дышала прямо ему в лицо. Как все люди, он перенес тяжелые, опасные болезни. С мужеством, не для всех досягаемым, сражался в бою. В ревностной работе Чека он часто, видя гибель, безбоязненно приближался к ней. И ни разу его не поражала мысль о хрупкости его человечьего, уже никогда неповторимого века. Мысли эти не оформлялись в его мозгу в ясные слова. Он воспринял и понял их в одном животном ощущенье гнуснейшей своей жалкости перед концом. Раньше, ожидая смерти, он знал, что станет отбиваться до последнего вздоха. В болезни будет лечиться, от живого врага — защищаться силой или хитростью. И в этом непременном сознательном отпоре,

в достойной защите своего живого дыханья был самый большой смысл его человеческого бытия, уверенность в ценности его созидающего жизнь по своему устремленью мыслящего существа. Не только чувствующего, но и сознающего себя. Теперь он погибал вместе с жеребцом и пугливой молодой кобылой так же безответно и глупо — от случая, от стужи, от снега, погибал, как ничтожная букашка, которую давят, не жалея, не радуясь, просто не замечая. И от этой, не размышленьем, не мыслями, а чутьем учуянной конечной, одинаковой с букашкой своей жалкости он затрепетал, испугался. Кричал в тьму и вьюгу, звал помощь. Устал и снова встрепенулся от страха. Нельзя больше топтаться и ждать! Взбодрившись последним усильем воли, он, как Краузе, решительно пошел искать дорогу. Алибаев во всю силу своего голоса закричал ему вслед.

— Степаненков, пропадешь! Развяжи меня! Я, может, найду дорогу. Я здешний, у меня кыргызский нюх.

Степаненков приостановился. Прокричал в ответ громко, но уже беззлобно:

— Найдешь — так убежишь. Выручишь разве нас на свою погибель?

У него уже не было ненависти к Алибаеву. Смутно он ощущал даже его братскую близость от одинаковой их человечьей беспомощности перед лицом стихии.

— Развязывай! Кабы не захотел вам в руки даваться, так... Эх, дурак! Вон эти двое вовсе скорежились. Не медли. Мне парнишку жалко, а не нас с тобой.

Степаненков подошел, молча принялся

развязывать веревки. Закоченевшие руки не могли осилить узла.

— Да, чать, ножик у тебя есть в кармане? После, как я пойду, ты снегом шибче руки растирай.

Степаненков еще раз вяло воспротивился:

— Алибаев, пожалуй, я не пущу тебя. Пропадать — так вместе.

— Ну, зачем ты губами зря шлепаешь? Сам скоро взвоешь: иди поищи. Это тебе н< от людей отстреливаться, тут пулей н< пособишь. Ну? Тяни мою руку. Вот! Эх вы стервецы, тело примяли, веревками! Стой расправлюсь.

— Алибаев, пропадешь и ты. Куда ту] идти?

— Я с рожденья здешний, степовой, не учи. Я под ветер не пойду. Голос подавать стану, услышишь. Слушай хорошенько. Да не поддавайся! Двигайся, ворошись, не дремли. От подводы далеко гляди не уходи. Эх ты, коняги-то застывают тоже! Большой убыток вы мне наделали, стервецы. Кони хорошие, недешевые. Эхма!..

Он выпрыгнул из саней, широко и силь-* но размахнул руками, расправляя смятое неудобным лежаньем тело. Потом с сердитым неясным бормотаньем пошарил в санях и около саней нашел кнут, сильно стегнул обеих лошадей по очереди. Жеребец содрогнулся, дернул кошеву, проржал коротко и слабосильно, будто жалуясь. Пристяжная чуть взмотнула мордой и опять понурилась.

Алибаев сочувственно причмокнул, похлопал ее по спине, вздохнул.

— Двоих молоденьких загубили — Шурку и вороную мою кобыленку. Вряд ли отдышатся! А молодое губить — это только и есть один грех, никак не замолимый. Сволочи вы!

Он подобрал полы тулупа и, увязая, но привычно легко высвобождая крепкие кривые ноги, закружил около саней. Останавливался, вглядывался в крутящуюся мокрую темь, потом пошел в одном направленье, наискось от подводы. Скоро стал невидим, затонул во мгле, но часто доносились его короткие неразборчивые окрики. Казалось, он переругивался с бураном. Степаненков оживился новой надеждой, бодрей шагал около саней, останавливался, напряженно вслушивался, ловя алибаевский голос. Заворочался со стоном и приподнялся в санях отдышавшийся высоколобый, горестно позвал:

— Степаненков!

— Ну?

— По голосу слышно — он все удаляется. Не вернется он. Да это все равно... На что он нам *теперь?*

— А ну тебя к дьяволу! Молчи.

Вдруг далекий голос Алибаева прокричал сильней и ясней:

—...о-ро-ога!.. а-а-а!..

Степаненков всем телом рванулся на крик. Собрав все силы, крикнул: -л-

— А-а-а! Где же ты?

— Иду-у... ва-ам!..

—...либаев!.. суда-а!

— Иду-у!..

Голос Алибаева то звучал совсем близ-

ко, то ослабевал, отшибаемый вьюгой. Около саней он вынырнул совсем неожиданно.

— Кружил, кружил, пропер было далеко, а дорога-то оказалась чуть не под задом у нас. Вот теперь не знай, как коней выволокем. Эти двое-то тяжесть, а не помощники. Об Шурке я уж не говорю, а вот... Эй, господин, идти сможешь?

— Не знаю.

Высоколобый попробовал вылезти из кошевы, но вскрикнул, бессильно упал назад.

— Ноги... ноги больно! И руками держаться никак не могу...

— Э-эх ты, пес тебя задери! Тебя, чать, и выкинуть не грех. Ну, ладно, лежи покуда. Что ж, Степаненков, айда постараемся. Руками владеешь?

— Плохо, но все-таки могу.

— Ладно, плечом тогда подсобишь. Перепрячь надо. А вы, недопеки, над здешним народом начальствуете, а ничего не приметили, как в чем он вывертывается. Ужли и ты, Степаненков, не слыхал, что в снежную дорогу гусем пару запрягают, а? И подобрали как: жеребца с кобылой. Да она же еще молоденька, непривычна. Ну-ка, ну-ка, милая, но-о!.. Ожила? Эх, как трусится! Чего, чего? Стой, стой, глупая! Ну, ну, вышагивай! Стой, куда! Эх, дура, вырвалась! Из последней силенки прыгает по сугробам. Ну, чего ж! Догонять — измаешься! Да у нее все одно это последнее брыканье. Лягет в пути. Пропала, голубушка! Чего пнем стоишь? Айда помогай жеребца из снега вытаскивать. Стой! Тут я. Ты подымай кошеву плечом. Этот постарей, поумней, ну да

и посильней. Ну, голубь, ну, коняга! Но-о! Хоп! Еще... Ну-у. Но, но, но!.. Ну... еще... еще... М-м-м-ых! Ну, вот вылезли. Передохни, Степаненков. Что — скрючился и ты, друг? Ничего, живу быть, так расправишься. Айда, рюхайся в кошеву, отлежись. Теперь уж с дороги жеребец не сойдет. Ишь, ишь, скотина, а понимает, что вызволились.

Лошадь тяжело вздымала боками, но, учуяв дорогу, дергала вперед, рвалась в бег.

— Стой, стой... Сейчас. Еще Краузе пошуметь надо. Может, где поблизости мается. О-о-о! Кра-у-зе-е! То-ва-рищ! Доро-ога! Сю-да-а! Това-а-рищ!..

На братский свой зов Алибаев отклика не дождался, хоть и немалое время взывал.

— Говорил дураку — не ходи. Ехал бы теперь с нами живой, радовался бы. Эх ты, дельный мужик пропал. Лучше бы вот этого барина заместо Краузе в степи оставить. Ну, да чего уж... Едем. Доберемся, верховых из села на розыски вышлем. Айда! Но-о!

Высоколобый из кошевы громко возмолился:

— Скорей!.. Погоняй, дядя, плохо мне.

Алибаев повернул голову.

— То-то, человече, еще «тятей» назовешь. В беде бывает мирной человек хуже, чем опасный. Мирной сробеет, а опасный захочет, дак вызволит. Но-о! Двига-ай!

Ехали длинным долом. Здесь поземка взметывалась слабей. Только густо сеяло снегом беспросветное небо. Сугроб на дороге был мягче, полозья глубоко входили в него. Лошади тяжело везти, но она бежала во

всю силу, отфыркиваясь и похрапывая. Буря в узком долу завывала, как в трубе. Просекала, рвала слова. Степаненков не мог понять, о чем кричит Алибаев, по долетавшим бессмысленным обрывкам. Он и не вслушивался. После всего испытанного в сумбурный этот день и ужасную ночь теперь налегло на него тяжелое спокойствие, приглушившее сердце и мозг. Он силился думать не о том, что ожидает их на неведомой стоянке, куда везет Алибаев, а о том, что все же доверяться ему нельзя, он — враг, но ни злобы, ни настороженности в душе эти ленивые, дремотные мысли уже не возбуждали. Хотелось только тепла и сна. Скорей бы в жилье, согреться, расправить затекшее, издрогнувшее тело. Вдруг требовательно вошел в уши странный гулкий звук, напомнивший что-то хорошо знакомое, связываемое всегда с зовом, с кличем. Что это такое? Степаненков взбодрился, выпрямился, пригнулся вперед, насторожив слух. Алибаев оглянулся, наклонился к нему с козел.

— Слышишь? К селу подъезжаем. Звонят для заплутавших. Это, пожалуй что, Сусловка. Большое село. Тут даже милиционер вам на подмогу есть. Ну, барин, вот теперь помолись, поблагодарствуй за спасенье от нечаянной смерти. На звон выехали, теперь не пропадем. Все-таки, видать, твой бог расплющил глаз-то, когда давеча ты вопил к нему.

Высоколобый ответил смущенным, но уже окрепшим голосом:

— В бреду, вероятно, я, в беспамятстве был.

— То-то — в беспамятстве. Ладно, мы со Степаненковым за вас за всех старались, память не теряли. Ну вот, вам вперед наука: какая ни есть спешка, дуром ночью в буран в степь не суйтесь. Все одно — дело не выйдет.

Алибаев говорил строго, как набольший, подчеркивая, что теперь они у него в руках. Но замученные, иззябшие люди этим не возмущались. Степаненков очень неохотно и ненастойчиво все-таки попробовал дать ему отпор:

— За нас, Алибаев, ответ с тебя все равно...

— Не трепли, друг, языком. Аль башку поморозил, плохо смекает? Убежать-то я мог, а не убежал. И в Каин-Кабаке я сам в руки дался, смекни хорошенько. Выпустить вас позабыл, Марья ко мне пришла. Я только похорохориться перед вами хотел. Ну об этом разговор в городе будет. Шурка-то еще дышит?

— Сейчас шевелился, стонал.

— Стонет, это хорошо. Тело, значит, свое чувствует. Может, отдышится. Ну-ка, гнедой, шевелись! Еще маленечко. Н-но!..

### III

В чистой горнице все на городской фасон. На окнах вверху надвески в три зубца из жесткого кружева. Цветы порасставлены на особых табуретках. Тоже не деревенские — не герань, не столетник, а клен, фикус и уродливые кактусы. У стен венские

стулья, диван деревянный, крашеный. Стол перед ним, отступя, посередине горницы, покрыт зеленой клеенкой с желтыми изображеньями Кутузова в середке и других генералов Отечественной войны в коричневых кружочках по углам. Висячая лампа под потолком велика, на керосин жадна, невыгодна. И горка с разнокалиберной посудой за стеклами, и неширокая железная кровать под байковым одеялом, и цветные бумажные обои на стенах — все будто не обжитое, не для себя, а напоказ, по праздничному случаю устроенное. Но за обоями, в пазах и щелях — многочисленное клопиное племя. Всю длинную здешнюю зиму горница не проветривается. Дух в ней стоит исконный, густой. Из неплотной створчатой двери идет смешанный запах овчин, квашеной капусты, кизячной топки и застарелого, въевшегося в одежды человечьего пота. Передний угол с протемневшими иконами и только с одним моложавым образком, беленая кирпичная голландка с открытым прокоптелым жерлом без затворки, за голландкой — дощатая настилка для лежанья, с кошмой и бараньими тулупами в головах. Это настоящее — то, с чем живут.

Савелий Максимович, хозяин, хоть и хмурился, когда нежданные наезжие люди внесли в парадную горницу суматоху, сор, раскидали по полу сапоги и тулупы, сидел в ней теперь как-то охотливей, вольготней, чем всегда. Был он прижимист и негостеприимен Достатком своим, уцелевшим после всех потрясений, без надобности хвастаться не любил. Еще спозаранку, убоявшись бура-

на, завернули к нему с дороги на базар двое старых его знакомцев. Один из них, Леонтий Кудашев, человек в нынешнее время сильный — председатель Совета здешней волости. Другой тоже очень полезный — прославленный в округе пимокат. Для них Савелий Максимович распорядился согреть самовар, но угощал их все же вместе с собой в жилой, семейной половине.

В ночи нанесло Алибаева с обмороженными. Косоглазый распорядился в дальней горнице их на отдых устроить. Савелий проживал не в алибаевской волости, но знал его силу во всей округе и опасался. Алибаев как-то грозился и в чужих волостях переворошить «амбарушки». Савелий этих угроз опасался, при встречах старался задобрить Григория и теперь подчинялся его распоряженьям. Возились с его спутниками долго. Всей семьей растирали, согревали, отпаивали самогоном и чаем. Шурка и высоколобый лежали на двух перинах на полу. Высоколобый крепко спал, а Шурка затихал лишь временами, ненадолго. Сильные боли в теле нагнетали на него бредовые жуткие виденья. От физической маеты и от страха он стонал и метался. Степаненков, с лоснящимися от гусиного сала лицом и руками, вытянулся на диване у стола. Он часто открывал глаза, но взгляд его был блаженно-туп. Он не слышал ничего, кроме своего сладостно отдыхающего тела. Алибаев уже успел отлежаться. Он взбулгачил не только Савелия Максимовича, а всю его семью. Посылал его сыновей во многие дворы и добился, что снарядили верховых ис-

кать в степи заплутавшегося Краузе. Теперь, голый до пояса, сидел на полу, поджав под себя крест-накрест ноги, топил соломой голландку. От ярких вспыхиваний неподвижное лицо его казалось позолоченным тусклой позолотой, как у идола.

Буран все не затихал. От налетов ветра гудели порой стены. В замерзшие окна швырком ударялся снег. Час был уже поздний, полночный, а в горнице и в другой половине избы еще не спали взбудораженные люди. Пимокат сидел на припечке, свесив ноги, а Леонтий Кудашев — рядом с Алибаевым на полу перед голландкой. Он, лукаво усмехнувшись, обратился к хозяину:

— Что вздыхаешь, Савелий Максимович? Гостей считаешь? Подвезло тебе сегодня.

Савелий знал, что Алибаев с нестоящим городским народом не станет валандаться. Знакомство в городу ведет только с начальниками. Поэтому ответил сдержанно, но достаточно приветливо:

— Гости на гости — хозяину радости. А кто это с тобой, Григорий Петрович, вместе в беду-то попал? Чем в городу занимаются?

Алибаев усмехнулся:

— На ночь не стоит сказывать. Завтра весь их чин обозначится.

Савелий насторожился.

— О-о? Вона что!

— Да ты сиди спокойно, не ерзай. Тебя это не касаемо.

Кудашев весело засмеялся.

— Этот, на диване-то, знакомец мой. Мы с ним пространно беседовали. Только он

в нездоровье сейчас, потому и не признал меня.

— Где же это ты с ним обзнакомился?

— А когда в чеке шестнадцать суток сидел.

Кудашев легко поднялся, пошел за кисетом к столу. Был он сухощав и легок на ходу, очень моложав для своих тридцати лет. Алибаеву понравилось его чистое, выбритое лицо и светлый взгляд, оттого он живо заинтересовался.

— Я про тебя что-то мало слыхал, а то всю округу знаю. За что же это ты втепался?

Дверь приоткрылась, и в горницу вошла высокая русая девушка. Она сильно покраснела, встретив взгляд отца.

— Я за тулупом, папаня. Одеваться нам.

Алибаев приметил, что необычно для буднего дня она старательно приодета, причесана с гребенками в закрученных волосах и, отвечая отцу, быстро метнула взгляд на Кудашева. Он оглядел их обоих засветившимся взглядом, когда Леонтий торопливо проговорил:

— А вы посидите с нами, Анна Савельевна. Все равно скоро верховые приедут, разбудят. Мы вот тут беседуем...

Савелий неласково перебил:

— Спать ей пора. Чего она к нашей мужиковской беседе пристанет. Иди спать, чего болтаешься? Завтра не добудишься.

Девушка покраснела еще сильней, вытащила с припечки из-за спины пимоката тулуп и ушла.

Кудашев поглядел ей вслед, кашлянул,

закурил вертушку, стесненно, нарочито небрежно вымолвил:

— Вы, Савелий Максимович, по старинке дочерей ведете. В городах, особенно в нынешнее время, они не только в разговоре — ив делах участвуют, так сказать, во всем рука об руку с мужчинами. Отчего же с нами и не побеседовать бы Анне Савельевне в нашей беседе?

Савелий, отведя глаза в сторону, строго сказал:

— Девка беседовать может только с матерью да с подружками. Замуж отдадим, тогда с мужиком побеседует. Теперь не дозволяю и на улицу играть, и на свадьбы гулять не пускаю. Шибко озорной народ нынешний.

Кудашев вспомнил, что Савелий, по рассказам, сам смолоду через край озоровал. И в здешние края попал по уголовному делу. Срок отбыл, общество его не приняло обратно на родину, Оттого и осел здесь, женился, добро нажил, теперь славится своей степенностью и строгой повадкой. Хотел было Ле* онтий намеком уколоть, отомстить за свое неприятное ему смущенье, но сдержался. Насупившись, зашагал по горнице. Алибаев с большим душевным интересом следил за ним. Но когда Кудашев оглянулся на него, он отвернулся и равнодушно сказал:

— За что же тебя шестнадцать ден в чеке держали?

Савелий Максимович отрывисто засмеялся. Точно глухо пролаял. Но проговорил без улыбки, неодобрительно:

— Начальник на начальника наскочил.

Ну, вы беседуйте, а я пока пойду посплю. Чать, к свету, не раньше верховые вернутся. Ишь ты, гудет как! Свету, чать, не видать. Разбудишь меня, Григорий Петрович, коль спонадоблюсь.

— Ладно.

— Да вы бы тоже ложились. Чего...

— Керосин жалко? Если из городу вызволюсь, пришлю тебе из своего запасу.

Савелий приостановился.

— А ты как же в город-то?.. Не по своей разве воле? Опять везут?

— Иди, иди, спи, обо мне не печалься.

— Да об тебе чего печалиться! Ты заговоренный. Смерть-то тебя, не знаю, какая забрать может, не то что начальство.

И он, тяжело ступая, вышел. Стены ныли, гудели от ветра. Сухо ударялся швырками снег в стекла. Раза два громко вскрикнул и забормотал Шурка.

Алибаев подбросил в печку новую охапку соломы.

В горнице стало жарко, светло. Оттого что за стеклом бесновалась метель, казались жар и свет троим неспящим особенно дороги. Они расположились рядком. Пимокат лежал на животе, покашливал, почти не вступался в разговор. Большими печальными глазами глядел на огонь. Лицо его, уже сморщенное, с седоватой реденькой бородкой, сделалось наивным и теплым. Обычно он мешал всякой беседе желчными придирками, недобрым смешком, назойливым приставаньем, похожим на немощную злость хилой беззубой собачонки. Кудашев на него взглядывал не раз с ласковым удивленьем. Все трое, слу-

-1ино столкнувшиеся у одного огня, под застою одной кровли, надежно укрывшей - от лютого вражьего дыханья стихии, об:ели редкую радость душевного большого --ижения друг с другом. Каждый ощущал :оошую человечью заинтересованность раз:вором, мыслями, судьбой другого. Куда_ев неторопливо рассказал о своем аресте.

— ...Явился, значит, этот хлыщ к нам, ^реквизировал во всех дворах тулупы и по•ушубки. Я гляжу дело-то плохо, насе-енье волнуется. Взял да у себя в волости т-гэ заарестовал, полушубки назад роздал. Незаконно он действовал, после все выяснитесь. Да если бы еще обидел вот Савелия— дело десятое, а то обобрал и правых и виноватых. И для себя лично, главное, много нахрапом приобрел. Ну, а у него мандат,— =• волости-то испугались. Значит, его освободили, прямо, можно сказать, отбили, а на меня — донос. На их донесенье из города приказ меня с помощниками моими арестовать. Даже подводы не дали, пехом в город пригнали. Отсидел я, значит, в чеке-в общем номере шестнадцать суток, пока дело разобралось. А потом — как в кадрели — он туда, а я сюда, на свое место.

— Что же, не обиделся ты? Не взбунтозался?

— Обиделся было, да одумался. Дурость и лиходейство, товарищ Алибаев, как дурная трава, меж хорошим из земли прут. Плохо, чего скажешь? Нехорошо. Я, как из Франции из плена бежал, сильно к большевикам стремился. Думал тогда, что у нас все хорошо, зее без задоринки, а увидал много плохого.

Ну, все-таки не забуду, как я к ним через страсть бежал. Добег — не уйду. Я вам так объясню: вроде как через те трудности кровная моя семья стали большевики. В другом месте я чужак, а здесь все свое. Где и засмердит, да ведь своя болячка, не отплюнешься, лечить станешь.

Он подробно рассказал, как бежал, три раза был возвращаем назад на тяжкие штрафные работы, наконец все же пробрался через Швейцарию в Россию. Перед его глазами вставали картины чужеземной жизни, теснились воспоминания о событиях, разговорах, городах, горах, морях, пережитом отчаянье и ликованье. Полоненный ими, говорил затрудненно, теряя нить, но с огромной сердечной горячностью. Потом пимокат медлительно и печально размышлял вслух:

— Трудящему, если он не пьяница и не ленив, жить всегда можно, даже при нынешней скудости. Одно беда: доктора хорошие почти все с буржуями убежали. Как я захворал, не умеют помочь. Сколько добра в городе пролечил, а все перхотка грудь сушит. Ничего мне не мило. Я и не разбираю, плохи ли, хороши ли нонешние правители, вот ученых у них мало — это плохо, доктора нестоющие... До войны у нас один Киргизии своей киргизской молитвой хорошо грудной боли помогал... А что, Григорий Петрович, ты ведь киргизского рожденья и теперь водишься с ними. Дознайся, пожалуйста, куда сгинул этот знахарь, хромой Шишингара. Я и за сто верст к нему доеду!

Кудашев перебил:

— Правда, значит, вы из киргиз? Лицо ваше действительно выдает вас.

— Что рожей, что кожей в папаню мать меня выродила. Мое рожденье очень даже занятное.

Алибаев взглянул на Кудашева невидящим, зачарованным далеким виденьем взглядом.

— Нонешнюю зиму часто сны мне на зспоминку снятся. То самого себя мальчонком вижу, то привидятся мать с отцом, коих и не видывал, какие из себя были. Родительницу-то видал, да глаза у меня тогда еще были молочные, незрячие. Всякое, все из дальнего, как у старика, на ум во сне находит. По примете у нестарого человека это к смерти бывает. Во сне душа прощается, печалуется, глядит, где ходил, чего видал, слыхал человек. Эта девчоночка русявая тоже расквелила, кой-чего напомнила. Страдашенька твоя, кажись, Кудашев? Ну, ну, хоть отец буржуй, отца и по шеям можно. У меня вот такая же была... Похожая. Да. Вьюшку-то засунь, Кудашев, прогорело, а то выстынет. Рожденье мое удивительное, с другими несходное.

Уставившись неподвижным взглядом в затухшее успокоенное жерло голландки, он рассказывал неспешно, по-крестьянски строго, постепенно, по годам, от начала, будто раздумчиво проходил по старой меже.

— ...Девушка православная, значит, она была, а в голодный год кыргызин ее накормил и всю семью ее вызволил. Она с тем кыргызином и слюбилась. Увез он ее к себе в кочевку. Детей народили. Ну, а в Александровке-то в'это время главный миссионер

проживал, чтоб окрестных кыргыз в правильную веру приводить. Настойчивый, достойный был человек, в своем деле ретивый. Много кыргыз покрестил. Ну, к слову, после голодного году, как скот перевелся, они надолго затощали. Охотой множество в православную веру обращались. Для новокрещенцев начальство новый поселок устроило, избу каждому давали, лошадь, корову и хлеба на первый запас. Сам губернатор с иконками их благословлять один раз наезжал. Плохо ли? Гуртом крестились, семьями, а в избах маханину жрали, по-кыргызски разговаривали и Магомета и Николая-угодника равно почитали.

Чать, и посейчас так живут, не обрусели, коли не разбежались. И тогда, летами, на траву, в кибитки, много убегало. Ну, а поп этот, миссионер старший, видит — много кыргызья крестится, еще ретивей стал. Как же, мол, так: тут неверные стадом к православному богу валят, а тут вон какой случай! Мать моя, женщина правильной веры, с кыргызом сошлась, детей народила от него, их не крестит и сама от своего бога отшиблась. Сейчас, значит, мать под стражей — к попу.

В страду с поля взяли. После голоду кое-кто из кыргыз сеять зачал, русские бок о бок — обучили. И родитель мой, нехристь, тоже. Может, мать его, по крестьянской своей навычке, на хлебопашество натолкнула. Приволокли ее к миссионеру на кухню. По обряде кыргызка, но по-русски чисто говорит. Ребятишки чистокровные кыргызята, прямо неподложные. Девчонка старшенькая

еще кой-как слов с пяток русских прохныкала, а мальчишка-пятилеток одно — горлом по-кыргызски булькает. Одежу на их расстегнули, глядят — крестов нет на шее. Все это, что рассказываю, после от людей слыхал. Сам не видал, мной мать на сносях была. И те, старшенькие, сестренка с братишком — люди после сказывали мне — тоже были, как я, в отца, чернущие, кривоногие. Орут, лопочут, трясутся. Мать на полу на коленках елозит, ноги поповы ловит, слезами половик заливает, приподымется, крест на своей шее за гайтан дергает, показызает— не сменила, мол, веры, по-православному молюсь, за грех с иноверцем сама отмолюсь, перед богом буду маяться и каяться, не карайте по людскому закону. Через слезы кричит: «Хучь кыргыз, хучь поганый, для православного с собакой вровень, а мне дорогой! Смилуйтесь! Отец моим детям, а мне и без божьего благословенья муж. Не разлучайте! С грехом он меня не неволил, сама согласье показала. От смерти он меня вызволил. В Киев, з Ерусалим пешком на богомолье схожу, не отымайте у его детей, он к детям приверженный».

Поп головой мотает, перстом на икону кажет. «Нельзя! Сама в грехе смердишь и детей от бога уволокла. Бог не дозволяет, царь не велит».

Закон тогда такой был: из православья дозволялось переходить только в немецкую веру, ну, они тож Христа признают, а если к Магомету или в жидовскую — нельзя. За это в тюрьму. Разъясняет ей поп этот закон, заморился сам, аж губы побелели. Когда у

бабы мужика желанного отбирают, ее законом вразумить так же трудно, как волчицу взнуздать. Кланялась, плакала, молила попа, да вдруг подтянула живот и, как кошка, прыжком на него, взвизгнула да в космы ему вцепилась. Народ на кухне толпился. Кинулись пастырю на подмогу. Что ж ты думаешь, как озверела баба! В тягости, а немало повозились с ней, пока скрутили. Заперли ее в поповой бане, во дворе. Вдруг стражник бежит: «Так и так, ваше благословенье, я к этому делу несподручный, что теперь делать? Баба родит, очень мучается».

Поп рукой отмахивается, слушать про женское безобразие не может, а попадья сжалилась. Послала стряпку за старушонкой повитухой. Та пришла, помолилась перед иконой, посомневалась, но все-таки сдалась. «В грех ли, во спасенье ли выйдет, говорит, а потружусь около поганого брюха. Куда же бабе деваться, коль час пришел? Чать, бог меня за это не завинит».

Эта бабка, повивалка моя, долго жила. Как я большеньким стал, она часто мне говорила: «Под веселым боговым глазом мать тебя зачала, не доглядел, что от нехрещеного, в сорочке сын родился. Будет, значит, тебе сладость в жизни, терпи, дожидай, обязательно будет. В сорочке на счастье рождаются». •*

Ну, сорочка-то мне не сильно на подмогу. Мало меду хлебнул. Мать меня хоть и у православных, но чужаком кинула. Над горькими ее родами попадья шибко разжалобилась. Умолила попа, привели к ней в баню братишку с сестренкой моих. А может, баз-

-али через край, допекли всех в дому. Только г стражу от бани сняли. Осталась на ночь :дна мать с детьми. Бабка тоже-не-поохотилась в бане ночевать. Ушла домой и меня : собой унесла, чтоб не придавила родильни_а в метаньях. Она, и разрешившись, не :покоилась. Все стонала, на банном полку : боку на бок перекидывалась. Да середь -:чи, видно, опамятовалась и убегла вместе : детьми. После дознались: родитель мой, о*-ргыз, чисто кулик, потеряв птенцов, без • va по селу на коне кружил. Может, ветредись, вместе убегли — не знаю. Посланные -а другой день от кибитки отцовой ничего не нашли, только угли от старого костра. Глух был, что отец в другую степь укочевал, а мать будто тут же после побега вскорости кончилась,— не знаю. Я вырос мирским дитем, молоко грудное и то не от одной женщины принимал. По очереди кормили меня грудью жалостливые бабы, которые кыргызским моим обличьем не требовали. Греха не боялись, в церкви меня по-православному крестили. Даже к благородным в родню из купели попал: становой пристав крестным был, а матерью крестной сама попадья. Эй, други, не задремали? Дальше сказывать? Л\огу г— разохотился.

Дивно самому: чисто со стороны, как другой человек жил, поглядываю. Ну, значит, при крещенье назвали меня Григорьем, по крестному величанье записали Петрович, а чтобы помнил грех рожденья своего, кыргызскую фамилию дали от родителя. Звался тот кыргызин Алибайкой. Я от цего по свету гуляю — Григорий Алибаев. В зыб-

ке качался я у бабки-повитухи в избе, на ноги твердо встал, разуметь все вокруг зачал, то есть лет пяти эдак от рожденья, к попу на кухню жить перешел. К гостям в праздники и на именины меня выводили показывать. Миссионер рассказывал, как господь чудесно меня удержал в православии и не дал матери с собой унести. Купчиха Тимонина слезы платочком вытирала, давала мне конфетку и по головке гладила. Спал я на плите, оттого что кухня была холодная, а плиту топили часто. Поп лапшу с бараниной с варку любил. Жилось мне хорошо, сытно. Но только крестный становой на меня позарился, выпросил у попа себе. Стал я спать у стряпки станового на кровати. Она меня на сон часто ругала поганцем, потом наваливалась на меня, и спалось мне опять тепло, хоть еда давалась паскудней поповой. Становиха была об хозяйстве рачительна, скуповата. И здесь на именины меня гостям казали. Только у попа я «Отче наш» читал, а здесь меня выучили петь «Ах, мороз, морозец» и плясать русскую. Один раз, на святках, сплясал, спел — и мировому судье приглянулся. Он меня у станового в карты выиграл. Раньше, сказывают, крепостных так-то выигрывали, ну, я не крепостной был, а еще хуже — ничей. Кто взял, тот и над душой, и над телом хозяин был. Вот и перешел я на десятом году возраста от станового к мировому. Шибко плакал, вспоминаю. С теплой стряпкой, чисто с матерью, жалко мне было расставаться. У мирового, если вспомнить по совести, тоже мне неплохо жилось, а сердце щемило. Сажал за еду он меня вместе с со-

'ой. Не семейный, скучал. А спал я у него -о-барски, на диване. Разговаривал он со **УНОЙ** мало, разглядит когда меня. Глаза у -:его все мутные такие были, чисто спросо- **-::.'К.** Пройдет мимо или даже прямо на меня тсядит, а не видит. Дак вот, когда разглядит, засмеется, ткнет двумя пальцами под с-ебро: «Живешь, магомет?»— «Живу»,— стзечаю. И весь разговор. А больше мне и телать у него нечего. Заскучал я. Все-таки - бы жил у него, не убегал, кабы не напугалт=. С неделю я у него прожил, как он меня зовет к ему в спальную. Вхожу — он в подштанниках, собирается спать укладаться. Гзворит со мной, об чем — сейчас и не помню, говорит, а сам перед зеркалом сидит. Я гляжу за его спиною в зеркало и вижу: зубы вынул, в стакан поклал. Потом все волосы с головы правой рукой снял. У меня сердце взвилось, сроду этакого дела не знавал, чтоб зубы вынуть и волосы снять можно было! А он тоже в зеркало-то увидал, что у меня морду от страха-то перекосило, взял та нарочно, чтоб еще больше напугать, схватил себя за обе щеки да голову обеими туками тихонько двигает. Я думал — он и голову отвинтить может. Заорал благим зезом — да из спальни, из дому дирака. Так напугался, что и темень не в страх! За село убежал и не вернулся туда больше. Наутро к нищему странничку пристал. Разговорчизый попался, от испуга меня разговорил. С ним уплелся верст за тридцать. Только скоро ходить и канючить милостыньку надоело. Взял да в селе Скоробогатовском отстал от старика. Ну, под крышу к кому-нибудь

приютиться надо. Хоть летнее время, а чем же пропитаться мальчишке? Кружил, кружил по селу, дело к вечеру. Идет мужик по дороге. Поглядел на меня да засмеялся: «Откуда, говорит, ты, косоглазый?» Я молчу, а сам за ним чисто собачонка присталая плетусь. Шел, шел я за ним да заплакал. Кишки от голоду щемило. Он не отругнулся, пожалел. «Ладно, говорит, иди за мной, накормлю». Я за этим хозяином своей волей пошел и уходить из его дому наутро не схотел. Баба его поленом меня выгоняла. Ушел да опять на двор вернулся, под крыльцом у них переспал. Утром ребятишкам своим велела согнать меня со двора. Побили, поцарапали — убег, а к ночи опять к ним. Ругалась, плевалась баба, била меня, а потом — ничего, привыкла. Заставила воду в баню больничную носить. Этот хозяин-то мой при волостной больнице сторожем служил. Больница не по-городскому, знамо, устроена, попроще. А в баню на задах сторожиха пускала париться мужиков, которы от дурной хвори лечились, по-нынешнему называют — венерических больных. Сторож требовал их парить, а я парил, спину вехоткой смывал, мазями мазал. Они мне за это по пятаку с тела платили. Доход сторожиха получала. Ну, ничего, годов пять, не меньше, я у них прожил, и потом с чего-то тоска меня взяла. Обмываю язвенных, а самому плакать и блевать охота. Закручинился чисто большой. Да уж шестнадцатый год, из отроков в парни одна ступенька, понимать научился. Обижаться на свою долю стал. От обиды поп и становой с мировым издаля

годней показались. Задумал я опять назад к -:>:м. Затосковал, закручился, дальше — г-глыше, невтерпеж. Тянет меня в Александ-г: зку. Как-никак — родина! Ну, что же, -:бег на место рожденья. Побирался, тем - кормился дорогой. Народ тогда порототтистей, помилостивей был. Везде подавали. Ну. пришел — здравствуйте. А с кем здороваться? Мирового паралич разбил, попу поЕчтенье сделали, в большой город переб-ился, становой цел, на том же месте, я к -:-гму и объявился. Он ничего — засмеялся, тизнал. Говорит: «Ты как же без докумен--:з. бродяга, шатаешься?» Я оробел, гово-го. «Мне документ не надо, я у вас желаю ггоживать...» Он смеется: «Ишь ты, ласковей какой! На что ты мне нужен?»

Документ мне выправил, а у себя держать долго не схотел. «Дочери, говорит, у меня в возраст входят, а с тобой играют, на россказни на твои уши развешивают, все в кухне трутся. Ты кыргызское отродье, кровь в тебе разум перешибает, и попадет одна из дзух какая в беду с тобой». Вроде этого высказал. Умный был, доглядчивый. Распаляться-то на баб я, правда, рано зачал.

Ну, Тимонину, Ивану Филипповичу, торговцу, меня скачал в лавку в подручные. Чтоб сласти не таскал, в первый же день хозяин до хвори пряниками меня обкормил. И посейчас я пряники не уважаю — так объелся тогда. Ну, на этом месте долго задержался. Хлопотно, да сытно. Одежей хорошей я тогда завлекся, справить ее порешил. У купца легче ее выслужить, чем у других хозяев. Жалованья мне не полагалось, но

за старанье матерьем на одежу к праздникам дарили. Об одеже старался, чтоб баб примануть. Обличье мое было для них неприятное. Думал — оденусь, которая-нибудь и поглядит поласковей. Стряпка с нижней кухни меня ублажала, ну, собой такая, что и я только зубы сожмя с ней грехом занимался. Лет за сорок, рябая, и на лбу шишка кровяная вроде кисты — бородавка, что ль, эдаким красным бугром разрослась. Я хоть и кривоногий, а телом крепкий, настоятельный. Опять же сердцем дурной тогда, ласковый был. Залюбилась мне шибко девушка одна, сестра почтового начальника. Из себя она тогда была крепенькая, белая, русоволосенькая такая. Сразу, как увидал, чисто родня мне сделалась. Вот волос-то у нее такой же был, как у этой Аннушки у твоей, Кудашев. Да. Все об ней пекусь, думаю, что бы для нее хорошее сделать. На почту — надо не надо — бегаю. Как гривенник какой лавочник в хорошем духе кинет мне, я сейчас марку покупать. А куды мне ее? К чему прилеплять? Ну, деньги не часто перепадали — за маркой на неделе два раза не побежишь. Помогло вот что: лавочник «Сельский вестник»— газету и «Родину»— журнал выписывал. Я в это время самоучкой читать мало-помалу научился. Потому заглавья помню. Ну, бегаю год, бегаю другой, девчонка-то подалась. И косоглазый, и кыргыз, а поглянулся ей, привыкла. У брата-то она заместо стряпки при его жене и нянькой при детях. Занятья не господская, с моим ровная. А брат узнал про наше согласие, обиделся. Все-таки по рожденью ему сестра.

. :учше в девках при семье в вековушках ^солить, чем за работника отдать. Пореши- у. с женой Фросю к тетке какой-то в другое :ело на время отослать. Почты начальник ^:»ему хозяину пожаловался. А у того после -разднику престольного от перепою дурь -.ъ головы еще не вышла. «Выкради девку, -: зорит, заплачу за венчанье, улажу. Я его -z люблю, брата Фросиного то есть. Невелик тсподин, а неуважительный, пусть от обиды ‾:корежится». Ну, так и сделалось, обвенчались тайком. Купец-то после очухался, сердился, чуть нас со двора не согнал, да ни- -его — обошелся. Сильно я для него в работе -силился. Оставил у себя деньги, на свадь- :у затраченные, отрабатывать, подарков всяких лишил. А Фросю в чистую кухню на подмогу для ихней стряпухи поставили. Спади мы с ней в холодной кладовушке на дво- :е и летом и зимой. Ничего, молодые, горячие, не застыли. Только через год дите ро- силось, хозяева велели Фроську с младенцем куда хочу, а из дому убрать. Ну, в ту пору как раз мой мед-то я и хлебал — все удавалось. Министерской школы заведующая, старая девка, а добрая, Фроську с дитем з сторожихи приняла. Впервой родня-то у меня на земле объявилась. Каждый час к им тянуло, а со двора хозяин раз в неделю на одну ночь отпускал. Горячий я, ослушивался,— выгнал он меня. Но через три дня назад воротил. Выгоден для него я был, только за пропитанье работал, а старался во все силы. Воротил и даже жалованья три с полтиной в месяц положил и к праздникам опять подарки.

Это я уж зауросил, плату запросил. Прожили так три года, еще девчонка у нас народилась. В солдаты меня забрили. М-да, солоно показалось! Что ж, угнали. Я убечь думал, Фроська остерегла: «Меня с детьми, говорит, загубишь, протерпи службы срок». Терпел, письма бабе своей такие отписывал, что учительница плевалась. Написала мне, что читать Афросинье письма мои не будет, если нежности всякие не перестану расписывать. Чисто, мол, не жене законной пишешь, а игральщице. Эдак другие солдаты не пишут. А я не с похоти, с тоски ласкался. Опять чужаком в ярме, много ли со своей семьей поутешался? Дальше-то все под гору, годами старше, а житье мое хужей. Войну объявили, домой-то со службы я не попал. В отпуск, как вышло, не пошел. Маленько поздно вышло-то. Письмо-то у меня в кармане уже поистерлось. В нем учительница отписывала, что Фроська от застуды померла. Кашлять она, еще когда у лавочника оба жили, почасту закашливала.

Оттого, дескать, и застуда до смерти вредная ей пришлась, на кашель-то. Чего же? Башку разбить хотел, думал — в мозгах повнежденье произойдет от огорченья. Ничего, отдышался. И об детях сердцем обмирал, а в отпуск не схотел идти. Без Афросиньи и дети только горе растравят, не могу без Афросиньи с ними быть, и они без нее не в радость. Учительница при себе их оставила. Другие старые девки к собакам, к птицам, к кошке за утешеньем, а эта к моим детям еще при Фроське сердцем прилепи-

лась. Пишет — не в забросе они. Да и пособье на них за меня шло. Дернул я себя за космы, стукнулся башкой об кулак, отказался от увольнения в отпуск. А после на фронт в действие попал.

Ну, об этом чего рассказывать? В каждой семье от сыновей знают. Меня не убили, обстоятельно даже не ранили, одно пустяковое было поранение. А все-таки я другой стал. После хвори так бывает. Не то повредился, не то через край выправился. Страх потерял. Себя не жалко, и ничего не боюсь. Без страху человеку вредно, невеселое сердце в человеке, когда ничего не боишься. Чего там было бояться? Смерть каждый день обок караулит. Случай намахнет—не открестишься, не отлютуешься. Трясись не трясись, никакого трясенья на года не хватит. Человека обидеть не жалко. Чего его жалеть? Может, он здесь останется, а ты завтра вытянешься без всякого шевеленья. Добро копить неохота, да и не заберешь с собой. Мы там грабили без острастки, а куда оно, награбленное? До дому не сохранишь, да чего домой унесешь? В брошенных усадьбах посуда там всякая, креслы, рояли — их не унесешь. Золотые побрякушки — это чинам повыше доставалось. Одежу? Куда ее наберешь? Узлы с собой в переходы не попрешь. Заразным девкам раздавать, ну их... Поглядишь, пораздумаешь, да там же на месте об пол трахнешь, разобьешь или подожгешь. Ничего не жалко и ничего не страшно. Как свободой нас поманули, я не от страху убежал с фронту, а скушно, от тоски сбег. Которые солдаты орут, радуются, а

мне скушно. Про ребят вспомнил. Подумал — может, около них, за ихние головы устрашаться чего начну. Сон у меня нехороший сделался. Ну, отосплюсь, думаю, в избе домашней, детей разгляжу и, может, тогда для себя чего-нибудь зажелаю. Детишки это... глазенки у них уже со смыслом. Ладно, щипануло за сердце. А все скушно, и сон все нехорош: ни ухо, ни голова не засыпают. Только что глаза заплющишь, а все одно денное все в мыслях явственно. Охота мне растревожиться, на сходки на свои хожу, в город на митинги, ораторов слушаю. Потом зачал я во все партии в политические записываться. Потолкался и в народной свободе, и в есерах, и в меньшевиках, после к большевикам пристал. В программы я не вникал, народ глядел, искал, какой по сердцу больше придется. С большевиками позадержался покрепче. С ними позанятней, пошумней. В Александрову вернулся, первым делом за Тимонину лавку. Потрясли мы с товарищами хозяина. Из добра из его я себе довольно нагреб,— а на кой? Дети еще невелики, корысть к добру всякому в них не упорная. Погалдят в новинку да и забудут. На кой вся та прибыль? Гомозился я все-таки с политикой, состоял во многих в председателях. Ну, не с весельем, а так, на время хорохорился. Ладно. И к детям я ни так, ни эдак. Отвыкли, что ль? Не льнут ко мне. За конфетки только ласкаются, пропаду — не заплачут. Эта старая девка-то, учительша, меня, чать, переживет. Еще крепкая. С ней свыклись. Чужая, а им вроде своей, ближе меня, родителя. Ну, чего

•кс? Незачем отец им. Я даже злобиться на
чих зачал, еще больше отпугнул. Колчак их
*о)* мной развязал. Как он воцарился, в Алтайскую губернию я подался. Там с партизанами стакнулся. Ладно, хлебанули всякого. Врага не жалели. На той войне, на царской, я вроде не ярился. Убил если кого, так не видя попал. А тут морда к морде. С прохладцем убивал, с выдумкой... Всякое бывало. Ну, меня там знают. В Иркутской губернии тоже. Ничего, в тое время ровно оживел, тревожился. Когда наша власть зерх повсеместно взяла, я, значит, опять в Александровку. А чего делать? Опять нету спроса на бесстрашье на мое. Дом хороший занял. Тимонина, лавочника-то, благодетеля моего. И его же младшую дочку за образованность и за веселый голос в гражданские жены к себе присогласил. А к детям з школу вроде как на свиданье только ходить стал. Не умею с ними обходиться, чего-то у меня неладно все выходит. С другими приятный часом все-таки бываю, а с ними все с натугой. Ну, ладно, житье привольное, с частой выпивкой, завидное, сытное. Люди со страхом предо мной, с почетом, значит, ко мне. Клавдия, жена гражданская, горяченькая, сладкая. Я на это дело спорый. Всякую бабу привечаю. И с Клавдей ничего, часом даже по-хорошему, добрый бываю. Только ненадолго. Баба ко мне все вяжется такая, что на часок один мне своя. После супруги моей Афросиньи Николавны, покойницы, ни одна не жена, так — только на срок утешницы. Ну, так чего же выходит? Ни к чему у меня жар-

кости нет. Со стороны посчитать — много за мной числится, а по-моему — ничего у меня нет. Заскучал я, запивать шибко стал. По месяцу, бывает, закручиваю. Ем мало, все пью, пью. Прошлый месяц из глотки печенку кровяную выблевал, перегорело от вина в нутре. Ну, пьяный шарашусь, нехорош, шибко бесстыж случаюсь, дак, чтоб дети мои меня в это время не видали, запой отбываю в Каин-Кабаке. Место самое подходящее. Народ тамошний глухой, ничем не удивишь и не разжалобишь. Слышьте, друзья, там на весь хутор только два человека веселых: гулящая солдатка Марья-песенница да дурачок один, сказки умеет сказывать. Ну, Каин-Кабак мне еще и для другого дела сгодился. Ладно. Никак на дворе тишает? Айдате-ка прогуляемся, поглядим. Все поснули, надо, чать, и нам укладаться.

Степаненков приподнялся с дивана на локтях, озираясь по избе проясневшим взглядом, спросил:

— Алибаев, ты куда?

— Чего, до ветру провожать будешь? Погоди, в городу еще напровожаешься. Вернусь, не бойся.

Метель стихла. Негусто сыпались нестрашные пухлявые последние снежинки. Проглянуло мутнеющее предрассветное небо.

Кудашев, поеживаясь от холода, спросил:

— А сейчас-то вы по какому делу арестованы?

— Погоди, коня погляжу. Иди в избу, вернусь, доскажу, коль дослушивать охотишься.

— Да я с вами пойду... Помогу.

Когда, потушив свет, они трое улеглись на кошме, на полу, Алибаев досказал:

— Как-то вечерком поздненько заходит ко мне церковного старосты сын, приятель по выпивке. Мямлил что-то, тянул-тянул, все на меня взглядывал. Потом и говорит: с Гриша, нет ли у тебя бомбы?» — «Есть, отвечаю, а тебе зачем?» — «Надо»,— сказывает. Подпоил я его, он выболтал все. Плачет по-бабьи, жалится, открывается мне: в заговоре против Советской власти запутался. Теперь охота на попятный, да боится. «Одного,— канючит он мне через слезы,— отразили, как тот помогать отказался. Ветеринар, говорит, у них один в компании, яды достает. Обязательно отравят». А эдакому дураку винтовки и бомбы доставать поручили. Ну, думаю, заговорщики, а все-таки ззбодрился. Мое дело такое, в драке вольготней я дышу, втянулся в драку. Дальше — больше, согласился я, стал на потаенные свиданья в разных уездах являться. Крестьянское восстанье они подымать задумали и по Сибири много насбирали в разных уездах согласников. И в Барабинском, в Омском, в Новониколаевском и Петропавловском в уездах. В которых селах по двадцати наших, а в которых пять, четыре и по одному было, всего довольно понасбиралось. Задумали с казаками сибирскими сосвататься. Главарей у нас двое было, оба с небольшим образованьем. Один бывший прапорщик, другой — служащий кооперативный. Так, невеликое место занимал,—

с мелкой закупкой по деревням ездил. Оба в разных городах под чужими фамильями проживали. С одним и баба его, девица из высокоблагородных, вместе действовала. Это все уж дознато, я при чекистах и рассказываю. Хоть и храпят уж, а может, который услышит. Ну, ладно. Идет дело. Печать своя: посередке череп и кости, а по краям надпись: «Смерть изменникам». И знамя у ветеринара готовое хранилось — желтого цвета, черной бахромой обшитое. Когда к своему в дом мы входили, крестились на икону широким крестом и говорили: «Мир дому сему». А он должен ответить: «Смерть изменникам». Пароль вроде. Ладно. Народу понасбирали. Собрали отдельный особо независимый добровольческий отряд атамана Нехорошева. Надо было программу, идеология это называется, придумать. А бес ее выдумает, идеологию-то,— это не наше дело. Думали Сибирь отдельным государством объявить, а чего потом — не знаем. Царя сибирского поставить охотников не высказывалось. Отвыкли уж от царя, кто и думал — сказать поопасался. Какое правленье — ни черта не знаем. Стали искать знающих людей. Нехорошее было есеров искал, ну, дельных не нашел. Один подложный с нами позапутлялся. Вроде меня, во всех партиях перебывал. Ну, и чего же — гомозились-гомозились, а дела настоящего не выходит. Одна подготовка, а к чему — не знай. Мне надоело на образа креститься да «мир дому сему» буркать. Это не моя занятья. Отшибло меня, отравы я не боюсь. Перестал являться, куда указывали. На дело, говорю, зови-

те, голый разговор надоел. Ну, они и сами заторопились. Назначили день — двадцатого июня в прошлом году. А мужики-то, согласники из деревень, подвели, на сбор не явились. Я не ездил, раньше вызнал, что дело рассохлось. Коноводы диранули в Ташкент. Чека их все-таки выискала. Один по одному имали, вот и до меня добрались, везут. Я их давно поджидал.

Он услышал около себя ровное сонное дыханье Кудашева. Ласково усмехнулся в темноте. С большим интересом слушал, а уснул, не дождался конца. Молодой, здоровый, тело долит!

Пимокат заворошился, спросил:

— Почему же ты не убег?

— Заарестоваться порешил. Много видал, всякого хлебова хлебнул, а в тюрьме еще не сиживал. Посижу.

— Да, оно, чать, не шибко сладко з тюрьме-то. А то гляди и к стенке припаяют.

— Оно, друг, мне, сладкое-то, не дается. А в тюрьме-то, может, мне, как иному монаху в монастыре, и поглянется. В какой-нибудь монастырь прятаться мне надо. Сын подрастает, сердится, жизнь ему моя не кажется. А прикончат — жалеть некому. Ну, айда спать.

День встал сероватый и кроткий, будто пристыженный буйством вчерашнего. Пухлые свежие сугробы без солнца лежали мирно и бело. Верховые вернулись только к полудню. Ночевали в башкирский деревне. Они привезли закоченевший труп латыша. У Степаненкова сильно болели лицо и руки,

но он встал раньше Алибаева и послал мальчишку хозяйского за волостным милиционером. Тот скоро пришел на зов и остался ждать в Савельевой хате.

Когда привезли тело Краузе, Степаненков позвал милиционера в горницу. Потом сухо и коротко, глядя поверх его головы, приказал Алибаеву:

— Собирайся.

Алибаев пристально посмотрел ему в лицо, усмехнулся и сказал:

— Слушаюсь. Теперь довезешь, не заплутаемся?

Отводя глаза, Степаненков оборвал:

— Не канитель, одевайся скорее!

Савелий во дворе запрягал для них пару своих лошадей. Увидев Алибаева, погрозил ему кулаком:

— Сволочь! Привез. Ладно, когда-нибудь, может, и с тобой посчитаемся.

Алибаев покачал головой. Сказал, ни к кому не обращаясь:

— Вот теперь уже я верю, что заарестован. Все без опаски надо мною начальствуют. А приветить на прощанье никого не находится.

Вдруг с крыльца поспешно сбежал Кудашев.

— Увозят? Ну, прощай, Григорий Петрович. Набаламутил ты, а все-таки мне тебя чего-то жалко. Будь здоров. Слушайте-ка, Алибаев, в вашем деле с этим самым контрреволюционным нехорошевским отрядом случайно запутлялся братишка мой — Егор Кудашев. Он по глупости. Вы там напомните, чтоб меня в свидетели вызвали. Он зря

:пал, не так, как вы. Ну, ладно. Может biTb, на свиданье к вам приеду.

Алибаев широко усмехнулся, крепко рихлопнул небольшой своей рукой руку удашева и тихонько сказал:

— А насчет Аннушки благословляю. Мне на глянется.

Степаненков сердито крикнул:

— Садись, Алибаев! Время.

## IV

Число взятых по делу о нехорошевской :нтрреволюционной организации все увенчивалось.

Крестьяне тюремное заточенье переноси тяжелей, чем горожане. Вынужденную нзическую бездейственность они ничем не :гли возместить. Большинство было негра-:<тно или не имело навыка к чтенью. Для :следних смысл преодоленных тягостным теньем печатных строк ускользал, тонул тумане бедных представлений, не связанех непосредственно с делом их рук, со :ем насущным для них. Убить время на гзговор друг с другом в общих камерах ни могли в течение двух, трех дней. Больe не хватало ни слов, ни охоты на бесеу. На принудительные работы их не водии. Приближенье весны угнетало заботой о есенней пашне, о необходимости выбраться посеву на волю, чтобы не схирела семья, е рушилось хозяйство. Стремясь вызволитья домой к нужному времени, они старались правдаться, умолить, упросить власть, куить себе свободу любой ценой униженья

и предательства. Каждый из них называл свое сельское общество огромным словом «мир», но мир этот, разбитый на мелкие участки отдельных хозяйских интересов, лишь редко и ненадолго ощущался ими как дыханье одного организма. Каждая клетка в давности приспособилась жить и отмирать отдельно, не нарушая общего теченья жизни. Выступивши скопом против города, крестьяне — только что их разделили при допросе — сразу распались каждый сам по себе, как колосья в развязанном снопе. Доказ, подозренье, ошибочные предположенья, прямая ложь, оговор — все сплелось в запутанную сеть их показаний. Начались новые аресты. Расследование затянулось. Взятые по одному делу, узники ожесточались друг против друга все сильней.

Жители Каин-Кабака держались плотней, реже выдавали — оттого что меньше теряли от длительного заточенья. Это были люди, утраченные для мирного труда за годы царской и гражданской войн. Хозяйство во время их отсутствия развалилось окончательно. Создавать его заново они не принимались. Единственным делом их жизни стало разрушенье. Семьи научились обходиться без них. Если жена сумела сохранить исконную домовитость, она добывала пропитанье и детям, ворочала вместе с ними трудную мужицкую работу, сетовала на мужа в горький бабий час, но беспокойного возвращенья его домой даже не желала. Бабы другого, легкого склада приспособились скитаться за мужьями. С нищим своим скарбом и с детьми ездили они в обозе

большевистскую войну. Перебирались в :род, когда мужья попадали в тюрьму, :лрошайничали, торговали собой, скупали перепродавали старье на барахолке, попали детей «в кусочки» по дворам, ухитрись сами питаться, мужьям носить еже--евно передачу и покупать у податливых «:ремщиков мирволенье мужьям.

Каин-кабакцы кормились неплохо, поль-:зались многими недозволенными поблажами, изнывали в заключенье не больше, чем *1* пересадке в ожиданье поезда хладнотэвные пассажиры. От возможного смерт-:го приговора их охраняло чернокостное гоисхожденье и соучастье с войсками красах в бою. Но вдруг, неожиданно для следтзенной власти, и они на допросах бурно азговорились. Сведенья, доставленные ими, ыли совершенно новы и для следствия важ±. А сообщили их внезапно и дружно анн-кабакцы в отместку атаману Нехоро-:езу. Все это скопище людей, лишившихся бессладостной своей судьбе чувств, доронх человеку, ревниво лелеяло веру в свою оевую доблесть. Сомненье в ней было для их единственной незабываемой обидой, .таман Нехорошее, разгневанный, что в азначенный день восстания в июне месяце аин-кабакские сообщники на сборный ункт не явились все, во главе с Алибаевым, казал тогда:

— Алибаевская шпана только на дележу вылезает, а пороху боится. Хлипачи!

Случайно узнав о произнесенных давно, о навсегда оскорбительных словах, каинабакцы пробовали учинить самосуд над

ним в тюрьме. Произвести его не удалось. Тогда они дружно принялись продавать властям Нехорошева с его близкими, всех вместе и в розницу.

Алибаев, равнодушно отказывавшийся от каких бы то ни было показаний, в последний раз на допросе тоже оживился гневом. Сказал следователю ни с того ни с сего:

— Я этому свистуну, как на суде встретимся, морду изнахрачу.

— Кому? Что такое? В чем дело?

— Атаману самозванному. Только и знал что штабы всякие из своих холуев собирал да по подложным бумажкам получал у ваших ротозеев деньги. Понасажали дерьма кассы хранить, и стараться не надо — сами в руки суют казну.

— Кто по подложным документам деньги получал?

— Кто, кто? Чего после время на стуле прыгать? Задницу зря обижаешь. Ты бы раньше к стулу-то не прилипал, поспел бы, может, на дело. Ленивый у вас только не получал, вот кто! Вот я не получал,— мне своего, с бою взятого, хватало. А этот ублюдок Нехорошее задается, ата-аман! Не знаю, каким местом атаманил, вашего брата только пугал. По привычке чужими руками хотел жарок разгрести, а как своими довелось, дак — ой! обжегся! Без памяти диранул, как заяц, за Ташкент, и след с перепугу не замел. Где в войну был, страдовал ли, это еще неизвестно. Молодец — на овец, а спроть молодца — сам овца.

— Вот что, Алибаев, я тебе предлагаю:

перестань кричать. Расскажи толком. В зaших же интересах.

— Ты ко мне с интересом не лезь! Про интерес с Нехорошевым разговор заводи, 5-того укупай — дешевый. А меня не укупишь! Офицерская затычка, мокреть ихняя, :меет каин-кабакских партизан хлипачами созывать. А он их в бою видал? А? Нюхнул он эстолько, сколь они? А? Да не вылупляй ты зенки, не трусись, я те не трону! На харчок вы мне нужны все вместе с ва-д:им бобром захваченным, с Нехорошевым. Ты знаешь, Степан Красков на белую разведку напоролся, брюхо ему располосовали, кишки вывалились, а он с лошади не упал, -скакать сумел. Это тебе хлипач, а? К нам доскакал — кишки свисают, обомлел, язык поворотить не может. Я ему кишки в брюхо вправил, снегу в них для охлаждения понабил и кричу: «Говори скорей, сукин сын! помрешь, не успеешь!» Сказал, место назвал, где встретил и сколько человек, только после этого кончился. Вот! Это мы вас здак застаивали, дак неуж мы побоялись бы >: против вас? А? Коли меж нами несогласье зышло, побоялись, думаешь, эдак же брюхом бы повернуть, а? Ты пошевели мозгой, после зсей страсти какая еще нас пристрашит? Нехорошее зимы испугался, до лета с восстанием дотянул. А нам зима была ль страшна? Когда за Советы бились, холода какие лютовали, слыхали вы с Нехорошевым, а? Куропать на лету падала. Схватишь ее — комок ледяной! А мы этот холод продышали, сдюжили. Нас и там бы помиловали. Эдакое крепкое мясо и белым на свою защиту по-

лучить шибко было желательно. Передохнуть, отогреться, откормиться бы нам дали. А мы об этом и не подумали. С вами в согласье были, вас и застояли до победы.

— Это все мне известно, товарищ Алибаев. И если я допускаю с твоей стороны...

— Не товарищ я тебе теперь! И Степаненкову я больше не товарищ... Ну, только и этой паршатине, сволочне этой тоже не товарищ! Сколь я живого у бога в смерть стравил, все мне простится. Коли за смертью ад объявится, мне простится. За то, что я с партизанами с моими в бой за эту гнусь не вышел, за их человечьей крови не пролил, всякий грех мой не в грех стал.

— Из Каин-Кабака, значит, никто на сбор не явился?

— Из Каин-Кабака! Эх ты, тютик! Не с одного Каин-Кабака, а с любого хутора ни один партизан бывший, да не только партизан — никто из нашинских не явился. В июне разве можно мужика тревожить? А? Нехорошеву абы бы тепло было, а после целая Сибирь заголодует,— ему все одно! Нам не все одно. Мы против начальства шли, а не против мужика. Нам его страда дорогая, за его мы кровь проливали. Не для таких вот, как ты, не для господ старались!

— Участники этого заговора все больше кулаки, что же вы о них заботились?

— А который в драку не шел, хозяйствовать бы в это время смог, а? Ну тебя, не смыслишь ничего. Мы пораньше тебя разглядели, что не в свой косяк попали, еще до объявки сбора отставать зачали. А ты, что ж, тоже думаешь, как Нехорошее,— бою

*:пугались? Сами вы кишкой жидки, дак в людях вам тот же мерещится изъян.

Алибаев уже не сердился более. Последние слова выговорил врастяжку, сам не слушая их. У него отяжелел, сразу затек затылок, замутились глаза. Он ощутил зна• :мую дрожь колен, жар, как злоба, расписавший грудь, и жажду, от которой по:собому колюче высохло во рту. Вторую неделю не удавалось добыть водки, и он точился, хворал. Гневное возбужденье не- а долго помогло ему забыть трудную тоску запойного пьяницы. Опять, как навязчивое бредовое виденье, все вокруг покрыло одно -редставленье стаканчика или хотя бы глот•_а, одного глотка отмягчающего муку питья.

Взбодренный растерянностью его взгляда, странным дрожаньем покрасневших век *г.* сразу стишавшим голосом, следователь сел -зерже, прямей, спросил громче:

— А до этого, когда вызывали на явку, зз*ы.* всегда являлись?

— А? Кто? Куда?

— Ну, хоть бы ты. О себе расскажи.

— Слушай, ты, начальник, добудь мне водки. Пекет в нутре, не могу. Чего бормочешь, я не разбираю. Добудь хоть на один -лоток, а? Помоги человеку, разок хоть :дин помоги, а?

Следователь заморгал, взглянул на Алибаева, нерешительно усмехнулся.

— Чудак ты, Алибаев! Разве допустимо с такой просьбой...

— Кабы мы с тобой от Христа не отреклися, я бы тебя ради Христа просил, вот чего допустимо! Жгет. Сдохну я нонче в ка-

мере, если хоть глоток не сглотну. Добудь, а? Да не вяжись ты ко мне с расспросами, стукотня в башке, сердце запеклось, понимаешь ты?

Следователь крикнул охрану, Алибаева увели в тюрьму. В камере он ничком распластался на кровати, тягуче стонал и скрипел зубами.

Под потолком в запыленном стеклянном колпачке загорелся холодный неподвижный огонь. Алибаев приподнялся. На стене ожила уродливая тень, Он содрогнулся и лег опять лицом вниз. Он боялся. Это не был тот страх, которого он жаждал. Он пугался себя, своих движений, резко внятных в одиночестве. Жизнь его тела вдруг стала всегда, каждый миг слышна ему, и это непрестанное слышанье себя точно со стороны, среди прикованных к одному месту предметов, в тиши толстых каменных стен — было жутко, как смех в гробу. Ему на воле часто казалось, что он не любит людей, что ему опротивела их возня, пачкотня, грызня друг с другом. Но теперь, впервые огражденный от их близкого дыханья, он напрасно старался с прежним отвращеньем вспомнить все зло, учиненное ими над его жизнью, многие от них полученные обиды и скорби. Он не забыл, как он сам и ему подобные, ближние и дальние, каждодневно надругательствовали над добром, как все они, вихляясь и злобствуя, топтали, давили, убивали друг друга, как ненадежна немощная их любовь и как осмотрительна корыстная их ненависть.

Но теперь, в принудительной от них отор-

чости, настоятельно вспоминалось, что
^счастливой, болезненной и смертной че-
ечьей жизни трудней было безнаказанно
стаскать, чем ударить, и все же каждый
ковал по любви, отдыхал только под ее
зетом. И для самого Алибаева, прожив-
больше враждой, чем любовью, на-
-::ь любящие его и "просто дружелюбные
ему люди. Их, а не обидчиков, он неволь-
-.асто вспоминал в тюрьме. Неожиданно
zно пожалел Клару, припомнил ласко-
~ъ Клавочки, многих из партизанского
-да. За нихюн взъярился на Нехороше-
го ярость скоро остыла. Он не мог сей-
жить злобой, он встосковал по людям,
-баев не понимал или бессознательно
еоегался понять, что, оставшись с самим
•:и наедине, он оробел, как безнадежно
'еет на свою погибель пловец, захлестну-
: волной, как, оробев, падает с большой
::ты ловкий акробат, усомнившийся в
ей ловкости.

*Эта* робость — предсмертная боязнь ду-
За ней — только червивая пасть небы-
не прикрытая никаким спасительным
гым обманом и не отвратимая ни хит-
тью, ни мольбой. Ощутив ее смрадную
:зость, Алибаев встосковал, что прожил
то и дурно, хотел повернуть назад в
знь, что-то исправить, переделать, но не
- хотеть. И, проклиная, он не отодвигал-
а тянулся в эту пасть.

Каждый вечер, завидев выраставшую на
не свою тень, мертвую, передразнивав-
то каждое его движенье, заслышав тай-
. уловимое только его мыслью шуршанье

тишины, похожее на шум неторопли
ссыпаемой земли, он впадал в такое состо-
ние совершенной тоски, что ему казалось —
кровь свертывается в нем в холодеющ?
сгустки, слепнут глаза, голова тяжелее-
непомерно, тянет долу все тело и дышат-
уже нельзя. Холодный пот орошал ло!
Алибаев стонал, скрипел зубами, водил г.
стенам, по всей камере широкими зрачкам-
жутких глаз, искал, чем убить себя, чтоб
умерить, укоротить казнь.

За дверью послышался осторожный гс
вор, потом звук повернутого в замке ключа
негромкое отодвигание засова, и дверь
открылась. Алибаев вскочил, попятился на
зад, снова изнеможенно опустился на кро-
вать. Он подумал, что ему померещилось
К нему приближалась Клавочка. Он сразу
ее узнал, несмотря на мужичий чапан и
шапку, но не мог ни поверить, ни понять,
что она живая, настоящая проникла к
нему. Клавочка подошла совсем близко,
вгляделась в опухшее серое лицо с воспа-
ленными полубезумными глазами, испуганно
спросила:

— Ты что? А? Ты... ничего? Ты в памяти?

— Клава!..

— Да я же, господи! Что ты, не узнаешь,
что ли? Как страшно смотришь.

— Я думал — мне привиделось. Как ты
прошла? Тебя допустили?

— Ой, тише говори. Наверно, там
слышно. Тайком, тайком пропустили. Я дол-
го ждала, пока прошла проверка. Ну-ка,
здравствуй, что ли. Испугал как ты меня.
Да ну, обними,— я, я это, я!

_ на внимательно осмотрела его всего, -; ч камеру, покачала головой, жалобно :: хнула и села рядом с ним на койку. Он запускал ее тела из своих рук, дрожа- пальцами гладил ее плечи, лицо.

— Ты что, все не веришь глазам? Ой, и плохой стал! Напуганный какой-то! готом уж очень прочернел лицом. Ну, • itnib, мне ведь сейчас же уходить назад а о:. Кабы не попасться,

Алибаев не слышал ее слов. Он жадны- • • неверующими глазами смотрел в нее -сметное миловидное лицо, потом вдруг :^::меялся затаенно, не разжимая рта. -.аза поежилась, сдвинула тоненькие ров- брОВИ.

— Да ты не молчи. Скорей говори, что -t-:«е надо. А? Ты слышишь? Что тебе передать с воли? Или со мной чего накажешь?

.Алибаев передернул плечами, встрях- -..тся, сказал торопливо и хрипло:

— Водки. Поскорей добудь, с утра завт- :а доставь. Маюсь, не чаю еще ночь протя- - уть.

— Да я знаю. Вот принесла, только :чень мало, на груди, под кофточкой. Ой, •ак боялась!

Расстегивая пуговки, она шепотком ско- : оговоркой рассказывала:

— Мужчина ведь взялся в камеру к тебе пропустить. Вдруг облапит, что тогда? Кричать нельзя — поймают, да еще с водкой.

— Ладно. Ты скорей. Глотку у меня захватило. Спирт, что ль, у тебя или самогон?

— Спирт, только мало. Вот, на... Тут все-таки побольше полстакана будет.

Алибаев выхватил у нее из рук плоский, довольно большой флакон из-под лекарства, прилип к нему губами, жадно глотнул. Клава схватила его за рукав.

— Ты не сразу. Ах ты, надо бы мне и рюмку захватить. Гляди спьянеешь, долго постился. Эй, не задохнись.

Он тряхнул головой, оторвал рот от флакона, шумно продохнул.

— Не учи, сам знаю. Дай-ко вон там в кружке на столе вода. Ну, вот выпил и закусил. Еще на глоток осталось.

Раздвинул руки, повел плечами, размялся и повернулся к Клаве. Она чуть подалась назад от его дыханья.

— Ай сама не выпиваешь? Все еще трезвенница? Это хорошо! Кабы только ты не подлюга оказалась. Кто тебя нанял?

— Ты что, от глотка одного спьянел, что ли?

— Ты, Клавочка, женщина хитренькая, сама бы поумней удумать могла, а послушалась глупыша какого-то. Я еще не вовсе здесь сдурел, хоть и спячиваю потихоньку. Подослали тебя с водкой... не тряси головой, знаю! Подкупить народ здешний весьма возможно. Но шибко храбрых я не приметил, чтобы к такому подследственному, как я, в одиночку бабу с воли доставить взялись. Эдаких удалых здесь нет. Ну ладно. Спрашивай, чего спросить наказывали.

Клавочка зажала ладонями лицо, заплакала. Часто всхлипывая, она прерывистым шепотом объяснила:

— Я давно ведь в городе кружусь, все з433данья добиваюсь. В гумзу в эту, как к седне, с утра каждый день, из гумзы в че-*у. опять в гумзу, ноги к вечеру ноют. Ка-он-никакой, а муж ты мне или нет? Я-то ведь другого не заводила. Путался ты там *-:ого на стороне, а мне-то все-таки муж, • не по старому, а по новому закону... а = жена, не любовница. Как же мне не хлопать за тебя?

— Погоди. Выспрашивать меня будешь?

— Да чего ты, в самом деле, Григорий? генщина из сил выбилась, как бы повидать, •дк бы чем помочь, а ты меня встретил • зк злодейку! Если я никак больше добрать- до тебя не могла! Ты бы все-таки хоть -j оценил, что я, такая молоденькая, не :?осаю тебя, забочусь, вот приехала. Арестовали тебя, всякого почета лишили, а я ведь не бросаю тебя, другого мужа не ищу. Эх, тяжело все-таки, Гриша, с тобой! Около ~ебя только и плакать я научилась!

Она вздохнула, пригорбилась, вытянула на коленях руки и опустила глаза. Темная длинная тень легла от ресниц на свежие леки, опустились углы молодых ярких губ. Алибаев искоса поглядел на нее, вспомнил, что за время действительно тягостного с ним сожительства Клава не сказала ему ни одного сердитого слова. Откуда бы он ни возвращался, как бы ни был угрюм или зол, она всегда встречала его ясной улыбкой, оставалась неизменно ровна и приветлива. С простодушной безбоязненностью вверила она свое девичество человеку с невеселой славой доблестного убийцы и сожительст-

вовала с ним как верная супруга, с легким целомудренным холодком, с мыслью о материнстве, но безотказно и ни разу не оскорбила немолодого, некрасивого и даже нелюбящего мужа недовольством или грустью о другом. А ведь она очень молода, едва ли ей за двадцать. И щеки вот у нее еще по-детски округлые и плечи не наливные, а молодо суховатые. Алибаев почувствовал жалость к этой юности, зря захваченной им, большую нежность к несчастливой жене. Он осторожно, одним жестким пальцем коснулся ее руки.

— Ну, чего ты нахохлилась, птаха? Я не обижаюсь. То есть не на тебя обиделся. Скажи-ка ты мне лучше, как живешь?

— Да чего же, как мне жить? Вот постараться надо, чтобы ты вернулся. Я думаю, все-таки не могут не зачесть...

— Разве стосковалась без меня?

— А как же? Чужая я тебе, что ли? Наплакалась, очень боялась. Там такие рассказы по деревням ходят!

— А про Клару ничего не слыхала? Не поймали ее?

Клава обидчиво повела губами.

— Нет, убежала! Ты не сердись, Гриша, я, грешница, все-таки пожалела, что ее не добили в ту ночь.

— Да. Худущая, а живучая. Зачем же ты пожалела? Она тебе чем мешает?

— Боюсь, как бы не выкинула еще чего-нибудь, тебя бы не запутала.

— Я, милка, уж так позапутлян, что дале некуда. Умом вроде мешаюсь.

— Ну? Я боюсь... Как?

— Я вот тоже боюсь, только сам не знаю -его. Кабы ты сегодня водки не принесла, = бы как-никак, а покончил с собой. Ну-ко, :ай-ко рученьки твои поглажу. Спасибо, ташка. Много я виноватый перед тобой. Не серчай, когда помру. Шибко я обрадовался -г одной водке... Тебе обрадовался. Ну-к, той, остаточек сглотну. Ух, хороша сна-тэбья! Сердце мягчит. Степаненкова не витала?

— Нет. Хворает он. Говорили, что с той -:эчи все никак не выправится... Простудил-:ч. видно, сильно.

— И Шурка хворает. Краузе тю-тю! Вот ::-;о, судьба-то как над людями изгиляется. Хороши люди за меня поплатились, а энтот лобастый, тля, насекомая, живет.

— Этот тоже, за тобой который приезжал, Богдановский — его фамилья, — он в :тпуск отпущен по болезни сердца.

— Все ты знаешь, доглядчивая бабенка.

— Да как же не знать! Мне бы и не повидать тебя, кабы они здоровы были. Сильно они против тебя настроены. Вот тебе! А ты же их спас. Впрочем, лучше, что не бежал.

Алибаев шумно вздохнул.

— Ну, тебя-то недаром допустили. Ты чего им теперь скажешь?

Клава прижалась грудью к плечу Алибаева, обхватила его рукой за шею.

— Гришенька, миленький, а ты скандала не устраивай. Прошу тебя! Никогда ни о чем не просила, в первый раз прошу тебя, умоляю тебя... Муженек мой, Гриша, родненький! Не говори ничего, что догадался,

а? Может, удастся еще увидеться. Я тебя выручить хочу, не мешай мне.

Алибаев, согреваясь ее телом, боялся двинуться, нерешительно поглаживал ее колено жаркой рукой, но ответил неприветливо:

— Я тебе не велю. Ничего больше не вымаливай. К смерти не присудят. Вот только в одиночке...

— Вот то-то и есть. Ты же с ума сойдешь. А мне обещали тебя в общую камеру перевести, если согласишься показанья дать.

— Какие показанья? Товарищей топить? Я убивать умею, а торговать людьми не пробовал. Не буду.

— Да каких товарищей! Нехорошее тебе товарищ? А? Если ты согласишься показанье давать, все равно какое, только обещаешь не отказываться от ответов, мы еще повидаемся. Гриша, ты подумай, много ли ты меня радовал? Гришенька, пожалей меня...

Алибаев тесно обхватил ее обеими руками, жарко поцеловал пересохшим ртом мягкие, влажные губы. Клава запрокинулась. Алибаев, тяжело дыша, наклонился над ней, отпрянул, поглядел налившимися кровью глазами на отверстие в двери, шумно передохнул и отодвинулся.

— Ну, что же, ну, Гриша? Так и погубишь меня ни за грош, ни за копеечку? Я все для тебя, а ты...

Алибаев встал, захоДил по камере, то и дело кося на нее сумрачным, жадным взглядом. Потом остановился перед ней, постучал ногой в пол и хрипло сказал:

— Ну, иди, Клава. Чать, не на всю ночь допустили. Эх, облапил бы я тебя сейчас! Здорово ты мне сегодня желанная. И не то что только для блуда... Иди, жена, иди, бабонька. Пора.

Клава встала, обняла его за шею обеими руками, прижалась плотнее.

— Мы и на стороне у меня увидимся. Только не порти дела..Я же не уговариваю -ебя против своих... В одиночке тебе нельзя. А тогда на работу будут водить, там .-видимся. А?

— Ладно, иди, ластынька, иди. Я подумаю. Иди, иди... А то не выпущу. .

У самой двери он больно сжал пальцами ее плечо и вплотную в ухо шепнул:

— А ты с начальниками гляди не блуди. Теперь я тебя за блуд не помилую. Помни.

## V

Клавдя зажилась в городе. Закончила давно начатое вязанье крючком, сшила нозые оконные занавески с этим кружевом и послала с попутчиком в свое село домоправительнице-тетке письмо:

«Дорогая тетя Маня! Благодаренье богу, хлопоты мои идут успешно, с пользой для несчастного моего мужа. До суда он теперь сможет находиться в более хороших условиях, часто на воздухе, вообще повеселее. А суд выяснит, что Гриша не так виноват, как показался,—больше из-за своего беспокойного характера. Я на это твердо

надеюсь, чувствую себя бодро и хорошо. Хорошо, что Степанида перешла жить к нам. Она старательная в работе и вообще нам подходящая. Главное—дальняя родня, никто не придерется, что мы пользуемся наемным трудом, когда мы содержим нуждающуюся родственницу. Но все-таки вы за ней следите, в амбар одну не посылайте. Ключ от амбара, пожалуйста, не забывайте прятать и вообще нарасхлебень ничего не держите. Человек даже не виноват, если вы его вводите в соблазн своей неаккуратностью. Напишите, пожалуйста, поскорей, доставил ли Семен Козырь супоросую свинью из Каин-Кабака. Тогда, с вещами, мне невозможно было ее взять, а он божился, что скоро доставит. Теперь она уж опоросилась, поросят он, конечно, не всех привезет, обязательно парочку-троечку украдет, но хоть бы свинья не пропала. Кларка-хохлушка в них толк знала, нашла очень хорошую. Так не забудьте, пожалуйста, написать мне. Если не привез, — я его и отсюда достану. Когда Парфен Алексеевич поедет в город — он скоро собирается, я знаю, — пришлите с ним ручную швейную машину, 2 пуда баранины, 1—говядины, 10 фунтов свинины, 3 сотни яиц и полпуда масла. Приходится Гришеньке носить ежедневную передачу, а здесь провизия дорогая, и за деньги еще мало что продают, вещи разматывать не стоит. С Парфеном за доставку я сделаюсь сама, вы так ему и скажите, а то он вас обжулит. Ну, до свиданья, желаю вам доброго здоровья, крепко вас целую, буду ждать ответа. С сельчанами

живите подружней, чтоб склока какая не произошла. От рябой Марфы держитесь подальше. Пусть в спину ругается, вы, очень sac прошу, молчите, не огрызайтесь. Пускай :решет, что я в городе живу для того, чтобы : чекистами путаться, — мне наплевать. Сотака лает, ветер носит. Я не такая дура, чтобы по рукам пойти, на месяц регистрироваться, когда у меня муж есть и не собигается со мной разводиться. Вы стерпите, тока суд не кончился. Не надо ни с кем ссориться.

Любящая вас племянница *Клавдя.*

В начале письма я написала выраженье «благодаренье богу». Это, конечно, случилось по привычке. Я — жена партизана и все-таки как-никак большевика — не могу зерить в бога, да и не верю. Но вам можно в церковь ходить. Ничего, это нам не -овредит, вы — старенькая, вас уже невозможно переделать. Пишите ответ поскорей, но все-таки повнимательнее. Очень много букв пропускаете, я с трудом разбираю слова. Еще раз целую вас крепко и желаю всего лучшего.

*К.* А»

Клавдя облегченно вздохнула, закончив письмо. Сладко потянулась, прижмурила глаза, но, вспомнив, что пора собирать узелок для передачи, быстро вскочила со стула. Посмотрев на часы-будильник в изголовье кровати, мысленно выбранила себя:

«Дурища, расселась! Уж пять минут второго, еду надо к двум, а шагать-то вон

сколько. И волосы не подвила еще. Фу, как время бежит, никак не успеешь все сделать. Ну, пойду побыстрей. Далеконько до вокзала! Ох... Много все-таки с моим Алибайкой хлопот».

Семнадцать человек — бывших офицеров, молодых мужиков из нехорошевских заговорщиков, наиболее здоровых на вид и степенных работящих уголовников — были переданы в распоряженье транспортного отдела политохраны для производства неотложных работ по восстановлению железнодорожного движенья. Перед самой отправкой неожиданно для тюремного начальства высшим распоряжением был причислен к ним Алибаев. В конце города, у вокзала, наскоро подремонтировали обветшалый арестный дом. Вместо поломанных в окна вставили новые железные решетки. У ворот выросла некрашеная, свежо пахнущая деревом караульная будка. Такие же молодые, веселые нависли ворота в прорыве седого, ощеренного меж досок забора. Арестанты, приобщившиеся в прогулке через город к нетемничной людской жизни, ввалились в них со смехом, с прибаутками, весело. Алибаев с усмешкой, широко обнажившей желтые, прокуренные зубы, подмигнул на будку и на ворота, крикнул:

— Правду в газетах пишут, покончили разрушать, строиться зачинаем!

Безбровый круглолицый солдат громко засмеялся в ответ, но быстро вспомнил, что он — охрана, покосился на других сопровождающих, мотнул винтовкой и пригрозил Алибаеву:

— Я те позубоскалю! Пролезай, что в воротах задерживаешь?!

Алибаев дружелюбно взглянул на него, ласково отозвался:

— Не серчай, сынок. Зазевался маненько.

На шатких, разбитых ступеньках входа :н опять призадержался, поглядел на белесое небо, на притоптанный, загаженный людьми снег у крыльца, снова широко усмехнулся, хлопнул ласково по спине идущего леред ним и вошел в душный дом с железными решетками, как домой после томительного странствования.

Дом разделялся только на две половины. 3 одной стояли два длинных стола и одна -яжелая, во всю стену, скамья. Меж двух экон висел криво прилаженный, замызганный, исцарапанный телефон.

Здесь ранним утром и на ночь вместо ужина пили компанейский чай. Кипяток давался казенный, а заварка своя, собранная из передач. На дворе грели дежурные чурками медный с прозеленевшими боками самовар. Обедали на работе. Другая половина, совершенно пустая, даже без нар, служила спальней. В изголовье под окнами в ряд вытянулись узелки, мешочки, мешки и сундуки с пожитками. Посредине, во все помещенье, положена была солома — общая постель. В обеих половинах под потолком плохо светили маленькие электрические лампочки, по одной в каждой. Но пустой, без строений двор был сильно освещен. Там и на улице сосредоточивалась охрана. Караульный начальник на ночь устраивался на столе.

С семи утра до темноты с полуторачасовым перерывом на обед, арестанты заняты были тяжелой физической работой на железной дороге. Грузили, разгружали вагоны по уроку — определенному количеству пудов в назначенное распорядителем время, таскали на носилках по крутым всходам глыбы льда в холодильник, ворочали камни и бревна. Целый день на ветру, на предвесеннем озлившемся холоду, редко — под крышей, в своей, из дому еще взятой, у всех плохонькой одежде. У кого и была хорошая — в тюрьму с собой не взяли. Правда, в натуге холод донимал меньше всего. Но все-таки семеро — четверо из офицеров и трое из нехорошевцев — на пятый день работы сданы были в тюремную больницу в жестокой застуде.

На чрезмерную тяжесть работы не жаловался только Алибаев. Слабосильней многих, давно отвыкший от физического труда, он обливался потом под ношей, шумно, с хрипом дышал, часто сплевывал со слюной кровь. Возвращаясь, чуть двигал разбитыми, ноющими в костях ногами, со сгорбленной, затекшей спиной. По ^грам и ночью, вставая на работу и ложась после нее, каждодневно он ощущал радость. Точно выздоравливающий после длительного беспамятства в хвори, заново видел вещи и живое — в их изначальной большой ценности. Под пакостной коростой дурных слов, злобы, скотского поведения он в окружающих, как собака нюхом, слышал теперь человека. По природе своей навсегда обреченный страстям, он и добро кощунственно воспринял

гак страсть. Как убивал и насиловал, так -;е стал благодетельствовать. Недоедая :зм, раздавал другим грузную Клавдину -ередачу. Даже большую половину доставляемой изредка водки дрожащей рукой отливал другим. Постоянно отбывал дежурст-5э по казарме за ленивых. Навязывал всем :зою помощь. Им стали помыкать. Он без газбора уважал и прохвоста и честного, его уваженье стало вызывать в других гадливость, как пресмыкательство. Начал Гри-эрий часто заговаривать проникновенно о любви к ближнему. От волненья у него отвисала, мокрела нижняя губа, и смотреть на него со стороны было неприятно. Голос всегда ласковый, улыбка в ответ на брань надоели всем арестантам за полтора месяца совместного пребыванья — до отвращенья к нему. Нехорошевцы, в разговоре между собой, дивились, вспоминая прежнего Алибаева. Мефодий Долгов объяснил:

— Чего ж, повихнулся в уме, блаженным стал. Теперь время такое, некуда эдакого пристроить. Раньше, пока монастыри неразоренные были, он бы деньгу хорошую для обители зашибал. Божий сделался человек, а бог-то под запретом, — куда же ему деваться? И нам его надо терпеть, чего же!..

Степан Кухарев, сплюнув, заключил разговор:

— Беда! Чего с человеком случается! Кабы не знал сам, и сроду бы не поверил. Какой ведь орел был!

Клавдя на свиданьях подозрительно

вглядывалась темненькими острыми глазками в его лицо.

— Ты не хвораешь, Гриша? Я похлопочу в больницу тебя. Что-то очень уж ты ласковый и разваренный какой-то.

— Брось, мне хорошо. Вот только ты очень устаешь. Заморил я тебя, пичуга. Ехала бы ты домой.

— Гришенька, я радуюсь, что ты теперь внимательный ко мне такой. А все-таки думаю... Право, хвораешь ты.

Свиданья здесь не разрешались, но допускались по человечеству самой стражей рано утром до увода на работу и вечером по возвращенье в любой день, если караульный начальник не был чем-нибудь расстроен или обозлен. Происходили и в столовой, и во дворе, и в сенях—как удобнее казалось охране.

Транспортный отдел ГПУ возглавлялся длинным сухощавым неразговорчивым человеком. Некогда он отбывал каторжные работы на царском руднике. В разговорах уклонялся вспоминать это время, но помнил о нем хорошо. Знал, что илоты бунтуют только тогда, когда отдушины тайных поблажек наглухо закупорены. Начальник наложил запрет на свиданья, но сумел сделать так, чтобы нижние доглядчики догадывались его неопасно нарушать. И заключенных радовала уверенность, что им сочувствует непосредственное начальство, относится к ним по-человечески, с доверьем, рискует, допуская запрещенные свиданья с близкими. И это обстоятельство рождало особое отношение к начальникам, в конце концов вы-

годное для надзора. По особому тюремному закону нравственности арестанты сами связывали, ограничивали себя, оберегая подзергавших из-за них себя риску надсмотр-( тиков.

Один Алибаев сомневался, что это попустительство без подвоха. Но, предавшись добру, считал эти мысли отрыжкой прежнего зла и сообщил их однажды только Егору Кудашеву.

В первый день пребыванья в этом арестном доме они хорошо встретились друг с другом. Как ввалились гурьбой в помещенье, молодой сероглазый парень с белокурым пушком над большим алым ртом, с черной родинкой на правой щеке повернул за плечо Алибаева лицом к себе. Приветливо сказал:

— Вон какой он есть, Алибаев!

Григорий лукаво подмигнул.

— Слыхал, значит, про меня?

— Как не слыхать! У вас что ,же, вещей-то никаких при себе, всего и осталось богатства, что этот тулуп?

— Хватит. Нечего хоромину-то загромождать. Ну, будем знакомы. Я и место займу вот тут, с тобой рядом. Ну, шабер, как зовешься-величаешься?

— Егор Кудашев. Егор зовут.

— Кудашев! Слышь-ка, а ведь у меня для тебя поклон в котомке давно закладен. Вот, волк меня заешь, как это я забыл. Брат твой, Леонтий Кудашев, тебе кланяется.

— А где же вы его видали?

— Давно виделись, память с того дня от-

шибло у меня. Велел он постараться разузнать об тебе, помочь обелиться в деле-то в нашем в бандитском, а я как в одиночке рассиделся, так и рыло от хороших людей в сторону. Забыл, понимаешь, совсем запамятовал. Как отшибло!

— Какое же с вашей стороны может быть обо мне старанье, коль рядышком оба в клетку захлопнуты?

— Нет, нет, это я еще мозгой раскину! Постой, с другими сватьями надо обнюхаться. Что за народ? С тобой еще, соседушка, набеседуемся.

Набеседовались они вволю. Алибаев узнал, что Егор Кудашев, действительно, зря запутался, но очень крепко. Доказать его невиновность трудно, так как он сам не захочет до конца все нити распутывать. По сбивчивым и неоткровенным его рассказам Алибаев чутьем докопался до правды. Обстоятельства перепутались необычайно.

Егор Кудашев жил в семье старшего их с Леонтием брата. Тот с партизанской войны до сего дня еще не вернулся домой, но, по верным слухам, был жив, находился где-то за Питером. Ушел он с белыми, потом будто бы попал в плен к красным, с ними в рядах сражался — не разберешь, с кем из них содружествовал по своей охоте. Егор остался в избе с его женой и двумя братниными малолетними детьми. Жена братова, молодая, смелая и здоровая, хорошо управлялась по хозяйству и без мужа. Егором как наймитом помыкала и была в доме главой. Мужа своего она очень любила, сильно тосковала по нем. Но она была уверена,

-то он за белых, а не за красных. Юный, чень душевный Егор сперва просто подчинялся снохе, потом, по-видимому, привязался к ней чувством более горячим, хотя -дешной связи между ними не было. Из-за -гдосягаемости своей сноха сделалась для -его как солнышко на небе. Дороже всего ясней всего. Он верил каждому ее слову, заполнял все ее желанья. В самую распутицу попросились к ним два проезжих человека переночевать. Потом остались дней на -ять, ждали, пока вода долами схлынет. Старшего Егор знал как Алексея Климова, ездившего от своего села в город с каким-то одатайством в земотдел. Был же на самом деле он атаман Нехорошее. Про заговор Егор Кудашев ничего не слыхал, сам и мыслями и настроеньем почитал Советскую зласть своей, стоял за красных. Как ни был мягок по молодости, не поддался бы на за--овор, хотя бы и сноха упрашивала. А после, как явились чекисты с обыском, нашли запрятанные охранные бумажки на имущество семьи этих Кудашевых с печатью организации Нехорошева и такое же письменное запрещенье мобилизовать принудительно Егора Кудашева в случае наступленья осооого отряда атамана Нехорошева. В огороде разрыли бомбу. Сноха перед этим незадолго тчень странный разговор вела с Егором. Теперь его он только понял. Она была винозата, но уж на попятный ладила, расчухала, что дело не выйдет. Когда производили обыск, она сильно перепугалась, что ее заберут от детей. Но заподозрили Егора Кудашева, забрали. Выдать сноху с головой

он не мог, а иначе оправдаться ему никак было нельзя. Егор в рассказе выдал ее странно настойчивыми завереньями, что она *тоже* ничего не знала. Алибаев решил сообщить следователю про этот распутанный его личной сметкой узел, но услышал ночью один раз, как во сне Егор окликнул сноху по имени, а потом затосковал, заметался по нарам. Наутро от Кудашева держался в стороне, сердито его обрывал, а при свиданье с Клавдей через нее заявленья начальству, как собирался, не передал. Утешал себя мыслью, что его заступничество едва ли засчиталось бы в пользу Егора.

Один за другим незаметно в месяц выросли дни. Алибаев всем опротивел, но Кудашев от него не отодвинулся. В революционные праздники, когда не водили на работу, Егор читал вслух Алибаеву книжки из тюремной библиотеки. Сначала читал рассказы. Но все попадались новые, недавно напечатанные — про белых и про красных, про житье при Советской власти, очень странно, непонятно и скучно написанные. Стали тогда вычитывать из политических брошюрок. Обоим это показалось занятнее. Но Алибаев не все понимал и попросту смотрел в рот Егору, думая о своем. Егору один раз дали свиданье. Приезжала сноха, и он в этот день дышал как в лихорадке, ни с кем в камере не разговаривал, и для Алибаева это был единственный ощутимо тягостный день в его новом настроенье.

Алибаеву казалось, что он теперь всех людей любит просто за то, что они люди. Но он бессознательно хитрил перед собой,

-_е замечая, что Егор действительно полюбился ему всей своей ухваткой. Кудашев хо:ошо примечал все вокруг, действенно всем -интересовался. Не иконоборствуя, как Али:аев, он не боялся жить своим умом, стойо противоречить всему, чего он не хотел тэинять. Был худощав, легок и вынослив. Поднимая на работе тяжелый груз, всегда /страивал его на спине особенно ловко. У него не было лишних движений, обременительной мужичьей неуклюжести. Никто =е учил деревенского парня, как от них отделаться. Он сам, зорко глядя вокруг, затриметил их у других, нашел манеру дви--аться, дышать, сберегая силу и время. Сделанные им ошибки не повергали его в унынье, не сбивали с панталыку. Он обралал их в пользу себе, как птица сопротивленье ветра для полета. Только в первом :зоем чувстве к женщине он оказался тяжело опрометчив и не мог еще из этой беды зыкарабкаться. Алибаев, лежа рядом с ним на полу, спросил его как-то ночью:

— А что, Егор, Кудашевы русских крозей?

— Ыгы... А что?

— Глядел я все, сколь ловко ты ложишься, встаешь, и подумал — словно бы ненашинского народу ты человек. Шибко уж деляга. Догадливый, как жид, а спиной крепок, как русский. В человеке крови всегда обозначаются. Вот во мне русская от матери все-таки к старости отцову передолела. Жалостлив я стал, доходчивый до чужой туги. И сердце полегчало, совесть понятлива сделалась.

— Ну и зря. Блажишь ты не от матери, не от отца, а сам от себя. Дурачком сделался по доброй воле.

— А по моему сердцу, я только теперь и заумнел. Вот сейчас усну, когда злобы грех поменьшал во мне. А то спать не мог.

— Может быть, ты просто спился, ослабел. Пройдет еще это с тобой. Настоящие-то блаженные, все-таки правда, тронутые умом бывают. Я про тебя никак все-таки не думаю, что ты глупой.

— А я про тебя не сдогадаюсь хорошенько, умный ты или не вовсе умный* а только правильный. Действительно, правильный. А Леонтий, твой брат, тоже правильным мне показался, да все-таки не так.

— Вот тот правильный. Никакого правила не нарушит, раз оно ему втемяшилось. Сноха была, сказывала, что он в городу, здесь. А не пришел наведать, потому что здесь не по правилу, с обманом свидаются.

— О!.. Это уж и вовсе немец. Я на пленных немцев нагляделся, а то еще у колонистов бывал. Нет, есть к русским кровям у вас подбавка какая-нибудь немецкая. Перемешался теперь народ. Оно и хорошо. Новый приплод, может, получшее выдет. Нашинское племя перед старым хилявое, а эти, может, опять на поправку.

— Спи. Сегодня отпраздновали, завтра на работу. Задышишь опять, как паровик. Отдыхай.

Зима раздрябла, расхлюпалась. Небо нагрузло водой. Снег падал вперемежку с

..ждем. В сырости работа сделалась еще /дней. Обедать сели под запасным на-рдом для клади. Издрогшие, измокшие, днлись тесно, пасмурной тучей. Нехорошо •ютрел и был вял даже Егор Кудашев. Всю тследнюю неделю он на себя непохож.

«Тяжелое в мозгу поворачивает», — ду-*;ал, наблюдая за ним, Алибаев.

Сегодня он ни за кем, даже за Егором, -е мог заботливо следить. Кашель разбил в:ю грудь. Ныли плечи, то и дело тумани--ась голова, жаркие искры прыгали, мель-тешили перед глазами.

К навесу подошел невысокий худой сол-дат со шрамом через весь лоб, в грязной _:инели до пят. Он был безус и безбород, но немолод. Мелкие морщины пересекали переносицу, бороздили виски. На изуродо-ванном лбу желтая, увядшая кожа. Десять человек, охранявшие арестантов, сбились :зоей кучкой тоже под навесом. Один из них взглянул на подошедшего, повернулся к нему всем корпусом.

— Ты чего?

Тот хриплым голосом спросил:

— Братцы, товаришы, а що, не знай-дется у вас лишней краюшцы хлеба?

— Во, видали! Явился гость! Разве мож-но солдату побираться?

— Та який же я солдат! Недужный ин-залыд. Бачишь сам — витром качае. К бать-кам помырать иду.

— Помирать не надо далеко ходить, вез-де можно.

— Було б не надо, кабы враз смерть, а то дыхаю, исты-питы прошу.

Солдаты охраны поглядели друг на друга. Старший как раз жевал. Он отломил от своего куска и протянул пришельцу. Спросил:

— Откудова же ты идешь?

Солдат взял хлеб, вяло ответил:

— Сдалека.

И отошел. На ходу оглянулся, посмотрел на арестантов, скрылся за станционной больницей.

Старший передернул озябшими плечами, встал и начал переминаться с ноги на ногу. Солдат, сидевший поближе к арестованным, нехотя выговорил:

— Брешет, что солдат. Побирушка.

Старший равнодушно ответил:

— А пес с ним. Плохой, правда, хворый, видать. Ну, кончать еду надо, до вечеру мало время остается. Ты что какой сизый и трясешься весь? Хвораешь?

Алибаев, глядя мимо его лица, ответил сквозь зубы:

— Лихорадка трясет. Ничего, разомнусь.

— Ну, ладно, двигайся.

Алибаев не мог не узнать Клару. Узнали ее еще двое из арестованных. Оба они переглянулись друг с другом. Посмотрели на Алибаева, но тот отвел глаза. У него все захолодало внутри — не от испуга, а от жалости.

«Вот дурища! Несусветная дура! Чисто сучонка шалая, сама под руку подскакивает. Лучше бы ее тогда прикончили, сразу бы отмаялась».

Когда вернулись в арестный дом, двое, тоже признавшие Клару, по очереди урвали

«ннутку спросить его о ней. Он обоим ответил:

— Ничего не знаю. Расхварываюсь, голова мутна, не разглядел. Чать, то вы в кого другого вклепались. И, как говорит, не расслыхал. Не знаю.

Укладываясь, Алибаев слышал, что его :кликнул Кудашев, но не отозвался. Поглядел в темное плачущее окно, подумал о Кларе:

«Где она ночует-то? В эдакую непогодь да не под крышей. Худо! Ах, дура, дура».

Заснул скоро. Потом ему показалось, что :-н проснулся, поспешно открыл дверь, полел по длинным, ярко освещенным, но совершенно пустым и незнакомым коридорам на улицу. Шумел дождь, хлюпала грязь, но было очень светло на улице, и он бежал быстро. Дождь не мочил его одежды. Как-то сразу очутился в церкви, при ярком свете люстры, восковых свечей. Пел невидимо где эчень монотонный, похожий на шум дождя лор. Но Алибаеву пенье казалось радостным. Он стоял рядом с Кларой. Их венчали. Лезло в глаза чернобородое лицо священника, но Алибаев все отворачивался, чтобы **5по** лицо не мешало ему видеть Клару. И он повернулся боком к священнику, увидал ее синие глаза, удивительный сияющий ззгляд — и весь задрожал от любви, восторга, странно смешанных с такой мучительной тоской, что дыханье остановилось. Чтобы не задохнуться, он хотел крикнуть громко-громко, но голос ему не повиновался, и он застонал. Вовсе это не церковь, а широкая равнина. Не видно ни травы, ни цветов,

она вся синяя, и вверху в небе синева эта так ярка, что глаза режет. Он идет по ней один, но знает, что близко где-то Фрося. Опять его пронизал сладчайший трепет любви и боли, стиснул сердце...

С огромным усильем, с натугой закричал и проснулся, услышав свой крик. Он лежал на спине, и прямо в лицо ему светила лампа. Щеки были мокры. Алибаев поднялся, стал скручивать папиросу; руки тряслись, и он долго не мог свернуть ее как надо. Боясь смотреть в окно, но то и дело в него взглядывая, выкурил две папиросы, жадно затягиваясь, потом завернулся в тулуп с головой и опять лег. Больше уже не заснул до вставанья.

Алибаев был один в спальной половине. Все ушли в другую — обедать. Разговор оттуда доносился более веселый, чем в ближайшие прошлые дни. Сегодня, в день празднования Парижской коммуны, арестантам дан был отдых, на работу не водили. Она в последние дни всем показалась особенно тяжелой. Погода стояла переменная. С утра сверху оседала теплая сырость. От нее хилел снег и чавкал под ногами, промозглый воздух забирался в ноздри и в рот, вызывал маятный кашель. Потом вдруг холодало. Студеный ветер замораживал мокреть. Носили тяжелую кладь по заледеневшим, скользким сходням. Отсыревшая одежда во время передышки в работе быстро отнимала тепло разгоряченного движеньем тела. Троих сдали в больницу, заменив их

-ювыми, никому не известными арестантами, жителями дальнего какого-то места. Они, знове, часто сокрушенно вздыхали, жаловались на свою участь, искали в других жатости, сочувствия. Никто им не посочувствовал. Здесь мало было жалостливых.

Алибаев заново переменился. Он стал :чень молчалив и хмур. Больше не кидался помогать другим. Назойливой услужлизостью уже не надоедал, хоть и не огрызался, не спорил ни с кем, отвечал несердито, ногда ответ от него требовался.

Сегодня, в день отдыха, приезжал из города оратор по путевке из губкома. Он делал доклад о международном положении и значении новой экономической политики. Арестантов его наезд развлек и оживил. Эдин Алибаев отнесся к нему безучастно. 1идел все утро на полу, поджав под себя ноги, и настойчиво думал о своем. Темные глаза его поблескивали по-ястребиному. 1ейчас он, казалось, уснул, завернувшись з тулуп. Но как только хлопнула дверь, тайком посмотрел: кто? Вошел Кудашев.

— Ты что же не обедал?

— Егор, погляди, где Щука?

— Во дворе. Офицеры дрова колют, он им помогает. Я сейчас оттуда.

— А мужики? Другие-то где?

— В той половине, там печка топится, теплей, здесь шибко холодно. А што?

— Чего же делать? А?

Кудашев подошел к двери, прислушался и подошел к Алибаеву.

— А ты что же, на попятный думаешь? Сгубить нас всех хочешь?

— Я за тебя, Егор, пуще всех опасаюсь. Главное, не верю я, чтоб дело вышло. Кларка ведь дело-то ведет, никто другой. Она отчаянная шибко. Вылезет где надо. Как в прошлый раз.

— Так чего же? Она показалась вам. чтобы письму поверили. Ведь опасались, что обманное. И день хорошо выбрала. Узнали только те, кому надо было узнать.

— То-то, они ли * только. Да и сомневаюсь я...

— В ней?

— Сама-то она в пекло полезет за меня...

— Вот ты это понимай, что и нас вызволяют только из-за тебя, не пяться назад. Я передумывать не согласен. Все равно — один, безо всякой подмоги, а убегу.

— Да ведь ты раньше не думал. Каюсь я, что тебе рассказал. Ты меня и с панталыку-то сбил, я бы не согласился.

— Думал я и раньше, да зацепки не было. А теперь все равно, больше не могу. Силы тратим, надрываемся в работе, а конец для меня плохой ожидается. У меня ведь нет боевой заслуги, я в своем дворе топтался. Ну, а смерти дожидаться сидеть мне неохота. Значит, надо спасаться.

— Ну, а поймают тебя — тогда не спасешься.

— Не поймают. А поймают, так что же? Нельзя же не пробовать от смерти уйти. Жив останусь — и виноватость свою избуду. Через годбк-другой по-иному и об деле нашем судить будут, а сейчас горячо, а я в первых числюсь... Под горячую-то руку...

riy, как хочешь, разговаривать опасно. * оль передумал, извести остальных.

— У меня насчет тебя, главное...

— Насчет меня не поможет, я теперь :т думки своей не откажусь.

— Ну, дак и нечего, ладно. Как надумали, так и сделаем.

Ночью ни Алибаев, ни Кудашев долго не засыпали. Оба обдумывали одно и то •œ — предстоящий побег. Один из конвойных, сопровождавших арестантов на ра- ferry, тайком передал Алибаеву известие :т Клары еще до появленья ёе на станции.

Она умоляла Алибаева бежать. Суд неизвестно когда, долго еще придется томиться в неволе. А там — если помилуют, не >;ззнят, все равно опять долгое заточенье, з время идет, годы уже не молоденькие, может он и захиреть и кончиться в тюрьме. 5 Каин-Кабаке нашлись верные друзья. Они -омогут побегу не только из тюрьмы, но и во Владивосток. Если он о себе не думает, плеть подумает о других. Она называла еще пятерых мужиков из одной волости с Али- :аевым, которым помилованья быть не может. Их вызволят только с Алибаевым вместе, для одних стараться не будут. Все для побега налажено. Нельзя медлить, потому что весна развезет дороги, вскроет овраги и речки. Еще Клара наказывала остерегаться Клавдии, а о себе сообщила уже не на словах, а в нацарапанной ею самой записке. Алибаев разобрать ее не смог. С большим трудом прочитал ему Кудашев:

— «Николы я тебе в очи не встану, не разжалуюсь не покличу, ты не бойся,

от божуся смертельную клятвою, живы . щастьи, в доброму здоровьи. Плачу я не об своей недоли, и не с того волосы у меня стали сивы. Вбьють мене, так на одну пулю якого другого поважнийше сменю. Не хочу, щоб ты вмер»:

Алибаев не сразу решил, как быть. Он раздумывал о том, что его попытка стать братом всем людям, помочь им — окончилась неудачей. Не такая должна быть помощь. И не всем и каждому, а то половиком под ногами у людей станешь и самое добро слякотью распластается. Другое дело — помочь делом человеку, когда эта помощь насущно нужна. Кудашев ближе всех ему, милей других — ему надо помочь, ему следует сделать добро. И убивая, он жалел молодых, щадил их. А коль спасать захотел, как же не спасти юного Егора. Если он решает, что побег необходим, — надо согласиться. Егор думал о годах заточенья, о подневольной, не в радость себе, работе, о возможной безвременной и постыдной смерти и, содрогнувшись, ухватился за мысль о побеге. Теперь его невозможно было разубедить.

День побега был назначен в субботу, из бани. Водили их по окончанье работ каждую субботу вечером по десять человек. В эту субботу собрались только Алибаев, Кудашев и пятеро мужиков, названных Кларой. Но перед самым уходом к ним неотвязно пристал Щука. Новенький, которому не доверяли. От него удалось скрыть замысел. Присутствие его в бане усложняло дело, но отвязаться от него не удалось.

_:лровождали их трое солдат. Один—тот, -~э передавал первое сообщенье от Клары, • с соумышленник. Он остался караулить двери номера в коридоре. Два других сели : предбаннике, где разделись арестанты. одного из мужиков, самого смиренного вида, были запрятаны под одеждой веревки. ~н замедлил раздеваться. Один из солдат :нросил:

— Что же ты? Кого ждешь?

Мужик замотал седой кудлатой головой.

— Что-то в грудях задавило. Отдохну, дэсижу маленько.

Щука раскрыл рот, прислушиваясь, но гудашев крепко обхватил его за плечи потянул в баню.

— Чего встал на дороге? Пойдем, пойдем.

Сзади надвинулись остальные, и все гурьбой ввалились в баню, хлопнув дверью. Караульные сели на диван и стали свертывать папиросы. Отставший от других мужик начал раздеваться.

В бане Щука только что принялся смачивать голову, как сзади на него прыжком налетел Кудашев. Втиснул его голову в шайку и налег всем телом на него. Дверь в предбанник распахнулась. Караульные не успели двинуться, как шестеро здоровых мужиков навалились на них. Рот им заткнули грязным бельем. Четверо держали, двое раздевали. Сняв с них солдатскую одежду, их связали и внесли в баню. Там скрутили и Щуку. Он уже перестал извиваться в руках Кудашева. Был в обмороке. Кудашев и еще один мужик быстро оде-

лись в снятую с караульных амуницию Остальные надели свою одежду. Кудашев огляделся:

— Все готово? Двигай.

И взял винтовку в руки. Тут только увидел, что полуодетый Алибаев, с лицом иссиня-красным, пошатывается на ногах.

— Алибаев, ты что?

Тот ничего не ответил. С трудом поворачивая налитыми кровью глазами, попятился, согнулся и лег на пол. Кудашев наклонился над ним. Он невнятно забормотал что-то несуразное:

— Хорек, хорек...

Кудашев побелел.

— Братцы, что же делать?

Седой кудлатый мужик дрогнувшим голосом ответил:

— Он не в себе. Я за им даве глядел, он нехорош мне показался.

Алибаев перемогался давно. Сегодня ему с утра было особенно худо. Он с трудом передвигал налитыми тяжестью ногами, но большим напряжением воли заставлял себя ходить, понимать, что делает. В бане, когда охватил его со всех сторон жар, он уже плохо видел и покачивался. В предбаннике, пока связывали караульных, на миг опамятовался. Но это напряженье было уже последним. Явь ушла из его глаз и слуха, он впал в беспамятство.

Кудашев раздумывал недолго.

— Ни вывести, ни вынести... Бьется в руках. Ну-ка, скорей рот, рот ему... Он закричит. Что же делать? Э-эх! Ну, нам передумывать поздно. Вяжи и его.

Кудлатый мужик тоскливо шепотом тосил:

— А чего же мы там скажем? Из-за •-: они больше старались, не из-за нас.

Егор махнул рукой.

— Что есть, то и скажем. Некогда теперь, поздно передумывать.

Он приоткрыл дверь и позвал стоящего дверей. Из номера вышли пятеро в сотовожденье трех часовых.

Беглецов переловили в одиночку. z условленном месте не нашли они ни подход, ни обещанных верных людей, и убегать далеко им не удалось. Только позднее стало известно, что в Каин-Кабаке в -о время шла своя кутерьма.

Зима трудна выдалась для Каин-Кабака. Нужно было любовное упорство в труде над их неудобной пашней. Каин-кабакцы i в прежнее время не надсаживались над толями. За войну отбились вовсе, разленились. **И** земля, как опостылая жена, рожала «ало и худо. **ИНОГО** промысла, отхожей работы поблизости не было. Волей-неволей приходилось тужиться по крестьянству. **3** ближайших соседних землях савеловских *d* копыловских хуторян озимь этой осенью, :<ак щетка, вышла густа. У них же нехороша почти на всех пашнях. И еще от хозяйского недогляда или уже так — беда не ходит одна — напала хворь на скот. Чуть не каждый день на дворах по очереди бабы выли над подохшей животиной. И окрест над падалью в пустынном осеннем поле во

множестве кружились беркута-стервятник вертлявые сороки и жирное воронье, справ ляя пир. С холодами по людям пошла 6 лезнь. В закромах заготовлено оказало: мало запасу. Еще до святок не дошло, как-кабакцы уже доедали хлеб.

Раньше, пока ночная беда не прихлеб-нула алибаевский двор, жителям Кань Кабака жилось тревожней, но и веселее Перепадали с того двора и дары и подм: га. Оттого сначала, когда забрали Алибае ва, мужики густо загудели в гневе. Но всле; за Алибаевым взяли в тюрьму еще хозяев со многих дворов, самых охотливых на дра ку мужиков. Бабы подняли вой, сокрушаясь о детях, и робкие отцы семейств притихли По-прежнему горячо о нем беспокоился, кс рил хуторян за бездействие только Васькв Сокол, одинокий молодой мужик. У нег: жена и сынишка недавно померли. Он о ню меньше сокрушался, чем об Алибаеве. Ем. первому о себе весть подала Клара. С **НИУ** вдвоем они взбодрили сторонников Алибае ва не только в Каин-Кабаке.

Вечером, накануне того дня, когда под-битые Васькой Соколом люди, во главе с ним, должны были явиться в назначенное место, бабы побежали гурьбой в избу Фи-латенковых. Матвея Филатенкова забрали по нехорошевскому делу одним из послед-них, недавно. Баба осталась на сносях, с пятью ребятишками на руках. Старшему сынишке всего одиннадцатый год, он и справлялся за хозяина. Евдоха Филатен-кова, тяжело поворачивая огромный живот, сегодня собирала сына на мельницу. Мука

кончилась, у соседей взаймы просить
:овестно уж, да все-таки просила: в трех
з: рах отказали — самим никак не удается
чэлоть. Пришлось сына справлять на мель-
г-ну. Вдвоем с малосильным парнишкой на-
слали и стащили на дровни зерно. А через
2гг после этого Евдоха закорчилась в страш-
ных, еще небывалых ни от одного из детей
еловых муках. Бабушка Секлетея замая-
а:ь с ней. Вытирая трясущейся рукой пот
лица, говорила собравшимся в избе:

— Ну, бабы, ничего больше не могу,
чаялась, чисто сама рожаю. Заговор, вид-
г сделан на брюхо кем-нибудь со зла.

Серолицая баба с глубоко запавшими
лазами ответила ей слабым голосом:

— Эх, баушка, на всех на нас тот заго-
лр, из-За его и мужиков в острог посажа-
н. и бабы родят неблагополучно. Я вот
акая удалая допрежь родить-то была, а
нынешни года другого мертвенького ски-
ула.

В ночи избу допоздна освещал с потолка
аленький огонь пятилинейки. В кольце на-
егшей бабьей толпы на скорбном своем
эже лежала мертвая неразродившаяся
здоха. Огромный живот возвышался над
эверженным бездыханным ее телом как
апоминанье об ее последней житейской тя-
гести.

Та же серолицая женщина, увидев его,
атряслась и страстно взголосила:

— Сестрицы, бабоньки. Мужики от-
граждалися, отвоевались, ждали бабы
адости, работать без надсадушки, детей
астить с родителем. А и где же те роди-

тели подевалися? Ой, тошно мне, тошнехонь ко, ой, бабоньки...

Она горько зарыдала, оборвав слова, > повалилась на кровать, лицом в ноги мерт вой Евдохи.

Бабы, плотней сбившиеся в избе, за всхлипывали в ответ. Взвился и громкий плач. Высокая рябая баба сурово его пере била:

— Будет, бабы. Голошеньем здесь дел;, не поможешь. Он страждал, воевал, а мы что ль, не маялись? Он-то наехал, с нами полежал, встал, отряхнулся да опять, деле не дело, в драку в новую. А детей кому подымать? В хозяйстве кто ворочать будет?

В ответ поднялся сполошный бабий шум. Жалобы, восклицанья, плач наполнили избу. Обычно окружала мертвого строгая, уважительная тишина, нарушаемая только установленным причитаньем. Теперь обида и неустройство живых отстранили мысль об умершей. Рябая баба сильным своим голосом опять покрыла общий крик:

— Теперь, если мы сами не вступимся, — пропадать и нам и детям. Чать, не я одна дослышала, что Васька наново подбивает.

— Мама-а!.. Ой, мама, ой-ой-ой!

— Стой, бабы, расступись. Эй, Степанида, это Гришанька твой. Степанида-а!

— Что ж, что мой! Пущай давят! Пущай всех подавят! Отец-то думает об их? А? Кто об нас подумает? Кто об нас постарается?

— То за большевиков ходили — наши, мол, наши. Ну, ладно, мол, наши. Как ни то перемогусь. Своими крылышками прикрою... Выстаивай за своих.

— и я, я тоже не отказалась. А теперь ^его же, и это не свои. Да кто же тебе зои? Со всеми и будешь драться весь век.

— Кто с Алибайкой водился, кто от его -:зживался, тот пусть и вызволяет...

— Да, как раз! Нахлебники-то алибаев-:кие, башкиры, казачишки-то, небось первы тмекнули, поукрывались.

— Да что Алибаев? Опять, что ль, кто за Гришку собирается? Да скажите, милые, іа не майте меня. Чего опять про Гришку?

— Васька Сокол на выручку...

— Они, соколы-то, взовьются да улетят, *i* отвечать опять воронам придется.

— Эдакому соколу перья-то повыщипать, башку набок пора.

— Да стойте же вы! Ой, да голубушки, эй, сестрыцыньки! Айдате не сдавайте. Соглашались мы на большевиков, пущай и будут большевики.

— Вон Евдохины-то дети воют на печи. И наши так же будут. Который год одни зсю работу ворочаем.

— Работу за их ворочаем и рожаем эпять же мы. Кабы они родили, дак узнали бы...

— Стойте, бабы! Угомонись. Ну, стой ты, зевластая! Третий год всего замужем, а всех забивает.

— Да я на третьем-то на годе, может, за двенадцать твоих...

— О-ох, сердечушко! Да и как я в свою избу взойду, да и как я гляну...

— Сто-ой! Кто чего слыхал, ну? Отколь узнали, что мужики затевают?

Рябая баба звонко отозвалась:

— Я подслухала. Не спалось долго ; вечеру...

— Эй, потише... Ну-к, стойте. Чего она говорит?

— Да громче ты!

— Рассказывай, Феона, говори...

— Вышла я во двор, гляжу, за плетнем по нашему огороду кто-то крадется. Я было кричать хотела, да одумалась. Вижу—мужик, а на дворе-то я одна. Ну, гляжу, гляжу: Васька Сокол. А за им еще. Трое эдак друг за дружкой. Тут я и смекнула. Не иначе опять — на драку заваруха. Стой, думаю, догляжу. Они по-за амбарами вместе пошли. Я близко-то не могла. Но слыхала: Кларку поминали и Гришку, а потом: завтра, дескать. Я плохо дослышала, но все-таки выходит так... Завтра ночью они с Кларкой встренутся за хутором...

Поднялся снова шум, но скоро опал. Женщины начали совещаться потихоньку. Когда расходились, рябая властно заказала:

— На язык замок. Нетерплячие мы на тайности, а все-таки надо помнить: детям нашим на погибель, коль до время мужики дознаются. Надо Кларку словить, в ней весь вред. Гришка родня нам всем одинаковая, нашему плетню сват. Будет, навоевались с ним. А сколь порухи он нам сделал, еще не считано.

Юркая бабенка сунулась к ее плечу.

— В других местах бабы нову сарпинку понакупали, а у нас при ем ни куплять нельзя, ни торговать нельзя.

— Торговалы с купилой-то еще нет, об чем засохла!

— Ну ладно, бабы, будет. Потишей языками-то...

Прошел день, а в следующую ночь спозаранок поднялись все в хуторе, от мала :о велика. Чуть угадывался еще по-зимне-*у тяжелый на подъем рассвет, когда в :изом его сумраке забегали, зашумели люди. **За** хутором, там, где высился шест с красным флагом, сгрудился народ. Шум тяжелого бега, разговор, крики, руготня сливались, мирились, перекатывались по всему хутору. Никто друг друга не слышал, каждый метался, кричал во всю силу голоса. Звонко перекликались, плакали, смеялись шныряющие меж взрослыми дети. Гул людского золненья, как буря, далеко отдавался в предрассветной тишине за хутором в горах.

Бабы подкараулили Клару с Васькой Соколом и еще двумя мужиками. На помощь поймавшим из всех изб набежали бабы с ухватами, с кочергами, с палками, с поленьями. В руках у рябой был большой заостренный кол. Она кричала:

— А ну, Васька, бей! Бейте нас, мужики! Кончайте нас, мужики! Ты, Степан, убивай меня! Убей жену свою! Кончай детей наших, все одно!

А сама наступала грудью вперед, широко и сильно размахивая колом. За ней другие. Стоном разливался их вызов:

— Пали из ружья! Поклади на месте!

— Чего же стали? Нам один конец.

Мужики отступили быстро. Бабы повалили Клару на снег. Падая, она крикнула:

— Тут и лежатымо, де завъязала себе свит. Братцы, Григория...

Кончить она не успела. Ожесточенный женский визг еще долго стоял и над мертвой, как кощунственная панихида. Бабы непристойно надругались и над телом ее. Завернув ей на голову одежды, обнажив худые, с выступающими костяшками колен ноги, ее труп привязали к шесту под флагом.

Прибывшие на другой день из города начальники, проходя по избам, везде заставали мужиков опять мирно сидящими на печках. Бабы крутились в обычной своей работе.

В ночь побега арестантов из бани на постоялом дворе в городской слободке ночевало трое приезжих мужиков. Целый день они ходили по городу, вернулись они уже по темноте и сразу залегли спать. Но когда хозяин потушил лампу и ушел в свою половину, они один за другим проснулись, тихонько, ощупью пробрались во двор посмотреть лошадей. Во дворе было темно от грузного облачного неба. Падал тающий на лету снег. Ноги по щиколку хлюпали в талом, вязком, смешанном с навозом месиве. Высокий жердеобразный мужик натянул чапан на голову, огляделся вокруг и, успокаивая кого-то, примерещившегося ему в плачущей, шепчущей тьме, вслух проговорил:

— Овсеца мерину подбросить придется. Ну, дороженька на завтре — трудно ехать будет.

Чубатый немолодой казак сердито подтолкнул его.

— Иди, иди подальше. Растопырился у крыльца.

Сошлись под сараем у одной колоды и зашептались. Казак, плохо сдерживая басовитый вольный голос, объявил:

— Крыто! Ворочаться домой надо. Ни хрена!

Мужик в чапане зашипел предостерегающе, оглянулся, зашептал чуть слышно:

— Каин-кабакские не явились, стало быть, отступились, а нам как же? Мы и вовсе по разным местам живем. Как сговориться — все вразброд, тот сюда гнет, этот туда.

Третий, низкорослый, но коренастый, спокойно негромко отозвался:

— Рассудили, значит, что ни к чему буча? У нас все вразброд, а мы чего же одни башку ломать пойдем? И в Каин-Кабаке народ теперь тоже не прежний народился. Надоел он нам, говорит, беспокойный все-таки. Будет, навоевались! Хозяйство схилилось.

Казак грубым шепотом перебил его:

— Ну, тоже хозяйство! Как раз в Каин-Кабаке шибко ретивы мужики до хозяйства! Скажи: трус народ там — и все!

Мужик в чапане примирительно сказал:

— Ну, словом, ни у их, ни у нас, ни у вас нет охотников отбивать Григория. Народ, что волна в бурю, грозно гурьбой встает. Ну дак чо, будет уж бурей-то ходить. Пора кажной волне на свое место ложиться. Перепалки-то уж везде позатихли, а нам

как новую затевать? Пущай сам как-нибудь старается. Он — дошлый! Утре, как маленько разведрит, айда по домам!

Алибаев отлежал полтора месяца в тифу. Только перед самым судом перевели его из больницы снова в тюрьму. Он совсем поседел, постоянно отвисала нижняя губа, и спокойно-туп сделался взгляд косых глаз. Теперь он никогда не отказывался от Клавдиной передачи. Много и жадно ел, почти все время заключенья провел в утробном глухом сне. В последний раз затрепетал перед жизнью во время суда. В первый же раз, когда он увидел, как подходит к красному столу своей отчетливой, верной походкой Егор Кудашев, он точно проснулся. Раза два в перерыве, в комнате, куда их выводили всех, ему пришлось говорить с Кудашевым. В первый раз он сказал ему:

— Вся вина на мне. Я ведь знаю, как люди помогают. Жалко тебя. Я ума решился, согласился на побег. Да кабы еще довелось с вами, а то... Худо мне, Егор, опять я шибко мучаюсь.

Во второй, приглаживая рукой седую щетину на голове, опять пожаловался:

— Люди сказывали — дикий зверь до старости не доживает. А я лютовал лютей зверя дикого, а смерть меня не берет ни в хвори, ни в казни. Коли меня не засудят на пристрел, куда же я тогда?

Кудашев невесело улыбнулся:

— А я вот знал бы — куда. И не пожалели бы судьи, кабы не засудили, а мне конец.

— Может, на суде обскажешь...

— Теперь поздно. Запутался я с побеом. Ошибся насовсем.

— Живой тем и жив, что ошибается да поправляется.

— В этой стрельбе промашки не бывает, а в могиле чего поправишь? На другой бок я то не перевернешься.

— Погоди, сынок, может, и не насовсем. Живой будешь — и оправишься и обелишься. У живого все концы в руках.

Он что-то еще хотел сказать, но передумал. Посмотрел ласково в лицо Егора и отошел.

Суд приговорил Алибаева к десяти годам лишения свободы со строгой изоляцией. Но, приняв во внимание его прошлые боевые заслуги, сократил этот срок наполовину. Под удар высшей меры отдали семерых во главе с атаманом Нехорошевым. На суде развернулась чудовищная картина зверской расправы нехорошевского отряда с отступниками и целый ряд тайных страшных убийств. К семерке применили революционный закон во всей его прямоте: расстрел без права обжалованья.

В тюрьме уже свободной стояла приготовленная смертникам камера, но все знали, что новые жильцы проживут в ней несколько часов, утра не дождутся.

Приговор был объявлен в дождливую весеннюю ночь, в два часа.

У зданья суда и дальше на площади густо чернела толпа в сплошной темноте под дождем. Жадно ждали осужденных, хоть и невозможно было даже разглядеть

их. Выводили сначала под кольцевой охра ной смертников, и на некотором расстоянье от них — остальных, приговоренных к заточенью, под конвоем менее страшным Сквозь дождевую завесу тускло мерцали редкие и слабосильные фонари, освещая малые неясные пятна отдельных лиц среди людского скопища. Невидимые голоса, прорывавшиеся отдельно восклицанья, смех, чей-то надрывный плач — колыхались над площадью во тьме. В самой плотной черноте, в середине площади, вдруг произошла заминка. Раздались громкие окрики:

— Раздайсь! Расходись! Освободить дорогу!

— Стой! Что такое?

— Товарищ Рудой!

— Наза-ад! Наза-ад!

— Стреля-ай!

В мокром воздухе один за другим глухо захлопали выстрелы. Налетела откуда-то конная охрана. Сквозь женские визги, шум и шлепающий панический топот бегущих очень сильный, уверенный мужской окрик.

— Все в порядке! Двигай дальше!

К охране, сопровождающей смертников, подскакал всадник.

— Что случилось?

Снизу, из тьмы, кто-то ответил:

— Ничего. В темноте-то, которых сзади ведут, кучей, сбились, прибавили шагу и натолкнулись на передних. Ничего, столпились, потолкались. Все целы: семеро. Сосчитай сам.

Никто не разобрал, что в толкотне Али-

баев с огромной силой вышвырнул меж зхраны в толпу народа Егора Кудашева и :ам пошел на его место. Шагали медленно ровно семеро, как прежде.

В камере, на свету, когда конвой захлопнул дверь и тяжело стукнул засов, Нехорошее схватил за плечо Алибаева:

— Ты, черт...

— Молчи! Задушу!..

Не прошло и часу, за дверью послышались осторожные шаги, заскрипел в замке неповоротливый большой ключ. Вошли люди с револьверами за поясом, с винтовками. Впереди высоколобый. Алибаев съежился, быстро повернулся спиной, но высоколобый не только сразу его увидел, но и все понял.

— Вместо кого? А? Нехорошее здесь? Кого нет?

Шестерых снова заперли в камере. Алибаева вывели.

Высоколобый не очень смело, глядя мимо Алибаева, спросил:

— Это что еще за фокусы?

Алибаев злобно прикрикнул:

— Не твоего ума дело.

Но потом спокойно и негромко, точно самому себе, вслух пояснил:

— Ошибку вашу поправить хотел, еще раз на добро было попыкнулся. Может, еще и удастся, может, вызволится. Парень эдакий белому свету нужен. А меня куда берегете — не знаю.

Клавдя знала. Она усиленно хлопотала, во все ходы проникла, съездила в Москву и там сумела облегченья участи Алиба-

еву добиться. Последняя его выходка была прощена, потому что Кудашев не убежал.

Прошло только полтора года, и Клавочка высвободила Алибаева. Старая Клавдина тетка встретила их хлебом-солью у ворот. Входя в свой дом, Клавочка вздохнула всей грудью и сказала:

— Ну, вот, все хорошо. Я опять своему мужу жена и нашему дому хозяйка. Ох, надоело мне мотаться по судам.

Повернулась к Алибаеву и настоятельно сказала:

— Я надеюсь, Гриша, что ты теперь окончательно остепенился. Пора тебе честную старость себе добывать.

Как-то заехал к ним Савелий. За чаем, оглядывая одобрительным взглядом стол и располневшую румяную Клавдю, сказал Алибаеву:

— Не знай, за какое твое добро, Григорий Петрович, бог жену тебе такую послал. Без нее так бы и капут тебе. Дуром окочурился бы в какой-нибудь передряге. А теперь гляди, в дому добра — на детей и на внуков хватит. Сами оба наливные, не укулупаешь. Седой ты, да седина не в укор, коль детей еще печешь. Покрикивает наследник-то, растет? Только не в тебя, а в мать задался.

Савелий знал, что дитя привозное. В город Клавдя выезжала нередко, да и Шурка, случалось, сюда завертывал. Еще когда Алибаева выхлопатывала, сблизилась с Шуркой. Знал об этом и Алибаев. Но Клав-

дя ясно взглянула на Савелия и тепло улыбнулась.

— Растет. На отца непохожий лицом, не знай, какой характером удастся. С муженьком-то натерпелась я беды, не довелось бы еще и с сыночком.

Алибаев, навалившись грудью на стол, жадными пальцами тянул к себе кусок жирного пирога. Он равнодушно поглядел на Клавдю, на Савелия и, лениво ворочая языком, маловнятно отозвался:

— Какой-нибудь вырастет. Кричит только больно шибко.

Туго забив рот пирогом, выпучил глаза.

— Вот ведь как, Клавдия Тимофеевна, ты остепенила человека. Крик слышать стал. А раньше сам без крику часу не жил. Ну, знаешь, Григорий Петрович, я все тебе прощаю. Много ты мне страху задавал, все прощаю. А вот как вы с чекистами коня у меня угнали, этого не прощу. И сейчас, как вспомню, ругаться с тобой охота.

Алибаев сильно огрузнел. Память у него тоже будто жиром затянуло. Он искренно ответил:

— Какого же это коня? Я чего-то забыл про коня. Какой конь?

Он редко вспоминал отдельные случаи из прошлого. И вся его былая жизнь вспоминалась ему дремотно, будто в жарко натопленной комнате, разморенный теплом, он смутно улавливал ухом взвыванье далекой непогоды.

Клавдя взглянула на него и ласково посоветовала:

— Не бери третий кусок, опять под серд-

це задавит. Не жалко ведь, ешь на доброе здоровье, да ведь тебе же под сердце задавит. Ну-ка, возьми вот, утрись, щеки у тебя намаслились. Муж у меня неплохой человек, Савелий Максимович. Только надурил много. Пораньше бы ему оглянуться на себя да вот эдаким спокойным манером зажить, как сейчас. В партии состоял, не удержался,— жалко. Дельному человеку лучше всего, когда он партийный. В работе шире можно развернуться. Я бы и сама партийной работой занялась, кабы было на кого хозяйство оставить. Тетя уж очень постарела, только и может, что ребенка нянчить,— и на том спасибо, все помощь. Вы-то, я знаю, по старой закваске, партии опасаетесь.

— Будешь опасаться, как зятька такого, как Леонтий, наживешь. Бабе-то, конечно, все одно — с кем живет, в ту дугу и поет, но мне Аннушку жалко. Ни достатку основательного, ни почету. В прежнее-то время я бы ее не так устроил.

— Я тоже дивлюсь, Савелий Максимович, как люди не умеют устраиваться. Хоть бы для пользы дела сообразили. В городе я знаю одного — уважаемый партийный, вроде начетчика по разным собраньям выступает. А гляжу один раз — дерет на собранье на это пешедралом через весь город, чисто беспартийный какой. Лошади себе даже не исхлопочет. Вот и у нас сын комсомолец, то есть пасынок-то мой,— ну, да мы с ним дружно живем, все одно я его за родного сына считаю, и он меня больше Григория Петровича уважает,— так вот он тоже не-

разумный в этом деле. Это уж у него от Григория Петровича. Разговаривает он со мной, я ему ведь сочувствую, он любит со мной беседовать, а попросить его поддержку какую исхлопотать — нельзя. Сейчас зафордыбачит. А что же, так без поддержки и в кулаки недолго попасть. Вот тебе боевой партизан Алибаев, гроза на всю округу, а в кулаках засчитают за хозяйство. Ох, надо бы, Гриша, тебе заслуги-то боевые отчистить как-нибудь.

Алибаев, шумно сопя, поднялся, голосом искательным, неуверенным проговорил, глядя в сторону:

— А што, праздник ведь сегодня. Я пойду с теткой в подкидного дурака сыграю.

С недавнего времени он очень пристрастился к этой нехитрой карточкой игре. Так самозабвенно ей предавался, что Клавдя иногда не могла дождаться его по делу. Приходилось вместо него самой с работником в амбар ходить, овес лошадям отпускать. И Клавдя ласково, как всегда, но безотменно наложила запрет на «подкидные дураки» в будни.

Клавочка проводила взглядом тяжелую, широкую книзу фигуру Алибаева. Когда его шаркающий шаг перестал быть слышен, негромко сказала Савелию:

— Надо куда-нибудь его пристроить. Может быть, еще для какого-нибудь дела сгодится, а то эдак кровь застоится, не дай бог и удар хватит. Может быть, вот в потребительскую лавку. Работа общественная, тоже все-таки неплохо. Он же боевой партизан, все-таки этого у него уж совсем-то не

отняли. В городе ему легче устроиться, да жизнь там нетихая, беспокойная все-таки. И хозяйства такого уж не разведешь. Здесь крестьянствуем потихонечку.

Летним вечером Алибаев сидел на приступке у входа в потребительскую лавку. Еще люди не вернулись с поля, тихо лежало село. Но вечерние длинные, как в старости, тени уже вытягивались над землей. Поглядывая на смирное небо с широкой спокойной полосой заката и пустынную дорогу, Алибаев радовался покою. Хорошо, что покупателей сегодня мало было. Он еще не привык отвешивать, выдавать товар и получать деньги. Это занятье было ему неприятно. Но что же — спорить с Клавдей, ругаться, очень уж это беспокойно. Да в лавке сидеть неплохо. Прохладно, и мух мало. Задремлешь — в рот не набьются. А дома чуть приткнешься где — мухи и в рот, и в уши, и в нос. Грузен очень стал. Как уснет, вспотеет, жир пот гонит, мухи и облепят, как жирную падаль.

На дороге показался человек. Алибаев встревоженно приподнял голову: не в лавку ли? Эх, хоть бы мимо. Человек прошел мимо, даже не взглянул. Но Алибаева вдруг что-то проборороздило по сердцу. Он тяжело, с пыхтеньем задышал. В движеньях человека, в его легкой верной походке была большая схожесть с Кудашевым. С холодком в груди и пояснившим взглядом Алибаев подумал:

«Егор... нету его. А хорошо было заро-

дился человек! Только не иначе что была в нем другая кровь».

Из-за угла выбежал шустрый босоногий мальчишка.

— Дяденька, Григорь Петрович...

От распиравшей его жажды действия мальчишка не смог обойти вниманием лежавший на дороге камешек. Подхватил его, лихо размахнулся рукой и пальнул в небо, только потом закончил:

—...Хозяйка твоя чай пить велела домой идти. Да только скорей, самовар уж на столе. А то, она говорит: ты ногами возишь-возишь, никак не довезешь. Айда!

# СОБСТВЕННОСТЬ

## I

Кузнец Трунов пил горькую. Семья его бедствовала. Старшая дочь, красивая Лизавета, вышла замуж за нелюдимого, нехорошего лицом и телом, набожного вдовца. Сожительство с ним претило ей. Но была она сыта, одета, обута, защищена от злых соседей. Родные и знакомые считали ее жизнь счастьем. Мать хотела, чтоб и вторую, подрастающую дочь Клавдию миновали нищета и порок, чтобы устроилась она так же, как старшая.

В один апрельский вечер, за всенощной, усталая старая мать молилась об этом богу. Она устремляла искательный взор на иконы, на трепетный огонь свечей, навстречу душистому кадильному дыму, вздыхала, простиралась ниц, часто крестилась боязливыми мелкими крестами. Близ нее сердито молилась увечная женщина, знаменитая в городе белошвейка. От сухотки спинного мозга ей плохо служили ноги. Она то и дело присаживалась на складной ковровый стульчик у стены. Тогда странный взгляд ее затуманенных глаз с неравномерными зрачками бегал по толпе молящихся. Униженное, суетливое моленье старухи разжалобило ее. По выходе из церкви они разговорились и по-

или рядом. Костистая Трунова бережно поддерживала под локоть низенькую рыхлую белошвейку. Рассказывая, она неловко ззмахивала левой рукой, будто подшибленным сухим крылом. Горестные движения заскорузлых, темных ее пальцев были выразительней, чем слова. Белошвейка сочувственно приговаривала чудесным голосом, нежным, искренним, как у детей. Она обедала даром учить, одевать и кормить Клавдю с тем, чтобы, обучившись ремеслу, дезушка отработала на хозяйку еще три года за небольшое. жалованье. Озирая темнеющее небо с яркой каймой заката, белошвейка назидательно проговорила:

— И на небе и на земле создал бог прекрасную красоту. И людям была бы жизнь прекрасная, если б достойны были. Бог за всех, а мы уж друг за друга. Бумажку мы у нотариуса заверим. Завтра приходи. Мой домишко в Заречной тебе все покажут.

## II

Проезжал освободившийся катафалк. Траурные лошади бежали вольной рысцой. За колесницей вздымалась позолоченная солнцем веселая пыль. Клавдя приостановилась на перекрестке. Черный возница крикнул ей:

— Хороша девчонка, жалко — некогда!

Клавдя слов не разобрала, засмеялась в ответ на обрадованный взгляд. У ней было хорошо на душе. Утром чай пила с молоком и с сахаром. На теле — чистая рубашка, от-

мытые ноги обуты, платьице, перешитое ив старья, сидело ловко. Воспоминанье о том что всего месяц назад она виновато шныряла меж людей босой, простоволосой, голодной, не омрачало ее сегодняшней радости На ходу она потаенно пела, иногда беззвучно шевеля губами. В песню вплетались ее собственные мечтанья. Когда белошвейка станет ей платить за работу, она справит себе зеленую шерстяную юбку и две-три кофточки. Одну — розовую шелковую, как у Шурки гулящей. Этой кофточке завидовали все женщины на улице. Потом она купит матери валенки к зиме, а весной — крепкие ботинки. Так, мечтая, она откормила, одела всю несчастливую свою семью и пристроила себя. Она вышла замуж. Ее муж улыбался ей, как проехавший мимо приветливый похоронщик, но лицом и голосом походил на молоденького почтальона. Тот приносил зимой Труновым письмо с родины. Клавдя больше не видела его, но дважды он приснился ей. Один раз — будто смотрит на нее во все глаза, берет за руку и говорит: «Милка моя». Во втором сне он шел по странной цветущей дороге, оглядывался на Клавдю, кланялся ей, не то звал, не то прощался. Клавдя хотела побежать за ним, но не могла двинуть ногами, проснулась в слезах и весь день думала: «Не помер ли?» При воспоминании об этих снах сердце Клавди сжалось от светлого страданья, доступного только юности. Зрелому возрасту оно чуждо, старость знает, желает, но не может его ощутить.

Когда Клавдя пришла с покупками, бело-

пвейка приметила ее душевное состояние, jно не понравилось хозяйке. Ее жизнь была кутана горьким туманом болезни. И как в 7мане всякая чуть выступившая тень кажется большой и недоброй, каждое юное :мятенье казалось ей грехом. Будто разыскивая нечистоту, она брезгливо, издали огля:ела девушку до ног и сказала звенящим -элосом:

— Моль точит одежу, ржа — железо, :евушку — улица. Я думала, ты скорей =ернешься.

У девочки задрожали ресницы. Она побледнела, ответила, заикнувшись:

— В другой раз скорей схожу.

Испуг ее смягчил хозяйку. Но, когда Улавдя, босая, переодетая в заношенную губашку с холщовой становиной, несла -шс~ить во двор большой медный самовар, белошвейка еще раз оглядела злыми глазами ее тело. Клавдя втянула грудь в плечи, :ошла сгорбившись. Ей было стыдно и горько, но она не оскорбилась. В узком проходе *ежду глухой стеной дома и каменной клановой помещалась тесовая будочка с высокой вытяжной трубой. Строеньице внутри было выскоблено, вымыто; закоулок, ведущий к нему, чисто выметен руками Клавди. Гозданная ею самой, но не подобающая, •:ак ей казалось, этому месту чистота вызвала в ней уважительное удивление. Сиреневый куст закрывал постройку. Под ним Клавдя чистила большой медный самовар -: думала о том, что у хозяйки есть другой, томпаковый, его ставят, вероятно, только на пасху.

Однажды белошвейка открывала при не-окованный блестящей жестью сундук. В не* большие отрезы шерстяных и шелковых тка ней, много сшитой ненадеванной одеждъ В кухне помещалось обилие неупотребля-мой утвари. Все ткани, вся излишняя посуда дом, двор, чистая будочка для грязной ну*: ды и благоуханная эта сирень, овощные гря ды и прелестно цветущие две молодые яблс ни в другом конце двора — все это собствен ность белошвейки, Марьи Васильевны Кле пиковой. Поэтому Марья Васильевна силь на, несмотря на увечье, всеми уважаема С ней спорить нельзя, сердиться на нее бес полезно, надо ей угождать. Иначе хозяйка прогонит. Для Клавди навсегда захлопнете-вход в этот мир, где за высоким забороч растут чудесные деревья, существуют чисто та и счастливые излишки. Тогда опять избенка без двора, близ кузницы, меж ними полянка с затоптанным гусиным щавелем где по воскресеньям дерутся взлохмаченные хмельные мужики, в потемках крадутся озор-ные парни. Крадутся к дочерям кузнеца, чтоб обольстить или осилить, потом смеять-ся. Если ж во всем угодить Марье Васильев-не, она поможет добиться хорошей судьбы.

Hi

Время было горячее, перед рождеством. Пожилая мастерица Ксенофонтовна не уходила домой ночевать. Спали в сутки часа три. На Клавде лежала также вся ежеднев-ная работа и разноска законченных заказов.

Девушка сильно уставала, часто впадала в дремоту за ночным шитьем. И она и Ксено-£онтовна, чтобы прогнать сон, выбегали во двор умываться снегом; нюхали горчицу. Хозяйка страдала бессонницей. Но в эту зочь она вдруг закрыла глаза, улыбнулась блаженной улыбкой. Пальцы ее с нежной эсторожностью задвигались по столу. Клавдя увидела, вскрикнула:

— Ой, что вы щупаете, Марья Васильевна?

— Собираю их в решето,— счастливым голосом ответила увечная и очнулась.

Ей приснилось, что под руками пушистые желтенькие цыплята. Рассказав, она заплакала:

— Одолевает сон. Это у меня — к смерти.

С усилием приподняв грузный зад, потянулась она за горчицей. Движение было смешное, но лицо, мокрое от слез, некрасивое, озарилось строгим светом самой страшной человеческой мысли. Клавдя посмотрела на нее и с бессознательным уважением потупилась. Работали в полном молчании; потом хозяйка встала.

— Укладывайтесь, часика через три разбужу.

Клавдя охнула. Она забыла принести постель. Марья Васильевна рассердилась:

— Ты думаешь, я тебе должна и постель стелить, и нос вытирать? Поработала бы, когда я была ученицей, узнала бы!

Клавдя спала на полу, на войлочке, в спальне хозяйки. На день, чтоб не нарушилось годами утвержденное благообразие двух маленьких комнат и чистой кухни, ее

постель, скатанная в трубку, становилась Е чулане, в сенях. Зимой необходимо былс приносить ее заранее, чтоб согрелась. Виновато улыбаясь, Клавдя побежала за постелью в чулан. Стены его покрылись студеным пушистым налетом. Обхватив руками стоявший в углу войлок, девушка сразу озябла. А спать сильно хотелось. Глаза слипались, ноги дрожали. Клавдя склонилась к войлоку и заплакала. Увечная улеглась, вздремнула, проснулась, девушка все еще не возвращалась. Белошвейка, сердито дыша, поднялась, оделась потеплее и вышла с лампой в чулан. Прижавшись к войлоку, Клавдя крепко спала стоя. В склоненной шее, во всех членах неловко согнутого, сладко уставшего молодого тела было столько животной теплоты, что сердце Марьи Васильевны сжалось от умиленья и зависти. Белошвейка больше не заснула, но помощниц подняла на час позднее, чем собиралась. Увечная лежала в темноте. Она упорно смотрела в черный потолок, будто именно там из прошлого, как болотные огни, вставали разрозненные видения. Наутро хозяйка замучила Клавдю неровностью в обращении. То была слишком ласкова, то до крайности придирчива. Девушка на бегу глотала слезы, отвечала невпопад. До рождества оставалось пять дней. У белошвейки был обычай в этот срок раздавать подарки. Ксенофонтовне вручалась благородная материя, шерстяная или полушерстяная, очередной ученице — ситец. Избранным беднякам ее церковного прихода Клепикова дарила старые вещи. Она рассуждала, что в

пять дней при желании можно сшить обнову к наступающему празднику.

Вечером пришел кривой сосед. Он чистил двор, возил Марье Васильевне воду и колол дрова. Кроме церковного причта, это был единственный мужчина, вхожий к белошвейке. Клавдя быстро пригладила волосы, выпрямилась над шитьем. Ксенофонтовна мельком на него взглянула, на хозяйку посмотрела оживившимися глазами. Клепикова благожелательно улыбнулась и пошла в спаленку. Собрав подарки водовозу и Ксенофонтовне, она задумалась над ситцем, приготовленным Клавде. Первым отблагодарил и откланялся, со стыдом и неловкостью, кривой сосед. Потом Ксенофонтовна поцеловала руку Марьи Васильевны, приложилась к ее щеке уважительно подтянутыми губами. Белошвейка отмахивалась от обоих и светло улыбалась. Дарить было приятно. С помолодевшим лицом она протянула материю Клавде.

— А тебе, птица, голубой шелковой сюры на кофточку. Юбку из моей перешьем.

Клавдя, как в прежние годы, поклонилась хозяйке в ноги быстрым земным поклоном, но глаза ее засияли счастьем. Руки, принимавшие подарок, дрожали. Увечная душевно растрогалась. Она за свой счет отдала срочно сшить модную обтяжную кофточку с пышными рукавами.

В сочельник старуха Трунова постилась до первой звезды. Теперь она с наслажденьем ела мягкий хлеб, запивая его водой. Хмельной кузнец необычно спокойно уснул на печи. Старуха отдыхала от радости насы-

щения. Нарушал тишину трудный храп кузнеца. Он был привычен для жены, она его не слышала. Все кругом казалось ей погруженным в блаженный отдых. Клавдя вбежала шумно. Мать содрогнулась, не сразу обрадовалась дочери. Потом старая и молодая долго рассматривали кофточку, щупали шелковистую ткань, переговаривались приглушенно, как бы воркуя. Проспавшийся кузнец долго прислушивался к их разговору. Он слез с печи, опухший, распущенный, красноглазый, хрипло сказал:

— Тряпичницы! Пускай гнилая кикимора замуж Кланьку выдаст.

И ушел, натянув полушубок лишь на один рукав. Неожиданный совет его показался дельным старухе. Она решила переговорить с благодетельницей-белошвейкой. Праздничные дни Клавдя проводила приятно. Отец загулял где-то в городе, дома не буянил. Вечерами Клавдя ходила со слободскими девушками, плясала на одной вечеринке. Она была одета хорошо, ее теперь звали в гости, парни не стеснялись заигрывать с ней. С вечеринки она вернулась на свету, но сразу не смогла уснуть.

Сердце стучало громко и часто. Девушку томило множество желаний. Они не укладывались ни в какие слова, сливались в одно ощущение, похожее на страх от предвкушения счастья.

## IV

В крещенье ночью на пустыре, около своего жилища, замерз кузнец Трунов. Сумеречным утром нашла жена его скрю-

ценное черное тело, запорошенное чистым снегом. Бурное горе старухи удивило детей и соседей. Она рыдала, ползая по снегу на коленях, долго целовала нечистое лицо пьяницы, обнимала его, не могла оторваться. Вместо положенного причитанья из ее груди вырывался отрывистый плач, похожий на ропчущий клекот. С похорон вернулась она домой сразу одряхлевшая, безучастная ко всему окружающему. И после оживляла ее только забота о замужестве Клавди. О нем были последние слова кузнеца. Жена считала их заветом.

Избу Труновых заколотили. Мать поселилась теперь в семье Лизаветы. Она помогала как умела, нянчила детей, но зарабатывать стиркой уже не могла. Спина старухи сильно сгорбилась, ходила она с батожком. Зять ею тяготился. Со двора старуха уходила только в церковь шептать свои пугливые мольбы да к белошвейке поглядеть на Клавдю. Марья Васильевна была приветлива, жалела обессилевшую мать. Она охотно беседовала со старухой. Разговоры их состояли в том, что белошвейка говорила, Трунова с ней во всем соглашалась. Увечная обстоятельно и подолгу жаловалась на свое слабое здоровье. Поэтому и старуха, и все окружающие все больше убеждались, что хозяйка недолго проживет.

У старой Труновой была на примете небольшая дружная семья, куда взяли б Клавдю за сына охотно, если б хозяйка помогла на первое обзаведение. Старуха долго выбирала удобное для разговора время, а

заговорила неожиданно и некстати. В нерабочий, праздничный день, в марте, когда сквозь видимую хмурость веяло незримым весенним теплом, они вдвоем ходили по двору. Хозяйка осматривала деревья и голые ягодные кусты. Вздыхая, она приговаривала:

— Расцветут и плод принесут, а меня не будет. Для меня росли, а кому после одинокой достанутся?

Старуха остановилась, взмахнув батожком, и придержала Марью Васильевну за рукав.

— Благодетельница, золотая, многим обязаны. Выдай Клавдюшку от себя замуж...

Хозяйка не сразу поняла, в чем дело. Ей подумалось, что Клавде надо спешно прикрыть девичий грех, что где-то близко, может быть, сейчас за воротами, ждет выгоды распутный жених. Она закричала, размахивая руками:

— Все вы такие, все, все... Распутные, корыстные, урвать бы только чего!..

Нежный ее голос в гневе становился пронзительно тонким. С криком, ковыляя неверными ногами, она поспешно ушла в дом.

Поздно вечером за матерью к Лизавете прибежала Клавдя. Белошвейка извещала, что умирает и просит старуху немедленно прийти проститься. Клепикова, правда, занемогла, даже пролежала три дня в постели, почти не вставая, но поправилась. Старая Трунова прислуживала ей у кровати. Увечная говорила о несчастливых супружествах, о многодетности, о нужде, о не-

чистых нравах мужчин и хвалила Клавдю. Наконец она заявила:

— Если дочка твоя до моей смерти не выйдет замуж и сохранит себя в девичестве, оставлю ей свой дом со двором, со всем, что есть. Пускай послужит мне, как родная. Недолго придется служить.

## V

Тихо болея, Клепикова прожила еще двадцать пять лет. С каждым годом она двигалась все меньше. Ее лицо становилось прозрачнее, тело грузнело. Уход за ней был тяжел. Клавдя не одну ночь плакала злыми, необлегчающими слезами. Девушка решала утром уйти на вольную работу и каждый раз оставалась. Она думала: «Уйду, а она умрет, и все мои годочки — прахом...»

Старуха Трунова умерла, не дождавшись. Наконец Клавдя почтительно, с богатой милостыней похоронила хозяйку. В августе тысяча девятьсот восемнадцатого года во владении домом утвердили Клавдию Максимовну Трунову. Ей шел сорок третий год. В слободке уже давно за ней утвердилось прозвище «Закопченная невеста». К сорока годам у нее сильно потемнело лицо, на лбу и около рта легли тонкие морщины, прямое тело чуть пригорбилось. Но в застенчивой улыбке отцветших губ, во взгляде, прямом и чистом, таилась молодившая стареющую девушку печальная детскость. Белошвейное дело у новой хозяйки пошло плохо. Клавдия Максимовна порой думала, что

люди перестали рассчитывать на долголетье. Все чаще на белье приносили батист вместо полотна. Дорогую, кропотливую, но прочную ручную вышивку вытесняли жидкие машинные узоры и дешевая мережка. Клавдия приспособила ножную машину и для вышиванья, и для мережки, но не нравилась ей эта работа. Она собиралась выйти замуж и занятьбя домом, хозяйством. После полученья наследства присватывались женихи, приличные, пожилые вдовцы. Клавдии Максимовне были неприятны бородатые озабоченные лица, расчетливые движенья их немолодых рук. Безусый почтальон не старел в ее мечтах. Она отказывала. Однажды, отбирая старье для семьи Лизаветы, Клавдя вынула из сундука кофточку из голубой шелковой сюры. Ласково расправляя слежавшиеся пышные рукава, она задумалась. В доме вставляли зимние рамы. Племянница Клавдии Максимовны протирала стекла и негромким, мирным голосом пела новую песню:

Бей буржуазию, товарищи, ура!

Очень ясный свет осеннего солнца заливал девочку и полосатую кошку на стуле.

Клавдия Максимовна окликнула:

— Полюшка, погляди, вот эту мне первую справили...

Девочка оглянулась, откидывая тыльной стороной ладони спустившиеся волосы, и засмеялась:

— Какие старые моды были смешные... Мурка, и чего ты все спишь? Ах ты, ах ты, ах ты!..

Она подхватила кошку, потискала ее, нежно повизгивая, на мгновенье загляделась з окно, увидела, как в прозрачном воздухе кружатся ржавые листья, и подхватила с полу таз:

— Пойду воду сменю...

Полюшка пошла к двери, шаля на ходу длинными ногами, высоко ими взбрыкивая, как бы приплясывая. Она качала головой в такт беззвучной музыке, играющей в ней самой, улыбалась глупой, милой улыбкой. Клавдия Максимовна с неприязнью оглядела чуть сложившееся девичье тело и закричала:

— Шешнадцатый год, а кривится, как маленькая! Уходи с глаз моих долой, дура, растрепа!..

Она сильно хлопнула крышкой сундука. Чтоб ее умилостивить, пришла ночевать сестра Лизавета. Лежа рядом на кровати, они долго разговаривали. Клавде хотелось вспомнить молодость. Но Лизавета свою забыла. Она вспоминала только боль и радость, доставленные детьми, выпрашивала у Клавди для семьи подарки. Клавдя вдруг почувствовала, что и у самой у ней мало воспоминаний, вслух и рассказать нечего. Она перестала слушать сестру, думая о своей жизни. За радость, за ласку никто уж ее не возьмет, сватаются из-за дома. И какой-нибудь седой вдовец, если он хороший человек, ставши мужем, будет лишь добр к ней. Тело у нее худое и усталое, к непогоде ноют кости, волосы седеют и сильно падают. Клавдя заплакала. Чтобы скрыть всхлипыванья, она сердито сморкалась и кашляла.

Но Лизавета ничего не слышала. Она заснула внезапно крепко, как засыпают дети и счастливые старики.

О замужестве вскоре прекратились всякие разговоры. Человеческая жизнь вокруг стала такой же путаной и непрочной, как машинная вышивка. Собственный дом Клавдии Максимовны уже мало кого привлекал. По совету зятя, она спешно продала его первому покупателю за новые тысячи. Уходить со двора ей было тяжело. Она долго простояла у ворот, сгорбившись и утирая слезы. Но вечером у Лизаветы, обильно и льстиво угощавшей богатую сестру, Клавдия Максимовна развеселилась. Она пригубила лишнее из стаканчика самогонки. На темных щеках выступил пот и разлился пятнами немолодой, некрасивый румянец. Коротенько, визгливо посмеиваясь, она тягуче говорила:

— Бог с ними, с домами да садами, не на радость они нынче. Пока поживу с вами, за кусок заплатить хватит. А потом, говорят, по новым правилам, заставляют кормить одиноких стариков. А? Вот Петеньку заставят, он тетку прокормит. А?

Семнадцатилетний Петя, рассыльный в суде, гордясь знаньем законов, стал обстоятельно объяснять:

— Видите, во-первых, мы обязаны кормить родившую нас мать...

Клавдия Максимовна низко склонила голову с потускневшими редеющими волосами, уронила меж колен горестно сплетенные руки, заплакала, повторяя нетрезво:

— Родившую мать!..

# ТАНЯ

Таню обидел отчим. Девочка его любила. Всякая размолвка с ним отягощала ее недетской, сокровенной печалью. Сегодня, как всегда, они вдвоем пили ранний утренний чай. Александр Андреевич сумрачный пришел к столу. Таня этого не заметила, потому что она встала весело. Спеша есть, двигаться, говорить, она сбивчиво рассказывала события вчерашнего дня и свои утренние мысли:

— Ленин — основоположник марксизма.

Александр Андреевич прервал ее:

— Прежде чем сказать, люди думают. А ты?

Бывали случаи, когда он грубей обрывал Таню, но сегодня она учуяла в его тоне особое, неопровержимое презренье к себе, невыросшей, несамостоятельной. У нее от обиды захватило дух. Заносчиво, но неверным голосом девочка ответила:

— Я всегда говорю вещи, в которые я убеждена.

Александр Андреевич сердито передвинул стакан и, вставая, уронил стул:

— В которых, а не в которые. Нет у тебя убеждений, потому что нет знаний. И говоришь ты черт знает каким языком!

Он ушел, не простившись. В комнате, кроме нее, никого уже не было, но Таня запрокинула голову через спинку стула, чтобы слезы не выкатились из глаз. Как же у нее нет убеждений, когда она пионерка? Если бы ему, партийцу, кто-нибудь такую вещь сказал, он бы небось озверел!

По дороге в школу Таня не отмечала ни улиц, ни людей. Ноги шли, глаза смотрели, тело привычно уклонялось от трамваев, извозчиков, автомобилей, но мысль ее была поглощена обидой. Девочка думала со стесненным сердцем:

«Если взрослые так будут, то в. конце концов можно и умереть... Глотнуть чего-нибудь и вообще взять да умереть. Нет, не «взять», а просто умереть. Если «взять», то есть самоубийство, то, конечно, скажут, никаких убеждений. Есенинщина, скажут, заела... «Не такой уж горький я пропойца, чтоб, тебя не видя, умереть»,— мысленно пропела Таня.

У нее защипало в горле, и слез проглотить уже не удалось. Они оросили щеки. Таня, всхлипнув, стерла их перчаткой, но они набегали снова и снова.

«Ну, «Письмо к матери»—вообще упадническое... Не признаю. А все-таки здорово трогательно. Как это? «Мр-а-а-ке часто видится одно и то ж...» Да, умру, так пожалеют. Вот я умерла нормально, от скарлатины... Папа стоит у гроба... Нет, если нормально, то не все пожалеют. А вот умри я на посту... Вот случилось нападение на Москву...»

Глаза у Тани высохли, щеки разгорелись.

Она придумывала и переживала различные возможности доблестной смерти за СССР, за революцию. Перед ней ясно вставали подробности замечательных похорон:

«...даже вожди у моего гроба в почетном карауле. Из нашей школы все будут рассказывать: «У нас она училась, у нас».

Но когда в представлении встала долговечная урна с ее собственным, Таниным, прахом в час, когда все живые ушли от нее, Тане очень захотелось жить.

«Можно идейно пострадать, но не до смерти. Даже пускай ранят, но не до смерти. Вот, предположим, я в тюрьме, в капиталистической стране. Да, я в Америке, агитирую... Да, побег был исключительно смелый...»

Когда Таня входила в школу, она в воображении прожила не одну прекрасную, героическую жизнь. Все эти жизни были схожи в основном. Каждая из них уходила на победоносное страданье за утверждение Таниного мира. Танин мир был определен. Он в совершенстве четко делился всего на два лагеря: своих и чужих. Свои — те, с кем выросла Таня. Чужие, никогда еще не обнаруженные в личном Танином существовании, но общеизвестные враги «своих»— капиталисты Европы и Америки, вредители в СССР. Для нее, как в старых убедительных трагедиях, «свои» были без единого изъяна, всегда во всем правы, враг жесток в чернейшей, без просвета, неправде. И пережитые девочкой в мечтанье любовь и ненависть были подлинны. Победа любви потрясла ее душу восторгом. Отсветы ее лег-

ли на существующий повседневный мир. Они сделали его счастливей, добрей. Вот хотя бы Ким. Он вовсе не закоренелый бузотер и грубиян. Он страдал, раскаивался в Таниных мечтах, когда ее мучили в американской тюрьме. Он сознавался с настоящей большевистской самокритикой:

«Недооценивал я, товарищи, Таню Русанову».

Поэтому Таня сегодня подошла к нему сама и заговорила с ним таким пленительным тоненьким голосом, что Ким отверг разговор:

— Ах, не влюбляй меня навеки, покрасивей найдем!

Таня багрово покраснела, но в перебранку не вступила. Она только мстительно подумала:

«Горько тебе будет. Очень горько!»

Весь школьный день девочка была с товарищами уступчива, на уроках прилежна. Но в конце дня с ней снова приключилась неприятность. Собственно, никакой неприятности не было. Все понимают, что Таня ответила правильно, а все-таки... В школе побывала сегодня Надежда Константиновна. Вышло, что у входа она поговорила с Таней, а на прощанье протянула ей руку. Девочка ответила как надо:

— В нашей организации мы руки не подаем.

Лицо Надежды Константиновны посветлело от хорошего смеха, но в глазах как будто мелькнуло смущенье. Так показалось Тане. Это ее расстроило. Она размышляла:

«Надо было руку пожать. Не из подха-

лимажа, а из уважения. Нет, не надо. Она понимает, что у нас в организации не зря выдумывают».

Но чем больше Таня убеждала себя, что поступила правильно, тем смутней становилось ее душевное состояние. На обратном пути домой она тягуче говорила Игорю Серебрякову:

— Мне уже двенадцать лет, а я все не решила, кем я буду. Как ты думаешь, кем я буду?

— А я откуда знаю? Вот я буду летчиком или моряком. Море или небо, без никаких!

— А я ни на чем еще не остановилась. В прошлом году я хотела быть киноактрисой. Очень заманчиво! Ну, а потом решила — это занятье несущественное. У них там какие-то кулисы да закулисы, вообще что-то, интриги. А я еще не знаю, есть ли у меня талант. Вообще мне многие занятия не нравятся. Вот, например, зубным врачом — ни за что. Всю жизнь смотреть в чужие, дурно пахнущие рты!

— Да-а, невесело. Когда зубы болят, все воют. Я один раз так взвыл, что зубодерка убежала.

— Конечно, и зубные и другие врачи — очень полезные люди, но об себе тоже надо подумать. Я думаю, Игорь, все-таки я буду горным инженером.

— Горняком? Валяй. Одобряю.

— А все-таки я еще сомневаюсь.

— А ты собиралась еще композитором.

— Ну его, нет! У меня мама — композитор...

— Ну что ж, у нее, кажется, позиция правильная.

— А что с того? Она свой человек, хоть и беспартийщина. Но все невеселая да невеселая. Со своими никогда не смеется. Нет, я маму люблю, но жить с ней — спасибо, не надо. Она хорошо придумала, что за третьего замуж вышла.

— Уж за третьего?

— А как же? Первый муж — мой отец. Ну, мама его чего-то отшила, записала меня на себя, я его не знаю. Второй — Александр Андреевич, мой теперешний отец. Ты знаешь, он очень доволен, что я его сама выбрала. Когда мама уходила, я кричала, плакала, что не уйду. Он и Соня меня усыновили, оттого я Русанова, а мамина же фамилия — Балк. Только у нас бывают с ним разногласия.

Таня глубоко вздохнула и неожиданно для себя рассказала Игорю утреннюю сцену. Рассказав, рассердилась на себя за это, покраснела и нахмурилась. Игорь оживленно подхватил:

— Удивительно наши предки любят придираться к словам. Впопыхах что-нибудь неясно скажешь, пойдут разутюживать. На меня отец взъелся, когда мы из лагеря вернулись. Я прекрасно вел работу в деревне. Ну, докладываю отцу, матери: «Я три колхоза организовал». Он, говорит: «Ты организовал?» И начал меня унижать.

— Игорь, ты «Отцы и дети» читал?

— Чье сочиненье? А, да, этого, как его... Нет еще.

— Я тоже еще нет. Соня с чего-то советует проработать...

— Наверно, сама недавно прочитала. Им как что понравится, сейчас и мы прорабатывай.

— Там как будто дело в том, что Базаров — марксист, а родители его — наоборот. А после плачут на могилке.

— Расстраиваться они умеют и без могилки. Особенно матеря. Слушай-ка, ты вот что,— прочитай «Войну и мир». Художественное сочинение. Я летом читал. Только несколько длинно. И охота узнать, что дальше, и прямо устаешь. Замучился, но прочитал. Интересно.

— Игорь, а я иногда страницы пропускаю.

Игорь поправил на голове шапку, отвел глаза в сторону:

— Я тоже кое-что несущественное промахнул, а вообще — нет,— не следует. Я не пропускаю. Ну, пока.

— А ты мне обещал по математике объяснить.

— Як тебе вечерком загляну. Вообще не расстраивайся.

Игорь свернул в боковую улицу. Зажигались огни. Они возникали четко, будто являлись на дозор, следить, куда уходит отслуживший день. Воздух — во власти ни света, ни темноты, а странного их соединенья — казался зыбким. Громкое дыханье машин, везущих людей или многообразную для них кладь, истеричное, всегда неожиданное взваниванье трамваев, отдаленное зычное оханье паровозов, заводские гудки,

неизмеримо слабый в сравнении с ними, но повсеместный, непрерывный человеческий голос — весь этот слитый шум большого города стлался далеко и гулко окрест, как запуганный рев сильного чудовища. В утробе города в эти сумеречные часы самодовлеюще жили только маленькие дети и необрачившиеся влюбленные. Люди другой поры, подвластной воспоминаньям, испытывали тоскливое чувство разобщенности с миром. Отчетливо ложились перед ними грани своей, отдельной человеческой судьбы. И Таня показалась себе самой всеми забытой, утомленной. Девочка плелась, пришаркивая на ходу подошвами. На крышах лежал некрасивый снег. Встречные тоже не нравились Тане.

## II

Дверь Тане открыл Александр Андреевич. У него было измученное лицо. Тане он улыбнулся устало. Но все же улыбнулся. Значит, забыл и «основоположника», и все другие ошибки. Милый отец! Таня подпрыгнула и крепко обняла его за шею.

— Ну-ну, хорошо! Что ты так поздно?

— У нас была Надежда Константиновна... По нашему советскому обычаю, пошли сниматься.

В дверях столовой показалась Соня:

— Иди, иди! Есть хочу, обедаем.

— Все вместе сегодня? Вот роскошное житье!

Семья собиралась за столом не часто. У каждого был свой труд, свои заседания,

друзья и встречи. Соня уходила на работу раньше всех. Бывали дни, когда Таня совсем не видела ее. Может быть, поэтому девочка жила с молоденькой мачехой в большом согласье. Но чувство любви к ней было совсем иным, чем к отчиму. Если б тоненькая Соня, с ее милым лицом, простой, неяркой шутливостью, с ее неуменьем долго страдать или сердиться, вдруг исчезла из Таниной жизни, девочка горевала бы сильно. Утрату Сони она перенесла бы трудней, чем исчезновенье из совместной жизни родной матери. И все же горе не было бы столь глубоко, не образовало бы такой всю жизнь ощутимой недостачи, как при утрате Александра Андреевича. Сама Таня об этом никогда не думала. Александр Андреевич вдруг понял это сейчас, встретив доверчивый сияющий взгляд дочери.

— Папа, что такое «грех»?

Он машинально переспросил:

— Грех? Разве ты не знаешь?

И вдруг осознал всю значительность этого незнанья. Таня выросла без религии, как и без родителей по плоти. Она совсем новый человек в новой стране.

— Разве в книжках ты не читала?

— Я как-то не замечала в них такого слова. А сегодня Нинка говорит: грех тебе будет.

Подыскивая выраженья, Александр Андреевич не очень ясно объяснил:

— Грех — понятие религиозное. По установкам нашей морали, грех — это преступленье перед революцией, перед классом.

— Эта Нинка — просто злая дрянь!

Тварь я буду, если мне когда-нибудь можно будет сказать: грех тебе.

Соня сморщила маленький чистый лоб.

— Таня, выбирай выраженья...

Александр Андреевич перестал слышать их разговор. Он думал:

«Мы совершили не только физическую и экономическую революцию. Мы совершили уже психологическую. Этих детей трудно возвратить в мир капиталистических понятий». Он подумал и о том, что в его привязанности к девочке была доля самопохвалы, высокая оценка способности любить чужого ребенка как своего собственного. Вот именно этого понятья «собственный» для девочки не существовало никогда. Она не знала не только собственных домов, она не знала даже долголетних квартир. Она не знала времени, когда семья, свой род служил противопоставленьем чужому. Она не знала, что такое кровные узы. Она многого не знала, что считалось естественным или неестественным еще так недавно. Но чувствует она совершенно естественно и цельно. Этот человек охранял мое детство, воспитывает, учит, живет со мной, я его люблю,— он мой отец. Тем труднее будет ей объяснить, что если он и ошибся, то не враг он ей. Большая область старого бытия, отложившего на нем свой пленительный и злой груз, ей непонятна. Как всякий совершенно новый человек, она мыслит прямолинейно. И вообще, черт знает, как трудно теперь с детьми! Присущий всему молодому эгоцентризм, конечно, действителен и для них, как был присущ самому Александру Андре-

евичу в отрочестве и юности. Но они его как-то сочетают с непререкаемым авторитетом родителей и учителей. Да, если эти родители и учителя — их единомышленники. Таня в некоторых отношениях — ребячливая двенадцатилетняя девочка прошлого. Но именно во внутренних своих установках она устойчива не по-детски. Чувство ответственности перед коллективом у них велико. Пресловутое чувство локтя! Раньше дети были другими несомненно. Ему тяжело оскорбить ее любовь к нему не только потому, что привык он к этой любви. Ему тяжело оскорбить в ней именно этого нового человека. Александр Андреевич отодвинул тарелку и закурил. Соня укоризненно потянула его за рукав.

— Что это ты? Почему не ешь?

— Не хочу, дайте чаю. Голова болит.

Жена просительно улыбнулась:

— Если можно, вызови машину, прокатимся на часок за город. Тебе надо освежиться.

Александр Андреевич нахмурился, скулы его чуть порозовели. Он подумал со страшным злорадством:

«Вот завтра вам покажут машину!»

Но вслух он сдержанно сказал:

— Не могу. Я буду работать. А Сычева не пускайте ко мне, если придет.

Таня покачала головой:

— Да, его не пустишь! Он упрямый, как наш Кимка Шмидт. Папа, ведь Второй съезд РСДРП состоялся в Лондоне, в тысяча девятьсот третьем году! А Кимка засыпался, в тысяча девятьсот втором, из самолюбья так на своем и стоит.

— А ты вот из самолюбья хвастаешься шпаргалочными сведеньями. Ведь истории прошлого совсем не знаешь. Ну-ка, скажи, про крепостное право ты что-нибудь знаешь?

— Знаю. Это когда Петр Великий...

Александр Андреевич усмехнулся:

— Из всего прошлого ты, кажется, про Петра Великого только слышала.

Таня покачала головой:

— Как не так!.. А еще Николай, которого мы свергли. Еще какие-то были... крестьянам волю без земли. Нет, вообще, папа, я неплохо учусь. Но, конечно, про всех про Николаев да Людовиков устанешь читать. Нам нужно партитурное чтенье. Так нам сказал...

Соня засмеялась. Александр Андреевич ласково смазал Таню рукой по лицу:

— Глупа ты еще, девица! Партитурное.

И, как будто в Таниных смутных знаниях по истории таилось для него какое-то облегченье, он взглянул на девочку светлей. Он встал, чтобы уйти, но невольно задержался. Сегодня он боялся одиночества. Домашняя работница, Елена Михеевна, принесла чай. Соня услужливо освободила конец стола. Она всегда немного робела перед этой сухощавой светло-русой женщиной с темными, горячими глазами. А Таня ее не любила. Она переносила присутствие Елены Михеевны, как неизбежную непогоду. Поворчит да скроется. И Елена Михеевна враждовала с Таней. Она никак не могла сердцем принять, что «чужеродное дитя» занимает столь большое место в семье. Но недружелюбье свое

начала проявлять открыто недавно, после одного горячего спора с девочкой о боге. Тогда Александр Андреевич недовольно посоветовал дочери:

— Ну ты, воинствующая безбожница, учись подходить к людям...

В их быту и еда, и чистота, и целость одежды зависели от большой старательной работы Елены Михеевны. Александр Андреевич говорил, что, если она их покинет, им останется одно: переселиться в асфальтовый котел, на иждивенье к беспризорникам. И Елена Михеевна ценила его бережное отношение к себе. Она увидела, что сегодня он чем-то огорчен, устал, чувствует себя больным. Подавая ему стакан крепкого горячего чая, как он любил, Елена Михеевна ласково сообщила:

— Сычев приходил, я в комнаты не допустила. Вам отдохнуть надо. Я сказала: «Хозяев нет, и не пущу».

Таня враждебно, хотя стараясь выговаривать не особенно внятно, проговорила:

— «Не допустила» «хозяев». Скоро у нас будет, как в «Крокодиле» напечатано: «Барин на ячейку ушли».

Щеки у Елены Михеевны вспыхнули:

— Меня, Танечка, переучивать поздно. Я старый человек. И довольно некрасиво с вашей стороны.

Таня постаралась смолчать, но, встретив сухой взгляд нелюбимых глаз, не смогла:

— И старой вы себя не считаете. Как собираетесь куда, так сколько времени перед зеркалом... Потом и старее люди есть, а бога им не надо.

Соня с упреком спросила:

— Таня, это что такое?

Александр Андреевич крикнул сердито:

— Замолчи сейчас же!

Елена Михеевна шумно собирала со стола грязные тарелки. В глазах у нее выступили слезы, голос пресекался:

— Они еще жизни не знают. Попрекают меня, что не могу от веры в бога отказаться. Ну, не могу и не могу! Их еще на свете не было, когда мне, кроме бога, некому было пожаловаться. Я за Советскую власть хоть на смерть пойду, а вот бога не могу отрицать... Они думают, что если я кухарка...

— Да разве я про это говорю? Я про вашего бога. Про кухарку Ленин сказал...

— Ленин всякого трудящегося человека уважал, а вы на готовенькое пришли, а домашних работниц считаете все равно что грязь...

— Неправда! Неправда же!

— Таня!

Александр Андреевич выговорил устало:

— Елена Михеевна, успокойтесь. Все это пустяки.

— Для меня не пустяки. Хоть и бог для меня — не пустяки, но и Советская власть не пустяки! Я при этой власти вторую ступень на курсах кончаю, а прежде...

— А я про что говорю? Вы теперь больше-меня, может быть, прошли, а все богу молитесь...

— Я не знаю, что вы в школе прошли, а дома трудящихся презираете. Я вас просила на пол карандаши не очинять и бумажки не раскидывать...

— Да я подберу, сама подмету! Я сама себе все должна... Елена Михеевна! Ну, если я за ней побегу, она еще больше запсихует.

Александр Андреевич удержал ее за плечо:

— Ладно, сиди. Откуда, действительно, у тебя такой тон? А?

Соня неожиданно улыбнулась.

— Уж очень ты ее зеркалом обидела. И, главное; зря. Она не кокетка. Недавно представлялся случай выйти замуж, никак не хочет. Терпеть не может мужчин!

Таня упрямо покачала головой:

— Лучше-бы она бога не терпела, а заве* ла себе пятерых мужьев. От мужьев только ей забота, а от бога кругом — предрассудки.

Соня уже не сдержала звонкого смеха:

— Пятерых! Таня!

Сумрачно усмехнулся и Александр Андреевич, но девочка, глотая слезы, поперхнулась. Подняв на отчима блестящий от слез, но твердый взгляд, она сказала:

— У меня, может быть, грипп. Что-то глаза слезятся. И **вообще** весь день неудачный.

Таня быстро выбежала из комнаты. Соня пошла за ней. Александр Андреевич забарабанил пальцами по столу.. Какие неудачные дни еще ждут бедную девочку! Он вспомнил первую встречу с ребенком. Тане шел от роду третий год. С ее матерью, Натальей Сергеевной, тогда его женой, он в первый ***раз*** пришел к ним на квартиру. Электричество было испорчено. Комнату . освещал слабый свет оплывшей свечи, воткнутой в бутылку. Нянька готовила в кухне чай. Девочка сидела в

большом кресле одна. Большими безбоязненными глазами она следила за темными тенями в глубине комнаты. Ее часто оставляли одну, и она привыкла не бояться ни темноты, ни тишины. Мать взяла ее на руки, осыпала горячими виноватыми поцелуями и поднесла к Александру Андреевичу:

— Вот твой отец.

Девочка покачала непричесанной головкой и заявила степенно:

— У меня отца нет.

Наталья Сергеевна засмеялась и всхлипнула, снова принялась ее целовать.

— Не было! А теперь есть! Мы будем жить втроем, жить очень, очень хорошо!

В дверь постучали. Пришел монтер. Мать опустила девочку на пол и заговорила с ним. Вдруг Таня дернула ее за платье. Наталья Сергеевна наклонилась к ней:

— Что, детка, что?

Ребенок спросил спокойно и громко, указывая на монтера:

— Мама, это тоже отец?

Очевидно, ей казалось естественным, что из необычной сегодняшней темноты должны являться неведомые отцы. Александр Андреевич посадил ее к себе на колени. Она долго внимательно смотрела ему в рот, когда он говорил с ней. Потом девочка потрогала своим пальчиком его губы и спросила:

— А где ты был, когда тебя не было?

При этом воспоминании сердце Александра Андреевича сжалось от нежности и тоски. Он сам не понял, что сказал в ответ вошедшей Соне.

## III

Прошла неделя. Пионеры писали письмо Максиму Горькому. Как во всех ответственных письменных выступлениях организации, руководил Игорь Серебряков. Широко расставив руки, он почти лежал на столе. Правая щека у него была запачкана чернилами. Левой рукой он разглаживал наморщенный потный лоб. Долго стоял спор о том, как обращаться к Алексею Максимовичу: на «ты» или на «вы». Игорь убеждал:

— Он для нас все равно партиец. А потом, даже у буржуазного поэта пустое «вы», а сердечное «ты».

Из-за спины Игоря тоненьким рассудительным голоском Леонтина Кочергина поправила его:

— Так это же романс, он еще обидится.

Игорь с сердцем отодвинул ее локтем:

— Не дыши в ухо, романс! Зачем вчера кудри завила?

Темноволосая девушка, из-за стройности казавшаяся выше своего среднего роста, строго придержала его за локоть:

— Что за грубости в пионерской среде, Игорь?

— Ничего не грубости, а дайте же посоветоваться! Если на «вы», то как же выйдет: «Мы вас любим, потому что верим...» Гораздо тверже выходит: «Мы тебя любим, потому что верим тебе целиком и полностью».

Таня громко крикнула:

— Нет, нет! Слишком интеллигентски: любим, верим. Может, лучше выйдет: «Мы прислушиваемся к каждому твоему слову...»

Игорь сердито пробормотал:

— Что тут прислушиваться, уж зря не скажет!

Ким ядовито спросил:

— А ты разве его не любишь?

Таня, зардевшись сердитым румянцем, встала со своего места и подошла к мальчикам. Она не любит самого большого пролетарского писателя, своего писателя!

— Как ты смеешь меня оскорблять?

Ким не был по натуре злым, но ему доставляло удовольствие дразнить Таню. Она, во всем искренняя, сердилась горячо. Сейчас он и не подумал о том, какую боль он причинит девочке.

Он потянул ее за платье и сказал насмешливо и громко:

— Ничего удивительного! У тебя с папочкой, кажется, другие вкусы.

Чувствуя, что над ней сбывается какое-то несчастье, Таня испугалась этого внезапного напоминанья о «папочке». Пожалуй, в первый раз за свою сознательную жизнь она не решилась потребовать объяснения. Она стояла около Игоря, постепенно бледнея и не зная, что ей делать. Та же высоконькая, темноволосая девушка Лиза, что запретила Игорю грубить Леонтине, подошла к Тане. Она стала перед ней почти вплотную, как бы желая закрыть ее от глаз детей.

— Товарищи, Таня Русанова — наш ничем не опороченный товарищ. Она сама сделает нужные выводы. Она сама сообщит нам о деле своего отца. Ким, травить отцом не только преждевременно, а вообще...

Таня переспросила почти беззвучно:

— Травить *моим* отцом?

Девушка повернула ее за плечи, сердито шепча:

— Ты не читала сегодня «Правды»?

Хрупкая, оттого сладчайшая, надежда на короткое время облегчила сердце Тани: «Ребята берут меня на пушку, чтоб я ежедневно газеты читала». Проходя около Кима, она даже сказала ему неуверенно задорным голоском:

— А ты знаешь, отчасти ты дурак.

— То есть как же-это?

— Вообще.

Вспомнив об этом, теперь она еще ниже опустила голову. Игорь хмуро подал ей «Правду». Они заперлись в маленькой комнате, где обычно работала редакция школьной газеты. Их было пятеро. Пионервожатая Лиза, Игорь, Таня и братья Крицкие, очень похожие друг на друга близнецы, оба активисты. Игорь увидел, что Таня от волненья плохо разбирает строки. Он почему-то пониженным голосом рассказал ей содержание:

— В ущерб государственным интересам он стремился сохранить свое хозяйство. Ну, понятно, не свое личное! Совхозы своего треста. Вообще; я полагаю, трестовиков надо почаще проверять. Работа такая... хозяйственная. Ну,, понятно, не растратчик он! Личная корыстная заинтересованность не отмечается в постановлении. Но, видишь, он оставил в совхозах скрытый хлеб. На прокорм для своего трестовского совхозного скота. А государство? Понимаешь, тут вся-

кие могут быть мотивы! Вообще, понимаешь, явный оппортунист.

Внешне Таня казалась спокойной. Руки ее сразу перестали дрожать. Серые глаза смотрели в лица товарищей сурово и прямо. Только сквозь тонкую кожу лица не видно стало ни кровинки, побелели и губы. Но ей казалось, что она дрожит, так беспокойно приливала к сердцу кровь. Все волновавшие девочку разнообразные чувства в мыслях выливались в одно:

«Уцелеет или не уцелеет?»

И ни на одно мгновенье, ни в каком темном инстинкте ни разу не сказалась эта мысль как боязнь за служебное положение отца или страх грозящей материальной необеспеченности. Таня естественным считала, что ее, невзрослую, кормят и одевают. Она была убеждена, что всегда накормят и оденут. Начальнические и неначальнические ранги для нее были равны. Александр Андреевич с малолетства не позволял ей пользоваться его общественными преимуществами. Он доходил в этом до мелочности. Девочку, как и жену его, никогда и никуда не возили на его трестовской машине. Лишь иногда, когда он слишком уставал и на какой-нибудь час ездил сам за город, он брал их с собой. Однажды Таня попросила у него для школы из треста фанеры. Отец сильно рассердился:

— Не разыгрывай из себя ответственной дочери! Таким путем твоя школа от меня никогда ничего не получит.

В этом сказывалась и показная строгость к себе как к начальнику. Но для Тани та-

кие правила были благотворны. Она знала, что не все живут хорошо в бытовом отношении. Но, не испытав нужды, не думала о ней и не боялась даже ее. Свое «уцелеет» она относила лишь к одному: «Оставят ли отца членом партии». Большее число часов своей жизни девочка проводила в коллективе. И семья их не была замкнутой в тесном мире личного сообщества. Беспартийный представлялся ей каким-то хилым единоличником в общественной жизни. Как же отец, папа, станет таким? Не может быть, не бывает! Нет, нет, не будет так! Разве это можно? Вообще все происходило как во сне. И дома, и улицы, и дверь в квартиру, такая знакомая, показались ей нереальными. Молодое, свежее сердце отказывалось верить тоске. Впустив Таню, Елена Михеевна укоризненно сказала ей:

— Что это у вас чулки спустились, как у тетки? Подтяните.

Ворчливое замечание Елены Михеевны, столь привычное в ее обращении с девочкой, вызвало у Тани впервые в жизни тоску о прошедшем. Даже малоприятное показалось ей милым в нем. Пускай бы только все осталось, как было! Вечно женственным движеньем она туго натянула чулки, держась очень прямо, вошла в комнату; Александр Андреевич, серый лицом, с беспокойными глазами, зачем-то встал ей навстречу, потом торопливо и ненужно сел на другой стул. Соня плакала у окна. Обычно слезы у ней высыхали быстро, а теперь нос распух. Давно плачет. По комнате, легко нося длинное тело, ходила Танина мама,

Наталья Сергеевна. Как-то всегда случалось так, что приходила она к Русановым во дни неприятностей или с собой приносила печаль. Она не чувствовала себя удовлетворенной ни личной жизнью, ни искусством. Оттого часто страдала искренне и тяжело для окружающих. От нее и пахло всегда печальными духами и вином, как от увядающих в стакане цветов. На ходу она поцеловала дочь. Ощутив этот знакомый запах, Таня совсем сникла. Бледненькая и очень усталая, она прижалась к дверному косяку. Александр Андреевич спросил ее несколько хрипло:

— Ну?

Таня, потупившись, молчала. Простым, добрым сердцем Соня поняла, какое большое крушение доверия, надежд и понятий происходит сейчас в душе девочки. Эти внезапно бледнеющие, потускневшие детские лица, что может быть горше! Она быстро подошла, хотела обнять и увести девочку,, но Таня еще судорожнее уцепилась за косяк. Александр Андреевич неловко закурил и заговорил неохотно, нервно:

— Будет разыгрывать из себя малютку. Если ты хочешь что-нибудь сказать или спросить, так спрашивай.

Наталья Сергеевна рассердилась:

— Да что вы, действительно? О чем с ней разговаривать? Она же, конечно, еще малютка. Иди, Таня, умойся и полежи. Не твое дело — судить отца.

Таня резко повернулась к матери:

— Как не мое? Я ему никогда не говорила неправды! И все ребята наши знают,

что я немедленно засыплюсь, если солгу. А ты зачем же мне все неправду говорил?

Сердито откашлявшись, Александр Андреевич постарался говорить возможно ровней и суше:

— Я учил тебя всегда говорить правду, я! И тебе я не лгал и вообще не лживый человек. Но ты меня поймешь только тогда, когда к тебе придут свои сложности.

Долго сдерживаемые слезы вдруг прорвались у Тани. Они сразу обильными струями потекли по лицу. Она торопливо вытерла их о плечо и обеими руками.

— А... у меня разве их нет? Лиза Борщенкова... от пионеров вызвала отца на соревнование. Он слесарь и плохо работал. А он взял да изругался, нехорошо ругался, й лист не подписал, а изорвал. И даже ударил ее. Она и говорит: «Товарищи, как же я с ним буду жить?» А если б... ты лучше меня ударил, а ты сам всадился... в оппортунисты.

Наталья Сергеевна всплеснула руками:

— Это чудовищно! Взрослые отвечают за вас, а не вы за них. Как ты смеешь?

Громко всхлипнув, Таня отозвалась уже спокойнее и строжек

— Мы все друг за друга отвечаем. Мы не капиталисты, чтобы вразброд...

### IV

Эти два месяца были тяжелыми для Тани. Отца не лишили партийного билета. Ему дали безвыездный и неизвестно на какой

срок отпуск. На собраниях, в учреждениях и в профсоюзах обсуждали его поведение. В газетах почти ежедневно было укоризненное упоминание о Русанове. Александр Андреевич похудел. В волосах его выступила явная седина. Но, узнав, что из партии его не исключают, он значительно успокоился. Чтоб как-нибудь убить тяжкий досуг, он усиленно занимался английским языком, математикой и много читал даже из беллетристики. Многое он и передумывал за это время. Особенно после разговора с Таней, когда он старался ей объяснить известное его возрасту положение, что не ошибаются только равнодушные. Девочка его не поняла. Он размышлял, почему не поняла. И, будучи честным, увидел, что корни его ошибки глубже, чем в словесных объяснениях. Таня чует это. Она чувствует, что все же он считает себя по существу правым. А ее закон — прям. Если ты уличен в неправоте и все-таки считаешь себя правым,— значит, ты враг. В чем же его неправота? Он искал и находил в себе многое, уже ненужное и даже вредное этому новому, Таниному миру. Оно таилось иногда в мелочах: в еле уловимых оттенках славянофильства; в любви к дико тоскливым проголосным русским песням, нагнетающим вялую скорбь, в том, что ему нравился мужик типа толстовского Платона Каратаева, иногда становилось жалко прежней, невозделанной русской шири, оттого, что иногда взгляд его становился радостным при виде кривой, маломощной ветряной мельницы на опушке заросшего леса. Все эти обвинения, выраженные в словах, звучали тупо. Казалось, даже снижали

красочность мира и жизни. Тем не менее он понял, что пионерам совершенно нового бытия являются врагами иногда и простой мирный пейзаж, и высокое в своей первооснове чувство любви ко всем людям. С Таней об этом не говорил. Сложность всех этих переживаний была, конечно, еще недоступна ей. Отношенья у них установились ровные, но как будто между ними встала прозрачная, а все же перегородка. Отчетливо это сказывалось в том, что Таня теперь скупо рассказывала ему о делах своей пионерской организации, а раньше надоедала ими. И вообще она сделалась как-то сразу взрослее. Мир уже вставал перед ней не четко разграниченным, а в сложном переплете света и теней. Случай с отцом научил ее видеть многое, чего девочка раньше просто не замечала.

Наконец, через два месяца, Александр Андреевич получил направление на новую работу. Его послали за границу на торговую работу. Соню не отпустил Московский комитет партии, и Александр Андреевич уезжал один. В день отъезда пришла провожать и Наталья Сергеевна. Она размахивала каким-то листком:

— Знаешь, твое назначение очень удачно. Там пойдет моя опера. И ты мне поможешь. Я — советский композитор. Придется выступать и с речами.

Таня замахала руками:

— Ой, мама, не надо! Брякнешь еще что-нибудь мелкобуржуазное. Ты лучше здесь поговоришь, мы поправим.

Все засмеялись, а Александр Андреевич сказал:

— Ну, вот и приезжай ее там поправлять. Приедешь, а? Ты ведь меня не забудешь?

Таня подняла на него свои искренние глаза и сказала совсем тихо:

— Я бы тебя и тогда не забыла, папа. Только моя жизнь тогда стала бы несчастливая.

Он понял, что она хотела сказать этим «тогда» и как оно еще страшит ее в воспоминаниях. Он крепко поцеловал ее, с влажно блеснувшими глазами. Когда девочка зачем-то вышла из комнаты, он попросил старших женщин:

— Берегите девчонку. А ты особенно, Наталья Сергеевна, иногда уж очень к ней неумело подходишь. Ты не права, они имеют право судить нас, им жить по нашим установкам. Для них мы возводим леса...

Увидев возвратившуюся Таню, он весело закончил:

— Вот и вознаграждают нас они то красным галстуком почетного пионера, то рогожным знаменем.

Летом Таня поехала к отцу за границу. Накануне вечером они гуляли с Игорем по Москве. Игорь наставительно говорил:

— Без дела не вылезай, там пионеры в жестких тисках. Но все-таки не забывай и об организации. А то ведь вы, женщины, там шляпки, тряпки, ах, крепдешин дешевый.

Таня укоризненно покачала головой:

— Ну, что ты, Игорь, разве я такая?

Игорь взглянул искоса на чистую, ровную

линию лба и носа, увидел сразу и легкую походку, и яркий серый глаз. Сердце у него учащенно забилось. Девочка остановилась. Они пришли к ее дому. Игорь крепким пожатием взял ее руку и сказал, взволнованно хмурясь:

— Нет, ты не такая. Ты хорошая. И вообще для меня — самая хорошая из женщин. И всегда будешь самая лучшая...

Таня покраснела и осторожно потянула свою руку. Игорь круто повернулся и пошел. Не оглядываясь, он крикнул:

— Так завтра, на вокзале! С дороги обязательно напиши мне!

Он скрылся за углом. Девочка постояла, посмотрела ему вслед и ушла. Только что скрылась она в дверях подъезда, из-за угла снова вышел Игорь. Он посмотрел на опустевшую панель с ощущением сладостной боли, с тем чувством, которое осознается лишь в зрелости, а в первоначальной своей чистоте никогда не повторится.

Игорь получил письмо от Тани с дороги. Множество кривых, написанных карандашом строк лепилось на небольшом листе. Содержание его тоже было беспорядочно. Между прочим, она писала:

«Игорь, обязательно учи языки, хорошенько учись, всех ребят заставляй! У меня какой нехороший случай вышел. Дипкурьер, с которым я еду, не захотел завтракать. Я пошла с билетиком в ресторан одна. Села, понимаешь, а ихний подавальщик в форме не подает мне есть, а все чего-то говорит, говорит. Я сижу, а все на меня смотрят, хоть провалиться. Сижу, краснею, краснею и не

знаю, что делать. Потом какой-то заграничный дядька, немножечко знающий по-русски, объяснил мне, что у меня билетик на второй завтрак. А то сижу, сердце ноет, мучительно вспоминаю: дер офен, дас фенстер, ди диле, а у самой даже спину ломит. Пожалуйста, учитесь! Зачем давать мировой буржуазии возможность смеяться над нами?!»

Совсем сбоку мелкими буковками было приписано: «Ты для меня тоже очень хороший».

## СОДЕРЖАНИЕ

Сейфуллина Л. Н.

С29 Повести и рассказы. /Сост. и вступ. статья **В.** Пискунова.— М.: Худож. лит., 1982.— 543 с— (Классики и современники. Сов. лит-ра).

В книгу вошли избранные повести и рассказы Л. Сейфуллиной: «Перегной», «Виринея», «Собственность» и другие.

**4702010200-058**
**С——————20-82** **Р2**
**028(01)-82**

КЛАССИКИ И СОВРЕМЕННИКИ

*Советская литература*

ЛИДИЯ НИКОЛАЕВНА СЕЙФУЛЛИНА

**Повести и рассказы**

Редактор Ю. Розенблюм
Художественный редактор
В. Серебряков
Технический редактор
Л. Витушкина *

Корректор Т. Максимова

ИБ № **2582**

Подписано в печать с готовых диапозитивов **25.01.82.** Формат **70x90**$^{1}/_{32}$. Бумага типографская № **2.** Гарнитура «Литературная». Печать офсетная **19,84** усл. печ. л. **20,28** усл. кр.-отт. **20,08** уч.-изд. л. Доп. тираж **200 000** экз. Заказ № **888.** Изд. № **1—392.** Цена **1** р. **60** к. Ордена Трудового Красного Знамени издательство «Художественная литература». **107882,** ГСП, Москва, Б-**78,** Ново-Басманная, **19.** Ордена Трудового Красного Знамени Калининский полиграфический комбинат Союзполиграфпрома Государственного комитета СССР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли, г. Калинин, пр. Ленина, **5.**

1 р. 60 к



*Советская литература*



